

1988 № 12 (24)
ДЕКАБРЬ

РОДІННИК

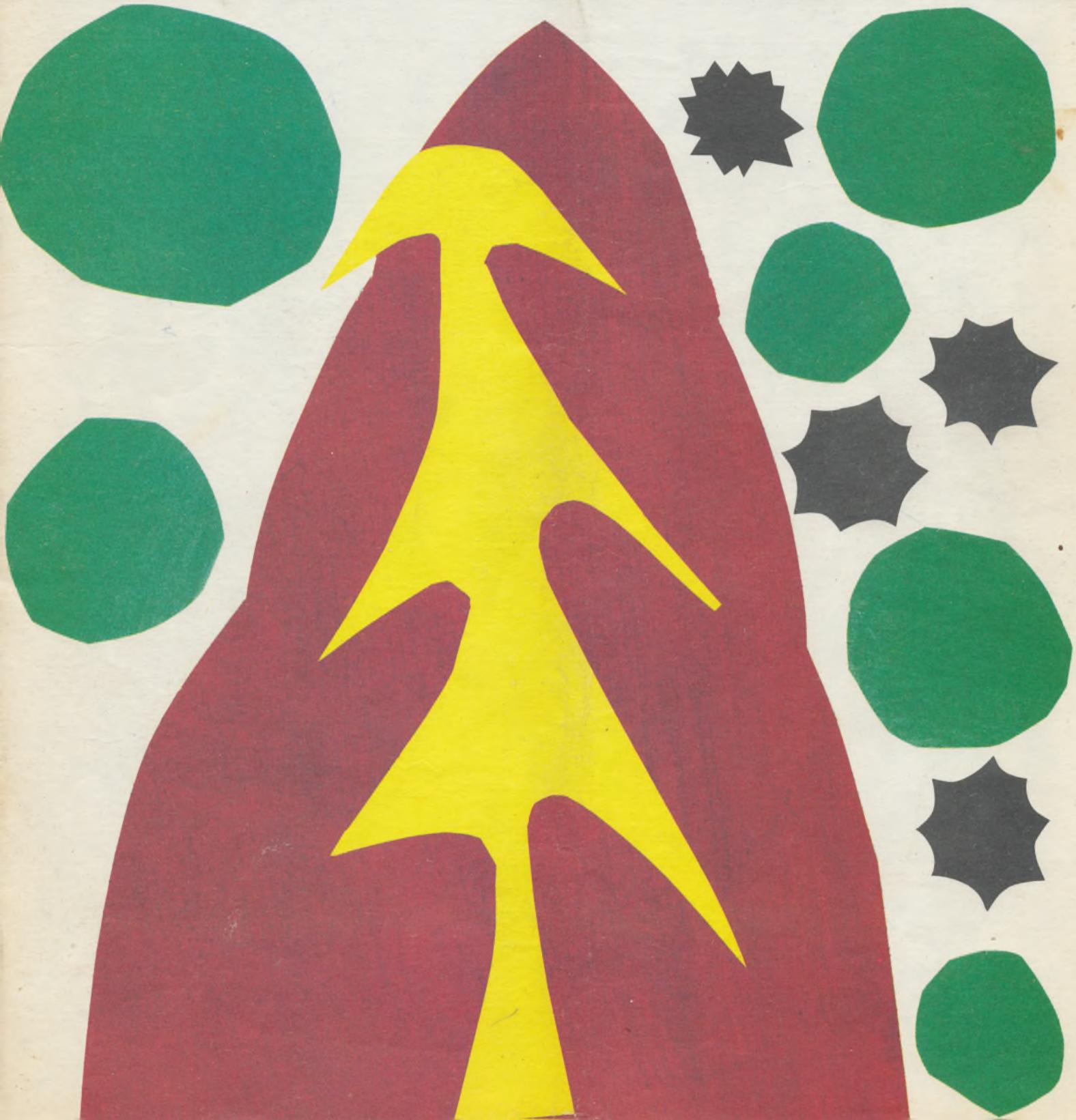
ISSN 0235—1412

ПРОЗА,

ПОЭЗИЯ,

ПУБЛИЦИСТИКА,

КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор),
ЭДГАРС БАНС,
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь).
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС,
ПАВЕЛ ВИШНЕВСКИЙ,
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела),
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС,
РОСТИСЛАВ ЗУБКОВ,
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора),
СТАНИСЛАВА МАРСОНЕ,
МИЕРВАЛДИС МОЗЕРС,
МАРИС ОГА,
ЯНИС ПЕТЕРС,
АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ,
БАЙБА СТАШАНЕ,
АДОЛЬФ ШАПИРО.

РЕДАКТОРЫ:

РУДИТЕ КАЛПИНЯ,
АНДРЕЙ ЛЕВКИН,
ОЛЕГ МИХАЛЕВИЧ,
НОРМУНДС НАУМАНИС,
ЭВА РУБЕНЕ,
ТАТЬЯНА ФАСТ.

ПЕРЕВОДЧИК

ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ.

КОРРЕКТОР

ОЛЕГ КРУГЛИКОВ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ.

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

- Юрис Звиргздиньш. «Триумф» (1)
Марис Мелгалвс. Стихи (7)
Андра Нейбурга. «Мышиная смерть» (8)
Павилс Розитис. Стихи (12)
Юрис Куннос. «1968» (16)
Юрис Куннос. Стихи (18)
Андрей Левкин. «Рождество»,
«Вместествоведение» (20)
Янис Эндзелинс. «О состоянии
латышского языка
в Латвийском государстве» (27)
Олег Кругликов. Стихи (28)
Опрос (30)

КУЛЬТУРА

- Открытое письмо
русскоязычному населению Латвии (32)
Янис Калначс. «Вторжение» (34)
Оярс Спаритис. «Снимать ли
на кладбище шапку?» (38)
Вадим Руднев. «Введение в XX век» (43)
Опрос (46)
Артем Троицкий.
«ROCK in the USSR» (48)

ПУБЛИЦИСТИКА

- Мерседе Салная. «Без имени» (52)
Вилнис Зариньш. «Философия
грабителей» (57)
Илан Полоцк. «Американская жизнь
Тамары Гавриленко» (62)
Александрс Кирштейнс.
«Эдуардс Берклавс: . . . не считаю,
что должен молчать . . .» (64)
Опрос (70)

ЛИТЕРАТУРА

- В. Константиади. «Аркадий Бартов
глазами Хорхе Борхеса» (72)
Никита Кривцов. «О прозе Леннона» (74)
Джон Леннон. «Необъятновенное
происшествие с мисс Энн Даффилд» (75)
Александр Белов. Стихи (77)
Дмитрий Пригов. Стихи (78)
Сергей Фомин. Миниатюры (80)

ЮРИС ЗВИРГЗДИНЬШ

ТРИУМФ

РАССКАЗ

Летняя кафешка, время действия — после обеда. Жарко: по Цельсию еще куда ни шло, а по Фаренгейту — просто ужас нечеловеческий! (Бедолаги-иностранцы, как они такие градусы выносят?!) Публика располагалась сидя, толпилась возле стойки, перекликалась, высматривала себе стулья.

Гордо задирали в небо свои гребни панки, рокеры в наушниках нырнули в свою музыку, скинхэды и ньювейверы передразнивались, показывая друг другу языки, как памятники самим себе восседали дети природы, одинокий кришнаит терзал свои барабанчики и гремел браслетами, поодаль располагались люди Перфомэнса, в песочнице забавлялись, изготавливая куличики, две приехавшие из Югославии энтузиастки of the ambient art, распушив хвосты на крыше соседнего дома грохотали металлисты, там, видимо, меняли жечь. Выруливали сквозь толпу туристические автобусы, среди интуристов вертелся фарцман Фреда, из карманов и сумок доставались маленькие такие сувенирчики — джемперышко, парочка фунтиков, парочка долларов, пачечка финских марок, чуть-чуть федеративных бумажек, все по кайфу, все оки-доки, олл райт и гуд бай! — бай-бай! — кругами слонялись центровички Света, Хани, Дромедара, Тачка, Эмансипани, с которыми полный порядок и полная ясность — мы вам ни какие-нибудь мямли! Никакие мы вам не книксены! — такова жизнь, а жизнь есть жизнь, секс есть секс и конвалюта это конвалюта!

В воздухе клубились сигаретные дымки, речи, идеи, видеосюжеты, клипы, из руки в руку переходили чеки Внешторгбанка, вот в самом деле стоящая штука! — сунул в карман и хоть в Вавилон, хоть в Гренландию, тут-то чего сидеть, духотища, язык наружу, фразу подлиннее и не выговорить...

— Эй, дылда! Возьми и на нашу долю, семь бед! Две пепси, нет, три — капуста хватит? — тогда четыре, нет, пять — березовых соков, да, березовых! — мы же правильные латышские мальчики и девочки! — Стой! Очкарик идет, и Рыбус, и Стьювизант, и Акментиньш, и Кристине, Йогита, Анджела, Моника и Даците! — им тоже возьми!

Вверх по ступенькам и прямоком сюда — Хэй! Хэйса! — мчатся вопя. — Нас взяли! Нас приняли! Мы там! — Очкарик, Рыбус, Стьювизант, Кажиньш, Акментиньш, Даците, Кристине, Йогита, Анджела и Моника, взяли всех! Они студенты, гип-гип-урра!

— Пепси! Пепси! Березовый сок! А мне гранатовый! Гранатовый! Мне, мне тоже! — моментально невесть откуда взялась дюжина стульев, они перелетали из рук в руки, спускались с небес, вырастали из-под земли, но возникли сколько надо! Стаканы наполнены, мутной торфяной водичкой пеннелась пепсикола, прозрачный, как си-

ротская слезинка, березовый сок, как кровушка жертвы, надкушенной вампиром, рдел сок гранатовый, стаканы подняты, надо же отметить, как же, ведь все они — ТАМ!

Окружающие смотрели — эх, проинструктировать бы что ли ребяток, мозги им подправить, подремонтировать, к чертям собачьим отправить — но жарко, руку поднять лень, да и то — возле кафе, мигая своей синей мигалкой, кружила патрульная машина, пусть уж сидят и сосут свои пепсикола, пускай! Тут, вообще-то, кучковалась мелкота, те, что посерьезнее, те сидели в своих шестерках и восьмерках, двери настежь, мурлычут магнитофоны, денежки слетаются в бумажники, полушепотом обдeldьваются делишки, включаются счетчики, основываются корпорации и картели, организуется рост и падение акций, выносятся приговоры конкурентам, все в лучших традициях мафии, прям как в видиках! — время деньги! — и деньги, бабки, тугрики, голдовичи, капуста каждому дню потребны, подавай их да подавай.

Сокомпанники сидели важные, как павлины, они же актеры (то есть будут)! Их придут лицезреть, о них напишут в газетах и журналах, их пригласят сниматься, их фотографии будут продаваться в киосках «Союзпечати», их примутся интервьюировать радио и телевидение! Они пойдут путем искусства, путем тернистым и красивым, который потребует пота и усилий, — что ж, они ведь знают — ничто не падает с небес, нет хлебушка без горбушки, будут интриги, их будут хулить и над ними будут издеваться всякие там профаны, пускай! Пусть их! Они знают — победят они, через страдания к звездам! Они, они избранные! Разве не они прогрызли сквозь стены Лейпутрии, предоставили все эти бесцетные характеристики, отдавали все эти вступительные экзамены, продрались сквозь заросли собеседований, работали рабочими сцены, осветителями, воевали с родителями, были обысываемы нахлебниками и пустозвонами? Было, было, все это было!

Теперь можно перевести дыхание, посмотреть по сторонам, небрежно откинуться на стуле, завтра с утра они войдут в самолет и отправятся в горы, их поведет за собой сам Тимма, Великий Тимма, режиссер Эдгар Тимма. Они достигнут голубых гор, ни один маршрут не окажется для них труден, большими глотками они будут пить ледяную воду горных источников, вечерами — собирать валежник, жечь костры, разговаривать и читать стихи — как никто до них и никогда!

Кажиньш, самый из них востроглазый, тетку эту заметил первым. Тайком, так, чтобы не обратили внимания остальные, повернув голову, он следил за ней сквозь свои знаменитые шелковистые ресницы. Да, там было на что посмотреть, еще тот типаж! Громадная дерматиновая сумка в руке, долгополый, выцветший пыльник, вязаная детская

шапочка, подростковые тапки, громадный — от уха до уха — рот, ало накрашенные губы, длинные, по плечи, седеющие волосы; она бродила от столика к столику клянча бутылки и запихивая их в сумку. Кажиньш все это отмечал: привидение, во как разоделась! Это ж суметь! Он подтолкнул Рыбуса, тот посмотрел и онемел. Вся компания онемела, образовалась немая сцена, как в «Ревизоре», один к одному!

— Я готова! — первой очнулась эмоциональная Андже-ла, сколько же паузу-то держать.

— Я ее знаю, это Офелия! — сообщил Стьювизант, зря, что ли, он торчал тут днями напролет, из года в год, он тут знал всех, многие знали и его: на рижских булыжниках выросший парнишка из центра!

— Это фантастическая старуха! Только не смотрите прямо на нее! Она такие номера откальвает! Только если не слишком наглоталась! — прошептал он.

— Наглоталась? Колеса?! — Андже-ла вытаращила глаза: чтобы старуха и кайфовала?! Фантастика!

— Я ж вам говорю — тетка ого-го! — Кажиньш не желал расставаться с честью первооткрывателя, ее он первым заметил, он!

Сумка разбухала, Офелия приближалась, подошла.

— Эти уже можно? Вы же не будете сдавать? — пробормотала она, наклонившись, прикрыв рот рукой с обгрызанными ногтями — чтобы не расслышали официальные посудосборщицы, где ругались и гнали прочь, обзывались и грозили милицией, а в милицию ей попадать нельзя, только не это!

— Берите-берите! — Рыбус вскочил, пододвинул Офе-лию стул, чуть ли не насильно усадил ее. — Да вы при-саживайтесь! — шаркнул ножкой, отвесил поклон, при-строился на одном стуле с Моникой, полуобняв ее за обольстительную талию, и принялся мурлыкать.

— Садитесь! Посидите! — завопили все. Офелия устро-илась на стуле, полы пыльника разошлись, блеснуло ши-фоновое платье в больших розах. Дайте, Кристине и Андже-ла, переглянувшись, улыбнулись, обнятая Рыбусом Моника вовсю распахнула глаза: вот так тетка!

— Это на лекарства, ребятки, на лекарства! — то ли объясняла, то ли оправдывалась Офелия: нет, эти милицию звать не будут, в психушку не потащат, это советские порядочные ребята!

Очкарик снял очки, протер их платочком и, по-кроличьи моргая, осведомился:

— Взять вам что-нибудь? Кофе с булочкой, а? Акмен-тиньш!

Акментиньш, ему повторять не надо, деревенский он, не городской, в компанию не понять как затесался, от счастья на миг оторопел, вскочил, понесся, сейчас, сейчас!

— Он сейчас принесет! — Очкарик наклонился к Офе-лии, — может быть хотите что-нибудь еще?

— Нет-нет, я ничего не хочу, спасибо, я поела уже! — Офелия прикрыла рукой рот, она стеснялась, эти зу-бы... — Меня уже покормили, я хожу в столовую, я там работала раньше, сборщицей посуды, — объясняла она, — там всегда на тарелках еще так много остается! Вы представить не можете, — она широко раскрыла большие голубые глаза, — сколько там остается! Кое-кто только котлетку съест, а рис или макароны — даже и не притро-нется!

Анджелу передернуло: как же так, с тарелок... что после других осталось, она это ест! То, что свиньям... Перед глазами Анджели как в кино скользили тарелки, рыбы кости, ржавые следы томатного соуса, сизые ма-карроны, фиолетовые пятна свеклы, бррр... Сейчас ее тут прямо и вывернет — да что это, уж не залетела ли я? — она в ужасе задумалась, от мыслей в нос словно ударил острый запах эфира, голова прояснилась: да нет же, не может такого быть! — и ей опять стало хорошо.

Начав говорить, Офелия уже не могла остановиться:

— В магазинах же сейчас ничего нет, все только по карточкам, а карточки я потеряла... — она бормотала, глядя в стол, потом вздрогнула и принялась объяснять,

пусть они знают, она хочет, чтобы ей верили: Я не нарочно! В самом деле не нарочно! — и посмотрела на каждого.

— Ну, теперь начнется! Только держись! — изображал ужимками за спиной Офелии Стьювизант, который стиль и выкидыши Офелии знал. — Как же это ты карточки потеряла? — он пристально взглянул на нее.

Кто же это опять потянул за язык, опять все надо объяснить, но ведь же спрашивают!

— Я не, у меня другие дети вытащили, мы играли в магазин, это Тонька, она всегда ворует! и мамка ее воровка, я знаю, но я маму не послушалась, я с ней играла, я не хотела, я совсем не нарочно, я про это и не подумала! — Офелия почти что плакать начала, но нет — победительницей поглядела вокруг. — Как меня ма-ма лупила, шнуром от утюга, а я нисколько не плакала! Меня сколько угодно можно бить и я никогда не заплачу, а знаете почему? Хотите, скажу? — гордо приосанилась Офелия.

Все приумолкли, даже обнятый Моникой Рыбус забыл мурлыкать.

— Я играла. Ну, как в театре.

— Что?! — выдохнули все разом. Тут кстати возник Акментиньш, балансировавший чашкой кофе и блюдцем с двумя кофейными булочками поверх нее.

— Это очень просто, я представила, что я играю! Ту-райдскую Розу, например! — Офелия улыбнулась, это же все так просто.

— Турайдскую Розу? — Как и остальные, Андже-ла свои ушам не поверила. — Турайдскую Розу?! — переспро-сила она: как, ее любимую роль, которую она — она! — сыграет еще, непременно, сто процентов!

— Или Жанну, — Офелия отщипнула кусочек булочки и, по птичьи запрокинув голову, отпила кофе.

Жанну, она же не имеет в виду Жанну д'Арк, Великую Жанну, Жанну Шиллера! С ума сойти, у них у всех сейчас у самих крыша поедет!

— Это очень просто, надо представить, что ты — Жанна, что тебе надо будет сейчас взойти на костер, и что ты в самом деле сгоришь, это ведь тогда уже не театр, ты — Жанна, говоришь как Жанна, поступаешь как она, она есть ты и ты есть она, тебе больше не страшно, тебе не надо плакать, тебя кто угодно может бить сколько угодно, это просто, совсем просто, нас этому в Ленинграде учили, один приезжий режиссер, и он всегда от нас требо-вал, чтобы мы представляли себе что-то конкретное, и я всегда представляла как в детстве, в Париже, когда я ходила в детский сад, там она в парке так одиноко стояла, с барашком у ног, я всегда вспоминала ее, этот режиссер сказал, что не может быть такая Жанна, с барашком, но я ее именно такую видела, и мне кажется, что и у Ануйя она тоже такая — босиком, с барашком. Я, правда, так думаю! — Офелия огляделась — верят ей или нет?

Париж, детский сад, приезжий режиссер, Ленинград, Ануй, как это? быть не может, мираж это, глюки! У нее же сдвиг по фазе, наваждение это, наваждение!

Офелия прикрыла глаза. Да, Жанна как живая стояла перед ней.

Хотите, покажу вам, как я представляю Жанну? Она попыталась встать, но...

— Воды! — крикнул Рыбус, он, сын врача, в таких делах кумекал. Офелия была в обмороке — жара, таблетки, са-мо-собой, разные всякие, болтовня эта, Ануй, а ну его!

Девушки бросились к Офелии, расстегнули пыльник, Моника выбралась из объятий Рыбуса и поспешила за водой, Офелию потрепали по щекам, она открыла глаза и сверкнула ими.

— Может, какое-нибудь лекарство? — нагнувшись над Офелией, Рыбус вошел в роль, вместо мурлычащего котика возник молодой, многообещающий врач. — Что вы употре-бляете обычно?

— Фенамин, цетедрин, сиднокарб, амфетамин, — бормо-тала Офелия, снова прикрыв глаза.

— Обычные психостимуляторы, антидепрессанты, — по-

вернулось в их сторону сидевшее за соседним столиком волосатое существо, оснащенное браслетами, цепочками, холщовой сумкой через плечо. — Ничего особенного. А-группа, вашей коллеге я бы порекомендовал тизерцин, маленькие такие, желтые таблетки... — сказал он, а затем, как бы извиняясь, развел руками, — у меня с собой, к сожалению, нет, я в завязке, такое дело! — и виновато улыбулся.

— Коллеге... — подумала тонко чувствующая Кристина, — коллеге...

— Посмотрим! — устроившись на корточках, Даче принялась исследовать содержимое сумки Офелии. Сверху бутылки, штук десять, по крайней мере, а дальше прорва всяких непонятных предметов, каждый аккуратно завернут в газетную бумагу. Крупные Даче оставила в покое и принялась за мелкие. Ложка. Книга. Очкарик заглянул через плечо Анджелы: о, Король Юбю — Альфред Жарри! На французском! А, вот, каждая завернута в отдельную бумажку и все — в пустом пакете из-под сахара всякие медикаменты...

— Позвольте, я взгляну! Так, хлорпротиксен, рискнем половинку! — врачующий извлек оранжевую таблетку, надавил ногтем, таблетка разломалась пополам.

Появился стакан воды, Офелия проглотила таблетку, запила.

— А теперь ведите ее домой, через полчаса наступит активная фаза!

— Активная? — переспросил кто-то.

— Да, она будет говорить и говорить! И тогда — уложите ее спать. С утра, думаю, надо все же вызвать врача, я ведь только на третьем курсе... — объяснял тот, с третьего курса: кто бы подумал, хиппи себе и хиппи!

Все поднялись и собрались идти. Да, но куда?

— Пошли! Делаем ноги! Заберут ее, и нас с нею заодно! — обеспокоился Стьювизант: придет еще, мало ли...

— Может, в больницу? — спросила Анджела и вопросительно посмотрела на остальных.

— Там спросят паспорт! И еще — кто мы ей такие! — взволновался Акментиньш: заварится каша, человек не городской, он этих учреждений не то чтобы боялся, но как-то неуютно.

— Может, ко мне? У меня матушки дома нет, — вслух размышлял Кажиньш.

— Мы же уезжаем, ты что, голову прищемил? — разволновался Стьювизант: самаритяне несчастные, вся поездка накроется из-за одной полоумной тетки.

— Так мы ее бросить не можем... — размышлял Очкарик: как это так, взять и бросить на улице, нет, этого допустить нельзя, Альфреда Жарри хотя бы ради!

Таблетка, похоже, начала действовать.

— Домой хочу... домой... к маме... и пускай они больше бомбы не кидают, все вокруг горит, все, в сплошном огне! Вода подымается, они взорвали метро... мамочка, нас спасут? — Офелия прислонилась к Кристине, та вздрогнула. — Я живу тут, рядом... дорогу я знаю! Только помогите мне подняться... — умоляла Офелия.

Пошли. Через Старую Ригу, через Домскую площадь, пересекли улицу Ленина. Дальше, несколькими дворами, Офелия привела их к дому на капремонте, они пробрались сквозь строительные леса, нырнули в подворотню и поднялись по лестнице. Офелия достала ключ и отомкнула висячий замок на чердачных дверях.

— Ого! — воскликнули все разом — да тут же балы устраивать можно!

Чердак был громадным, метров сто или даже больше. Всякий хлам по углам, маленькие окошки. Очкарик приник к одному. Всюду крыши, флюгера, внизу трамваи и автобусы, дальше — канал и павильоны Центрального рынка, высотка Академии наук, еще дальше — новостройка телецентра. По Даугаве медленно скользит пароходик. Под потолком гугнили голуби. Пол чисто вымыт, на вбитых в стены гвоздиках висят разнообразные тряпки. Один угол чердака отделен грязноватым (или это так казалось в сумерках) занавесом.

— Здесь живут привидения! — шептал Рыбус. — Дракула! Вампиры! Уууу! — мычал он, щекоча Анджелу и Монику. Стьювизант, обезьянничая, паясничал следом, наседа на Йогиту.

— Дурак же ты! — высказалась Йогита, ущипнув Стьювизанта за ляжку, — полный олух, с такой задницей и еще в актеры соваться! Фальстаф несчастный! Еще и лапаты лезет! — она встряхнулась.

— Бал! Бал! Устроим бал! — кричали все, Офелии больше ничего не угрожает, их самих неприятности не ждут, она в себе и дома, и здесь так интересно, романтично тут, высоко так, на самом чердаке, возле самых облаков! Тут же театр можно устроить!

— Бал! Танцевать! Мы будем играть, Офелия станцует! — перекрикивал один другого.

— Я думаю, Офелия нам покажет... покажет... продемонстрирует свою концепцию Жанны д'Арк, — процедил сквозь зубы Кажиньш, не то цитируя, не то пародируя кого-то.

— Да, да! — возликовала толпа. — А после — танцы! До первых петухов! До самолета!

— Жанну?! — озаботилась Офелия. — Жанну мне боязно... я... я текст не помню! У меня... у меня голова кружится!

— Жанну! Жанну! Просим! Пожалуйста! — они просили и аплодировали, задрав руки над головой, сейчас тут будет Вудсток, шас тут будет, — Очкарик порывлся в карманах, извлек записную книжку и громко зачитал, — СІСТ здесь будет: Centre International de Creations Theatrales здесь будет, как у Питера Брука, прошу прощенья за пронон! — поклонился.

— О, Питер Брук, — воскликнула Офелия — О!

— Милостиво просим! — один за другим они кланялись Офелии, пусть эта тетка развлечет их, могут же они чуточку повеселиться!

— Прошу! — Йогита ласково, как маленькая девочка, заглянула Офелии в лицо.

— Ломается, просто ломается, никакая она не актриса, — шептал Рыбус Монику на ухо.

— Ты полагаешь? — Моника не знала что и думать, ей Офелия нравилась, она была естественной, органичной! Почему бы ей не оказаться бывшей актрисой?

Мысли у Офелии опять смешались. — Сейчас мы будем пить чай! — она поспешила в угол, из картонной коробки извлекла завернутую в газету электроплитку, чайник, стаканы — каждый по отдельности завернутый в бумагу, извиняясь развела руками, — Сахара у меня нет, я сама пью без него! И стакана только три! Ну да ничего, обойдемся как-нибудь!

— Как-нибудь! Как-нибудь! — эхом отозвались все, — но лучше театр! Покажи нам театр! — они были молоды и безжалостны, что им этот чай!

— Театр? — Офелия на мгновение замешкалась, как же так, они хотят театр? ну, конечно, ведь она актриса, как она могла забыть, сейчас, сейчас! Она скрылась за занавесом. — Сейчас!

— Сейчас придет Годо!

— Призрак!

— Папа Гамлета!

— Ну, сейчас и шиза будет! Счас начнутся ерунда, скукота и глупота, — петушиным голоском пропел какой-то текст Стьювизант. Рыбус топтал по полу, ну сейчас будет, ну начнется, уууу!

— Тише, а то подымется еще кто-нибудь! — успокаивала Йогита, — заявятся еще...

— Спокойно, я думаю, все в порядке. Я посмотрел, этот дом ремонтируют, — практичный Акментиньш уже изучил обстановку.

— Не ремонтируют, а реставрируют, ты, кулак! — Стьювизант указал Акментиньшу его место: сиди на очке и ори «занято!», ишь чего колхозник надумал, а хлеб кто растить будет, а? А еще умного корчит и на Йогиту глаз положил!

— Реставрируют, я же и говорю — реставрируют... — не осознавший разницы Акментиньш не мог взять в толк в чем же он грешен: он же старается вести себя как остальные, ведь вот Моника, она же тоже деревенская, а к ней не цепляются, нет, ничего он не понимает!

Рыбус и Стьювизант продолжили интермедию.

— Как говорил Станиславский...

— Как говорил Немирович, как говорил Данченко!

— Как говорили они оба вместе!

— Нет, все трое!

— Как говорил Смильгис!

— Смильгис этого не говорил!

— Нет, говорил! И притом мне лично!

— Не говорил он тебе! Мне говорил!

— А что он тебе говорил?!

— А говорил он и сказал вот что! Ты слушаешь?

— Я слушаю!

— Ты, сказал он, Тимма, слишком туп, и тебе никогда не стать актером!

— Аааа!!!! — Стьювизант, рыдая, заламывал руки. Все рычали, финал был известен.

— Ты, сказал он, ты будешь режиссером!

Стьювизант продолжал выламываться, все рычали, Рыбус с преувеличенной старательностью гладил его по голове.

— Это не правда, мальчики, вы ошибаетесь! — в щели занавеса появилась голова Офелии, уже без дурацкой шапочки, длинные волосы свободно спадали на плечи.

— Как так?! — все опять в недоумении, что это, Офелия совсем шуток не понимает?

— Да! Эдгар был большим актером! Действительно хорошим! И Мастер его любил!

— В самом деле?! — очкарик сконфузился: а что же тогда все эти разговоры, режиссер он в самом деле фантастический, без всяких маразмов, но вот актер? Все же говорят, что дальше второго слуги он так и не продвинулся... как же так?!

Все остальные тоже смотрели широко раскрыв глаза. Как же это?!

— Эдгар в самом деле был большим актером, до того несчастия... Мы репетировали, я была Кристина, он — Эдгар! И такого Эдгара у нас еще не было!... Офелия вновь скрылась за занавесом.

Да... все чувствовали себя глупо, бедный, несчастный Рыбус, вечно ему подавай фиглярствовать, и именно Тимму понадобилось передразнивать, они же все еще со времен студии были все его дети! Ну, Стьювизант, этот не в счет! Этот за кем угодно из окошка следом сиганет, дуралей этакий!

Стьювизанту, тому ни жарко ни холодно. Рыбус все это затеял, а он-то причем?! Рыбус же вытащил из сумки магнитофон, вставил кассету, понажимал на кнопки, объявил — Cocteau twins... Вот это музыка! Фантастика! Мурашки по телу and волосы дыбом!

Занавес упал. Офелия, в белой, до пола длинной рубашке, стояла спиной к залу. Именно к залу, это они ощутили тут же. Затем Офелия повернулась и...

Что это было — танец, балет, пантомима? театр Кабуки? Не важно, это они понимали. Театр это был, театр. Горели две свечи, дымилась индийские травы. Декораций нет, да и зачем. Это была импровизация, не могла же она слышать Cocteau twins! Да нет же, откуда?!

Она скользила, складчатые ткани порхали по залу, Индия, может это была Махабхарата? — руки двигались, увеличиваясь в числе, гнулись и вились как водяные травы, ритм переменялся — она согнулась, все увидели громадный горб, внезапно он расправился, маленькая девочка бродила среди развалин, с небес угрожали — бог, самолеты, смерть? Она бормотала, запинаясь, страх, молитва, они были свидетели — Офелия повернулась к ребенку, они это видели! — гладила его, успокаивала, пела ему песенку: *lapin, lapin* — это по-французски кролик! — прошептал Очкарик, Кристине сжала ему руку, все было понятно и так, небеса разверзлись, с ребенком произошло что-то

ужасное, Офелия закричала, звука не было, но они слышали. Она повернулась, по спине пробежала дрожь, музыка кончилась.

Они аллодировали как ненормальные, как сумасшедшие. Очкарик, сняв очки, протирал глаза. Рыбус устался в пол, Стьювизант молчал — уж не распустил ли он юнни? Моника и Анджела плакали не стыдясь, Дайте разевала рот, Кристине всхлипывала, Акментиньш, Акментиньш — тот дрожал как в лихорадке.

Офелия низко поклонилась, распрямилась, как-то подурачки улыбнулась, дрожь еще раз пробежала по ее телу, она тяжело опустила на коробку и тихо, помолчав, сказала:

— Теперь будем пить чай. Я мерзну. В самом деле.

Вскочив на ноги, все бросились, куда? — ах да, делать чай! Стьювизант обнаружил куда втыкать шнур от плитки. Акментиньш сбегал за водой, девушки достали из сумочек кафеюшный сахар, вскоре вода вскипела, чай заварен, пусть настоится.

Никто не говорил. Что тут говорить? Все были свидетелями чуда, чего-то подобного на своем кошачьем веку они не видели — думала Кристине, хотя уж она-то уже кое-что повидала — ездила вместе с отцом на всякие гастроли, в Москву, в Ленинград, читала всякие польские и немецкие театральные журналы, и дома у них собирались театралы, но...

— Но я не плакала я никогда не плакала сестричка умерла это последний раз и потом в больнице я не плакала мне сестрички рассказывали они украли моего ребеночка они его унесли они кидали бомбы они жгли нас напалмом теперь они за мной следят всюду опять хотят засунуть меня в дурку — она осмотрелась — они дают мне всякие лекарства и следят за мной они говорят да они говорят вы актриса актриса но вам надо отдохнуть отдохнуть и они все время следят за мной я работала в доме культуры я хотела поставить Любовь сильнее смерти а они не приняли постановку сказали надо отдохнуть отдохнуть теперь мне больше не дают таблеток я говорю я хочу работать в театре пусть уборщицей вы мне не можете запретить нет такого закона а они тогда украли все документы и... Взгляд Офелии сделался лихорадочным, что делать? — подумали все, но Офелия продолжила с одной ей известного места — раньше тут жили голуби они поручили им летать следить за мной потом пришли крысы сначала а злилась они крали мои таблетки и грызли сгрызли все таблетки но теперь я больше не злюсь когда пою они все выходят из своих нор и... — Офелия перешла на шепот — верите или нет, они поют! Едва-едва голосочки, но поют! Вы ведь мне верите, да? — она ухватилась за руку Стьювизанта. — Верите?!

— Да! — глядя в глаза Офелии ясно ответил Стьювизант.

«Молодец, Валдис!» — мысленно произнесла Йогита, молодчина!

— Раньше тут ходили всякие всякие пьянчужки они ловили голубей ели их крали мои пузырьки рылись в вещах съедали что я приносила из столовой я вам говорила я в столовой раньше сборщицей посуды и так много что там остается после но меня уволили я больной человек потому что чтобы я оформляла пенсию а в больнице у меня украли все документы теперь тут польские реставраторы чудные люди они приделали мне к дверям замок мы разговариваем и они понимают по-французски я вам рассказывала я ходила во Франции в детский сад мы вернулись я ходила в балетную школу они меня вообще понимают поляки артистичный народ они верят что я актриса и всегда — проше пани! и пшепрашам! — и один просил моей руки — Офелия громко рассмеялась — я понимаю шутка кому я такая больная старая нужна?! — все это практически не перевода дыхания, без паузы, потом внутренняя пружинка лопнула, она продолжила, но уже нервно. — Но что вы меня слушаете, пьем чай и пойдемте гулять! Я хочу на улицу. Пойдем, пойдемте! — Она встала, принялась разминать ноги.

Никто не знал, что делать, тот студент же сказал, что

она будет говорить, говорить, а потом заснет, а она теперь хочет идти гулять!

— Может быть, позвоним, пусть они все приезжают сюда? — думал Владис.

— Да, звоним Тимме, пусть он со всей своей бандой едет сюда! — думала Кристине. Тимма придет и разберется, ради нее, Кристине, хотя бы!

— Вы знаете Эдгара? Тиммушку? — Офелия словно воспарила, они знают Эдгара, как прекрасно!

— Он наш режиссер, он нас учил еще в студии! — удостоверили все как один.

— Он дома? Его выпустили из больницы? Он больше не в Москве? — радовалась Офелия: Эдгар в Риге, жив и здоров! — Идем к нему! Идем!

Все переглянулись. Да, конечно, но...

— Он знает французскую песенку о кролике! Как он смешно танцует, он руки вот так — Офелия показала как — это тогда ушки, и он ими бодается. Это фантастика! Идемте, мы вам споем вместе!

— Может быть сначала позвоним? Прогуляемся и по дороге позвоним! — придумала Кристине. Все поднялись и пошли. Снаружи было уже темно. Владис достал карманный фонарик и освещал ступеньки. Слепцами Брейгеля они двинулись вниз.

Очкарик был переполнен впечатлениями, держать их при себе уже не мог; рядом с ним была Моника, он стал перешептываться с нею.

— Это Гротовский! Стреллер! Брук! Питер Брук это! Она...

— Она в самом деле актриса! — Моника не сомневалась в этом уже с самого первого мгновения, что ей все эти знаменитые имена, у нее у самой глаза на месте.

Чуть ниже, одна другую перебивали обычно молчаливые Даците и Йогита.

— Ты видела, какая у нее артикуляция!

— Она совершенно не глотает окончания!

— И обрати внимание, это все — при ее-то зубах! Фантастика!

— Пленительно!

— Какая точная, выразительная пластика!

— Но текст...

— Текст совершенно не важен, если тебе есть что сказать!

— Абсолютно!

Как духи, нет, как эти, как их — нидзё, они пробрались сквозь склад, цинически поглядывавшие, пропитанные складскими запахами коты нехотя расступились, пропуская их мимо. Берег Даугавы, звезды, ночь...

— Стожары! Большой Ковшик! Дом Колхозника! — называла Офелия, тыкая пальчиком в небо. — Я хочу плыть на лодке. Только на лодке, не на корабле, нет, все корабли они бомбят, я знаю! На лодке, у вас же есть лодка?

— Есть! Я сбегаяю! — Акментиньшу что, всегда готов! — он сбегает и притащит — лодка есть, большая, надувная, в багаже на станции. Рыбус вызвался с ним, отчего бы не прокатиться, очень даже запросто!

В ожидании все столпились на ступеньках. Внизу темнела вода.

Взять и тихо в нее скользнуть — думал Стьювизант — никому и ничего не надо будет доказывать, ничего... умереть, уснуть... как там дальше? Я знаю, никогда мне не стать большим актером, возле служебных дверей меня не будут поджидать девочки, не будут слать мне цветы и записки... Да, зал будет смеяться, смеяться и аплодировать: гы, какая у него смешная задница! И нос! Я в ауте! В штаны наложу!... но что это?! Йогита положила голову ему — ему! — на плечо, прислонилась.

Нет, он не бросится в Даугаву и не утопнет, нет! Он будет учиться, станет лечебно голодать, займется йогой. Он еще станет премьером. Он и Йогита. Индулис и Ария, Эдгар и Кристина, Макбет и Макбетша — вот, что они сыграют!

Согнувшись под тяжестью громадного мешка, как верб-

люды с поклажей, вернулись Рыбус и Акментиньш. За ними следом ехал большой Икарус, шофер и Рыбус присоединили что-то к чему-то, загудел мотор и мешок принялся надуваться, распухать, становясь если уж и не воздушным шаром или, скажем, дирижаблем, то во всяком случае — морским десантным плотиком, который Рыбус где откопал — никому не известно.

— Едем! Едем! — суется, они чуть было не перевернули плот, хорошо хоть тот не был еще спущен на воду. — Нет, здесь плохо грузиться! — оценил практичный Акментиньш. Они взгромозили плот на плечи и пошли дальше. Возле Рыбного павильона плот был спущен на воду. Офелия молоденькой девушкой соскочила первой, в за ней следом, уже осторожничая, остальные. Ветер шумел в парусах, в Гент ли, в Венецию, куда им плыть?

— К Старику! К Тимме! Споем ему под окнами сенаду! Баркаролу! — они раскричались как галки, а все ночь виновата, звезды и месяц, миллион запахов, ароматов и запашков, вившихся в воздухе: соленая скумбрия, мороженный хек, острый лук щипал глаза, лук порей и укроп раздражали носы, через море из шведских шхер ветер нес кофейный аромат, его сменил воздушный поток из Голландии, несущий нежный аромат гиацинтов. Даците чихнула, тихоокеанский ураган или тайфун доставил через Атлантику воздух целых кондитерских цехов с пряностями — перец, кардамон, имбирь и ваниль, корица и мускатный орех, тут же, куврякаясь в воздухе как желтые планетки, летели лимоны и апельсины — карнавал запахов, пиршество Гаргантюа, у всех текли слюнки, они не ели весь этот долгий день, чудо, что они все разом не лишились чувств, ну да, молодость, молодость...

— К Эдгару! Едем! — Офелия стремительно отбросила со лба прядь, она стояла, как русалка, как сирена, как статуя из черного дерева на форштевене корабля. — Какая женщина, какая фантастическая женщина! — думал Очкарик, — как жаль, что он, Эдмунд, еще такой желторотый, мальчик еще, со всеми своими своими книжными премудростями, со всем своим французским...

Рыбус и Стьювизант на веслах, плот, нет — пиратский корабль, галера! — мчался вперед, за кормой оставались мостик за мостиком, сколько же тут этих мостов понастроили?!

Специально!... — крикнул Кажиньш. — Построил их специально для тебя! Кристине! По ночам я плыву по каналу, перед каждым преклоняю главу, возле каждого думаю о тебе! — кричал он сквозь ветер.

— Поэт... — отозвалась Кристине, интонацию спрямил ветер, да уж что уж!

Канал элегантно петлей выгнулся через всю центральную Ригу, справа остался вокзал, слева — белое здание Оперы, дамочка-фонтан с раковиной на голове, они проплыли под улицей Ленина, мимо Бастионки, мимо лебединого домика, дремлющие птицы вытянули шеи — кто это там?! Не Лознгрин ли? Надо бы поспешить ему на помощь, впрячься в плот, но плот уже мимо, сконфуженные, они вновь сложили длинные шеи под крыльями и вновь ушли в дрему. Плот плыл дальше, по берегам канала декорациями высились дома, украшенные фестончатыми кружевными башенками и флюгерами, сквозь тьму блистали неоновые рекламы и тогда, должно быть для того, чтобы поездка стала совсем романтической, полил дождь. Изламывались молнии, громыхал гром, дождь лил как из ведра, небеса прохутились! Рыбус и Стьювизант гребли как сумасшедшие, Очкарик втянул голову в воротник, девочки достали из сумочек зонты, раскрыли их, удерживая обеими руками, небеса треснули, корабль призраков летел сквозь ночь и город, только Офелия впереди стояла строгая и величественная, и вот, она запела!

«Вагнер!» — подумал Очкарик, всегда все знавший, и ошибся.

«Верди!» — подумал Акментиньш и оказался прав.

Вот уже и последний мостик, в Морском порту сияют огни и, что это там такое? На берегу, в сплошных блестящих железячках, с крылатой Нике на радиаторе, в Риге такое

единственное! — стояло авто Тиммы. Из ресторана в пиджаке, накинутом на голову, с бутылками в охапку поспешал Никиньш, их Никиньш!

— На пароходе! Вот молодцы! Поехали к Старику! Меня послали за добавкой! Запрыгивайте, едем — Никиньш распахнул двери.

Принялись сдвигать плот, воздух шипел, плот дергался как дракон, закинули его на крышу, втиснулись в машину, трубадуры и ослы, жонглеры и шуты, вас ждут дворцы герцогов и пастушьи хижины, дома культуры и рыночные площади, вперед!

Один кабаный рык, и вот они и приехали! Наверняка дом Тиммы строил сам безумец Эйзенштейн: сфинксы и львы, совы и мартышки, и все такое прочее...

— ... не сын, конечно, а папочка! Эти синие кирпичи, сколько такой каждый стоит? Какой в том смысл, спросите! — орал Никиньш. — Прелести ради! Радости для! Искусство это, вот чево!

Лифт не работал, взбежали проворно, одним духом, но к дверям запыхались, вот и двери, сплошь в резьбе, готическим шрифтом надпись на почтовом ящике «для писем и газет», громаднейшая для них щель, гость из тех, кто посубилней, без труда пролез бы сквозь нее внутрь.

Все встряхнулись как вымокшие собаки, за дверями громыхал голос Тиммы, слышный сквозь двойные двери, а в те, эйзенштейновские времена, из древесностружечных плит двери не строили.

— Все уже далеко ушли, — пояснял Никиньш — высоко забрались, но я же не могу! — все согласно кивнули, у Никиньша ампула, кто не знает.

За дверями голос Тиммы продолжал:

— Как Куинджи я поведу вас в Италию, я поведу вас во Францию! Мы будем играть в Парфеноне! В Персеполе! На эстраде Цесисского парка! Я поведу вас в горы, горы будут нашим храмом! Всех этих фарисеев и сребролюбцев поганой метлой я изгоню из храма! Мы отряхнем прах с сандалий, как шелуха разлетятся все эти карманщики-комедиантчики! Мы возродим театр как Элеонора Дузе, как Гордон Крэг, как наш Мастер! Свои тезисы я приколочу к дверям Исполкома, прикнулю кнопки к стене в Министерстве культуры!

— Это надолго, звоните! — решил Никиньш. Они позвонили.

Изнутри донесся тигриный рык.

— Уже несут! Статисты, по местам! Дорогу мне! Иду встречать царицу Савскую!

Тимма распахнул двери. Из-за его спины выглядывали Дылда, Марите, Клавс, Саша, Эстер с павлиньим пером на шляпе, Ева в ковбойской шляпе, вся их компашка.

— Майя... — голос сломался в горле Тиммы. Все деликатно принялись спускаться вниз. Никиньш сунул в руки Тимме две бутылки, тот запихнул их в карманы халата, остальные Никиньшу хватило ума взять с собой. Дылда, Саша, Клавс, Марите, Иева и Эстер протиснулись мимо Тиммы и Офелии и понеслись вниз.

Внизу они устроились вполне уютно, там, между первым и вторым этажами, может это был партер, может балъэтаж, кто нынче в таких делах смыслит! — такая милая площадка, вдоль стен изображения мифологических существ и гетер — гетеры ведь тоже мифологические существа? вот там они и устроились, прямо под гипсовыми охапками лилий, в царстве русалок и серпид! — бутылки откупорены, пущены по кругу, они все промокли насквозь, большая часть, по крайней мере, да и остальным не повредит, не пил один Никиньш, ему нельзя, такое дело, в восемнадцать лет ампула! — все посмотрели на него с уважением.

Вскоре Тимма позвал их наверх, все разбрелись по большому холлу, оккупировали туалет и ванную комнату, девушек пустили в святыхище тиммовой квартиры — в спальню, где стояла кровать под легендарным балдахином, там они могли себе причесываться, сушиться и переодеваться — каждой был выдан восточный халат фан-

тастических размеров, Тимма утверждал, что привозит их из своих путешествий, недоброжелатели же намекали, что выскивает в рижских комиссиях и перекупает у сомнительных типчиков. Как бы там дело ни обстояло, хватило на всех, и девушки могли сидеть на покрывале подобно гигантским бабочкам, разгуливать по квартире китайскими драконами, как миниатюрные гейши торопиться через выгнутые мостики к чайным домикам, по дороге влюбляясь в нищих студентов, превращаясь в лис, которые в Стране Восходящего солнца работают оборотнями.

Дымился жасминовый чай — уж если восточная экзотика, так уж и вообще! — по кругу передавались чашечки с подогретым сакэ, по воздуху перемещался поднос с бутербродами (лососина Дальневосточного производства), по фарфоровым тарелкам распространяли свои фиолетовые щупальца кальмары, все было на высшем уровне, вот только Тимма...

Тимма сидел на полу, громадное, бегемотоподобное его тело съезжилось как давеча их плот, усы а ля Ницше или наш местный Блауманис топорщились во все стороны, в своей руке он зажал обе руки Майи и глядел ей в лицо.

Настало утро, и пора отправляться в аэропорт. Тимма поведет их курс в горы, это правда! — нужно было срочно одеваться, звонить в таксопарк, по дороге еще надо успеть заскочить на вокзал за багажом, там вся их экипировка, лишь плот, их корабль, лежал на крыше Тиммовой машины.

— Пора! — воскликнул Тимма, но что это? — ужас! он бессильно опустился на пол, лицо налилось кровью и сделалось свекольного цвета, он захрипел, все кинулись к нему, подложили под голову подушки, позвонили в скорую, та приехала, Тимме что-то вкололи, были рекомендованы покой, сменить работу, никаких стрессов, позднее, возможно, по-полчасу работать в саду, растить цветочки. Тимма сквозь зубы прокинул все на свете, еще раз попытался подняться во весь свой громадный рост и зарычать по-бегемотчи, нет, по-слоновьи, но увы, ничего у него не получилось, лишь почти мышинный писк:

— Такие дела, ребяташки... никуда я вас не повезу, придется ехать самим!

Они встали и пошли, пора, внизу ждут такси, все будет хорошо, Тимму вылетат, осенью они встретятся, с Тиммой ведь остается Майя! На мгновение, уже в дверях, Анджела задержалась и оглянулась на Тимму и Майю — ей тут делать было нечего, она тихо вышла и закрыла за собой дверь.

И это все? Как же так?

О той безумной ночи говорила вся Рига и говорила долго. Предлагаю все известные мне версии. на ваш выбор!

I. Однажды ночью Офелия решила повторить эпизод с каналом, но лодка или плота у нее не было, и она утонула.

II. Офелию поместили в больницу для нервных, назначили лекарствами, теперь она руководит там самодеятельностью.

III. В ходе своей работы польские реставраторы добрались до чердака Офелии: что теперь будет с pani Dziwna? — где она будет жить? — начали интересоваться они, ходить по учреждениям, и в настоящее время Министерство Внутренних дел выдало Майе Екабсоне новый паспорт, и ей обещана квартира в Иманте-200.

IV. Имеются свидетели, видевшие, как отворилось окно тиммовой квартиры, и их обих, рука в руке, как шагалолюбские любовники сладко (гладко) скользивших в небо!

V. Подобные заболевания, по-видимому, заразны. Тимма развелся с очередной женой и женился на Майе. Желаем счастья!

VI. А, может, если что и было, так это сама та ночь...

VII. Тимма это де я сам! (Плагат!)

VIII. Офелия де это я сам! (Плагат!)

IX. Все мы — Офелия и Тимма, весь мир — театр и все — актеры! (Измененная цитата!)

X. Все в рассказе, от начала до конца, придумано.

Перевел АНДРЕЙ ЛЕВКИН

МАРИС МЕЛГАЛВС

За дела, что были блага ради,
не простим, не злясь ни на кого.
Каждому в дорогу — по награде
в лад заветным помыслам его.

На вот розу. На вот сало. На вот песню.
Вот полсердца, что цвело вчера.
Вдоль низких гор, просторов тесных.
На вот баню пепла под ветра.

На вот возвращающийся грошик.
Непустеющий худой сосуд.
Вот вискам твоим опора из ладошек
для поры, когда желанья мрут.

Сон свершится. Соберись-ка. Смелым, безоглядным.
Груз тяжелый. Сам поскочет. Ничего.
Брось худой сосуд в дороге. Брось нарядным.
Пусть погоня захлебнется из него.

* * *

Перемена в атмосфере!
Вновь туман понес потери.
Солнце — в окна, солнце — в двери!
Градом взятый в передел,
воздух полон перемен!

День долой. В руках темно.
Отнято. Украдено.
Деток думы донимают.
Дети много понимают.

Засыпают на рассвете.
Не стареть бы, не стареть им.
После вешних дней неспешных.
Первым стряхивает сны
серый коник для войны.*

Всех угрюмостей важнее,
дым по ветру стлался.
Об огне чужом радея,
ты забыть старался,
что ведь что-то так недавно
и в тебе горело.
Голубая тень куда-то
побрела несмело.

Морозом скован ветер заполошный. На крышах то
ли пепел, то ли снег. Восходят лики дорогих усопших.
И ты у них — единственный на всех. И множество при-
ветливых улыбок сливаются в одну и в грудь вливают
свет. Все состоялось. Не было ошибок. Угрюмый светлый
день. Смущаться или нет?
В час таянья теней, когда согбенно
уходит утешать печаль сама себя
и возвращается такой смиренной,
пусть не узнается, что был там я.

Этих слез не сглотнуть. Моих.
Что на ваших щеках недаром.
Ветер слушаю. Он-то правдив —
усилитель сердечных ударов,

от которых и крепость-кремень
превращается в щебень просто.
Он смеётся всё: «Добрый день!»
Не расслышишь трубы из бересты.

Не развидишь саней расписных.
Впрочем, нет и морозной злости.
Подмечают свое для своих.
Но не ходят. Не ходят в гости.

Телефон замолчал у меня —
обзаводится ноткой стальнойю.
Я сказал, дорогие друзья.
Смело можно хранить остальное.

Там пять кленов поют у плетня.
Там семь ясеней пляшут весною.

* * *

Регулярно небо сильно испещряется чернильно.
Вскоре черточки нечетки. Заживляются легко.
Кое в чем неплохо мне бы походить на это небо:
раная, мажут — снова небо и светло, и глубоко.

Небо, полное покоя, где давно не видно бога.
Небо, древнее такое, что ознобливо немного.
Небо, долго за которым будут гнаться в бледном раже.
Если только перед взором не изменятся миражи.

Небо как родные очи. Небо словно дно колодца.
Это худо, да не очень, что гроза вверху смеется.
Если небу станет гадко прибавлять в озонных дозах,
разве мы сумеем сладко дрыхнуть в
минпромгосснабхозах?

Грубоватость жизни лучше. Не плодить в стихах и в небе.
От природы вновь получим. Свой плевков запишем в дебет.
Утром в каждую контору проливается атласно
неба лоскуток, с которым втихомолку все согласны.

Дружно все лоскут распяли. Исчерниливаем живо.
Не дрожат несколько пальцы. Лишь глаза насквозь
фальшивы.

* * *

Что, птички, сурова метелица?
И как вы живете — бог весть.
Мне не на что тоже надеяться.
Спасибо, что крыша есть.

По паре чудес за плечами. И что же они означали?
Трещину между сердцами. Озноб от остывшего чая. Хоть
окна еще не померзли. Сидеть бы и печь разжигать.
Но снег в ее горле промозгло. Дома здесь чудные,
мать. Дрова загораются только сдуру. Телефон руки свя-
зывает узлом. Такие сырые мелодии дуют, что слезы
сохнут. И ночью, и днем непрожитые жизни струятся.
Красноклювые ведьмины метла ждут, сторожат, суетятся
на обнаженных ветлах.
Вещают: метель прекратится.
Как вам это видится, птички?

* Строка из дайны, фольклорный образ.

АНДРА НЕЙБУРГА

МЫШИНАЯ СМЕРТЬ

РАССКАЗ

Ты (но, может быть, и я? — какое это имеет значение, мы ведь чувствуем и живем сходно, но если это не так, то лучше тебе не читать моего рассказа), — ты ждешь троллейбус, а его долго нет, и опять вспоминаешь эту несчастную мышь, мышь в мышеловке. Мелочь, а противно — мышь угодила в ловушку ночью или рано утром, тем и кончились мышинные неприятности, а твои только начались. Ты заметила это, когда готовила завтрак, ну, скажем, — вскрывала консервную банку с килькой в томате, пятую за последние два дня, ты ведь занятая женщина и не можешь (или тебе лень) выстаивать в очереди за чем-то другим. Ты только что умылась, может, даже приняла душ, что маловероятно, потому что у тебя нет ванной комнаты, или же есть, но общая с соседями, которые всей семьей уже стоят в очереди у дверей, если попались чистюли, а если нет, то они еще вчера так загадили эту ванну, что у тебя нет никакой охоты туда соваться. Чтобы было проще, прием, что у тебя все же нет ванны, потому что мне легче вообразить, как живет человек без ванны; человек, владеющий ванной, наверно, все же обитает в несколько ином мире, чем я, и мне трудно его понять, ибо я допускаю, что его мышление развивалось несколько иначе (особенно если ванна у него с детства), и возможно, что в нем больше внутренней свободы и внешней раскованности, может, он даже чуточку ощущает себя европейцем, поскольку в любую минуту может небрежно бросить: Ах, вчера была такая ЖАРА, что мне пришлось ТРИЖДЫ ЛЕЗТЬ ПОД ДУШ!

Итак, ты умылась над раковиной и сейчас вскрываешь банку кильки в томате, и вот ты видишь мышь. Это зрелище тебя немного огорчает, поскольку ты натура нежная, тебе жаль даже тараканов и комаров, с которыми ты борешься с переменным успехом, но ты достаточно образованна, чтобы понять, что беготня мышей по столу недопустима (прошлогодний ерсиниоз у твоих детей, лекарства, которые невозможно достать, черная икра, которую нужно давать в день по чайной ложке, а ты ведь принадлежишь к тем людям, для кого это — ПРОБЛЕМА), и потому мышам приходится умирать, решение обжалованию не подлежит, жизнь безжалостна и судьба неумолима. Ты вспоминаешь, кто-то, вроде, говорил, что жизнь не безжалостна, она равнодушна, и с этим ты тоже готова согласиться, ты подавляешь в себе жалость и сообщаем мужу о мышинной смерти. (Я допускаю, что у тебя есть муж, притом хороший, достаточно того, что у тебя нет ванны, машины, дачи, центрального отопления и иллюзий). Муж обещает выбросить мышь после завтрака, сама ты этого сделать не можешь — мягкая, нежно-серая шубка, кажется, еще хранит тепло крови, бедное округлое тельце пережато, как подушка, ровно напополам проволокой мышеловки, уши изнутри розовые, еще блестят бусинки черных глаз, но хвост уже окоченел. Прости, прости.

Вы с мужем садитесь вдвоем за кухонный стол, покрытый вытертой клеенкой, в рисунках которой можно при большом желании угадать кисть голубого винограда, ломоть арбуза и следы каких-то совершенно незнакомых экзотических фруктов, — о, что за день, как он мило начинается! Вы двое за столом, вы еще немного любите друг друга после одиннадцати лет совместной жизни (и только далекое голубое предчувствие, неясное, как виноградная кисть под твоей чашкой, — а ведь могло быть и лучше...), вся квартира, обе комнаты и кухня, сегодня ваша, потому что остальные члены семьи уже выехали на взморье, где снимают маленькую, пригодную для жизни сараюшку;

вместо шестерых — двое; покой и тишина необычные и торжественные, сквозь серую от пыли листву липы в кухню проникает процеженный солнечный свет, ни намек на ужасную жару, которая с раннего утра накаляет брусчатку и плавит асфальт и людей там, снаружи; у вас — полумрак и покой, даже мух еще нет, приглушенное радио тихо повествует о каком-то ядовитом газе, вырвавшемся в Олайне, или об уксусной кислоте, разлитой в Дубулты, и вы наслаждаетесь этим мгновением, наслаждаетесь сознанием того, что у вас есть и килька в томате, и мягкий белый хлеб, даже кофе у вас есть, черный, как живот у негра, настоящий кофе в зернах, без цикория, — я охотно дарю вам это мгновение счастья, я не заставляю тебя думать о стирке и ценах на клубнику, а твоего мужа — о девушке, которую он вчера видел на улице. Может, ты как раз наливаешь кофе в тот момент, когда уголком глаза замечаешь движение в самом темном углу кухни, у плиты, там, где стоит мышеловка. Ты быстро поворачиваешься — мышь. Мышь трижды (еще) отчаянно вскидывает верхнюю часть туловища, странно сгибаясь в пережатом проволокей месте, и тебе кажется, что ты слышишь даже тихие, приглушенные нежно-серой шубкой удары маленького тельца о доску ловушки. Над мышиным носом вибрирует заветрившийся кусочек сала.

— ШЕВЕЛИТСЯ! — кричишь ты (или шепчешь придушенным голосом) и льешь кофе в банку с килькой.

Муж за одиннадцать лет жизни с тобой привык и к крикам, и к придушенному шепоту.

— Что? — мечтательно спрашивает он, может, все же думает о девушке, которую вчера видел на улице?

— МЫШЬ!

— Не болтай, — муж перегибается через стол, чтобы лучше видеть, и мышь в его честь повторяет свой ужасный трюк.

— Ну, знаешь ли, — твой супруг бледнеет. Наверно, именно поэтому ты вбегаешь в комнату с плачем, ты плачешь долго, потому что у тебя ненормированный рабочий день, ты плачешь сперва о мыши, потом о муже, о себе, а тогда уж ты плачешь обо всем; к кильке в томате ты больше не прикасаешься, еще чего! У тебя даже не хватает духу узнать, убил ли муж мышь, это было бы только гуманно, — но нет. Он не способен на это, думаешь ты, вот если бы из ружья... И непонятно — эта мысль радует тебя или огорчает.

После слез у тебя начинает болеть живот, тупо и однообразно; в последнее время это случается все чаще.

Вот такое было утро.

А теперь ты стоишь на солнцепеке и ждешь троллейбус, а его так долго нет. Следы слез на лице ты кое-как замаскировала остатками своей французской пудры, боль в животе обманула тремя маленькими желтыми колесиками, на стертые вчера ноги наклеила новый пластырь, только что ты перестала вспоминать случай с мышью и пришла к выводу, что жизнь все-таки удивительно бессмысленна и глупа, если о ней задуматься, что близится конец света и что твой муж все же (все же!) не из лучших, и тут тебя возвращает к действительности пронзительный крик:

— ВОРЫ!

Невысокий смуглый мужчина — мимо глаз мелькает только его полосатая рубашка, — больно толкнув тебя, растаял в колеблющемся потоке прохожих.

— О-о-о-ох!!!... — люди на остановке, как по команде,

воздевают руки, если они свободны, и хором вздыхают. Ты зажмуриваешься в надежде опять увидеть его, но поздно, огромная женщина рядом ругается по-русски, толпа любознательных охватила вас плотным кольцом.

— Von, glapke, ženščinu obokrali, a?! — вопит великанша, и десятки глаз обращены к тебе. Ты, конечно, краснеешь, потому что стесняешься сказать, что это не тебя обокрали, а здоровенная баба продолжает вдохновенно вопить о случившемся, лицо у нее красное и мокрое, ужасающих размеров груди грозно колышутся от каждого взмаха рук, от нее исходит столб пара, благоухающего потом и чесноком. Ты виновато улыбаешься и слушаешь сочувствия, и только какое-то время спустя слышишь робкий шепот за спиной, — вон ту обокрали. Тихая и съезжившаяся, желтая и сухопарая, с острым, обгоревшим на солнце носом, она сипло что-то бормочет, время от времени откидывая со лба прядь жирных седых волос и растерянно глядя на свои пустые руки, на которых она загибает один за другим пальцы:

— Ключи! . . . месячник! . . . трамвайные талоны, сахарные талоны! Боженка, на всю семью . . . деньги! . . . ключи! . . . талоны . . . — несчастный голос утихает, а рядом — у-у-у! — воет сирена:

— Nu-u-u, gadi, a? Fašisti!

Jej bogu, вот это да! — еще раз жизнерадостно и дружно голосит толпа и вдруг рассыпается кто куда — идет троллейбус.

— Троллейбус! Троллейбус! — каждый старается стать ближе к краю тротуара, ты шуришься — это твой? Да, черт возьми, он! Ты плохо видишь, милая, так же, как и я, и это наполняет меня почти что злобной радостью, может, и твою дочку дразнила соседская Оля — «tvoja tata — слепая курица», и ты пыталась объяснить своему неправильно воспитанному ребенку, что это не имеет никакого отношения к национальности, что одна тетя на улице обозвала тебя «слепой овцой», и это по-латышски звучит совсем не лучше, чем «слепая курица» по-русски, — но ребенок не хочет понимать, ребенок плачет. Глупая девочка.

Троллейбус все-таки твой, ты одна из последних протискиваешься внутрь и вклиниваешься между горячими тюками, обтянутыми цветастым шелком и ситцем в горошек. На тротуаре осталась сухопарая с острым носом. Ну и погодка . . . Глупый ребенок, — думаешь ты, — хоть бы Бабуля догадалась не пускать ее гулять без рубашечки и с непокрытой головой, в этом году ужасная солнечная радиация, однажды об этом даже по радио сообщали, ходят слухи о покойниках, слухам ты не веришь, и все же . . . Все же.

Троллейбус, истерически дернувшись, рванул вперед, ты почти нормально устроилась, ты стоишь обеими ногами, руки по швам, и стараешься прогнать мысли о радиации, это малоприятные мысли, ради-ради-радиация, . . . ация . . . нация . . . И ты вспоминаешь июньскую демонстрацию. Эта мысль тебя тоже не успокаивает, под ложечкой сосет от страха, — бог весть, как все это кончится, как кончилось? — и противно ноет живот (нет с собой желтых колесиков). Я действительно не знаю, как ты сейчас себя чувствуешь, сходны только твой и мой сегодняшний день, но не наше прошлое. Были ли твои родители репрессированы в 1941 или 1949 году, или же, может, сами были теми, кто репрессировал? Не служил ли твой отец в легионе? А, может, он был партизаном? Не вздрагивай, милая — а не расстреливал ли он жидов? Или гонялся по одуванчиковому лугу за детьми, обреченными на высылку в Сибирь? А твоя бабушка — не была ли она подпольщицей еще при царе (Иисусе, сколько же ей лет?), не чудом ли уцелела в 1937 году, а в 1943 не прятала ли тех самых жидов, которых, возможно, расстреливал твой отец? Не угодила ли она опять в ссылку после войны? Не знаю, не знаю, история предоставляет так много возможностей, вариантов — сотни, я лучше допущу, что твоей семьи все это не коснулось, твоих родителей не выслали, и сама ты была слишком мала, чтобы кого-то убивать. И ты сама ни во что не

желаешь ввязываться. Когда на демонстрации ты видишь ТО знамя, у тебя дрожат колени и кажется — сейчас начнут стрелять. Ты хочешь мира, только мира и покоя. Ты немного полагаешься на Горбачева и основательно — на Петерса. Тебе страшно насилия. Ты не хочешь, чтобы тебя били по лицу. Это — самое плохое, что ты можешь себе представить.

Живот болит все сильнее. О боже, сколько же может вытерпеть человек? Сколько и мышь? Больше?

— Послушайте, женщина, не ложитесь на меня!

— Ай!

Да, ты действительно всего лишь женщина. Ты переживаешь, что мысли, преследующие тебя в последнее время, довели до бессонницы. Они довели и до кое-чего похуже — даже с мужем ты не ощущаешь всего, как положено. Ты стала пить зеленые колесики, которые успокаивают, когда хочешь уснуть. И красные, которые взбадривают. Когда это необходимо.

— Уберите сумку!

— Ne ronitaju!

В троллейбус вламывается огромный милиционер и освобождает место рядом с тобой. Мужчин в форме ты воспринимаешь вне категорий человеческого, но дыхание милиционера по-человечьи отвратительно. Почему не откроют верхний люк? Почему троллейбус так долго стоит? Что? Опять авария? Воздуху, товарищи, впусайте воздуху! Если там, снаружи, есть пострадавшие, можно будет выйти подышать. Пока уберут трупы. Тьфу, почему трупы, может, все обошлось. Хотя трупы в городе каждый день. Ты вытягиваешь шею и тарачишься в запыленное окно. Ничего интересного ты не видишь, только констатируешь, что троллейбус стоит возле «Дружбы народов». Нурушимой. Этот лозунг ты впервые заметила лет восемь назад, а муж утверждает, что помнит его с первых дней вашего супружества. Невероятно! Обновляют они его время от времени, что ли? Красный цвет стал коричневато-розовым, как клюквенный мусс с яблоками. Троллейбус трогается, и, возможно, ты совершенно равнодушно проезжаешь мимо лозунга. А, может, именно в этот раз к тебе привязывается новая тревожная мысль — странно, говоришь ты себе, странно. Неужели я действительно стала интернационалистской? И тебя волнуют чуждые, полные ужаса слова — Алма-Ата, крымские татары, Нагорный Карабах . . . Одно-му маленькому народу угрожает полное исчезновение с лица земли из-за строительства Тунгусской ГЭС. Как называется этот народ? Ты не можешь вспомнить, и это тебя раздражает. С неудовольствием ты признаешься, что можешь перечислить хорошо если пятнадцать обитающих в Советском Союзе народов. Обитающих на бескрайних просторах твоей Родины. «Родины», которую в школе учат писать с большой буквы. Ты вспоминаешь эстонца, которого нечаянно встретила у подруги, красивого парня, в меру интеллигентного и вежливого. Там, в Эстонии, этот парень основал что-то неформальное — «Союз независимой эстонской молодежи». Что это за молодежь? От чего она независима? «Сейчас такое време, надо гействовать. Пудим гействовать, пудим жить па-другому» — так сказал эстонец. Эстончик. (Он тебе понравился, правда — молд.) Эстонцы, братцы — это звучит. А братцы татаре? Братцы русские? Странно . . .

— Probeike, požalusta!

— Пажалста.

Цветастый тюк собрался вылезать, и ты занимаешь чудное место между двумя сиденьями, лучшее место в троллейбусе, если не считать самих сидений.

— Едет, как ненормальный!

Перед тобой сидит под билетным компостером военный — офицер, полковник, генерал? Вот так-то, ты же ничего не понимаешь в этих звездочках и полосках, хуже того — ты в кино не различаешь русскую и немецкую форму . . . Ты скучающе глядишь на офицера (полковника? генерала?), на его френч защитного цвета, с белыми бумажными кружочками, усыпавшими плечи, а из зажатого в объятиях портфеля торчат лук, укроп и салат. Ах, нитра-

ты-нитриты — думаешь ты. Что давать ребенку, что не давать? У сослуживицы ребенок сплошь в аллергиях — больница, дом, больница. Я не могу посоветовать вам никакой диеты, — сказал тебе врач, — и вы сами понимаете, почему. Странно, но слова врача тебя успокоили. Хотя суставы пальцев продолжают деформироваться, и мне кажется, что твои шейные позвонки тоже не в лучшем виде. А еще желудок . . . м-м-м, болит, сволочь, — и ты невольно морщишься. Легкие у тебя тоже вдрызг (не спорь, сама знаешь) от курения. Ты, милая, панически боишься смерти, но совсем не бережешь себя. Такое время — оправдываешься ты.

Хоть бы девчонка не стала курить!

Нельзя сказать, что ход твоих мыслей логичен, но я не стану тебя в этом упрекать. Тебе нехорошо. И голова тяжелая. Может, у тебя давление. Может, сегодня бесчинствуют магнитные бури. Или кривая твоих биоритмов достигла нижней точки. Не думай больше о себе. Думай о чем-нибудь другом. О космонавтах. Как им удается быть такими здоровыми. Вот ведь недавно полетел один из Риги. Как его? Соболев? Самойлов? Ты опять не можешь вспомнить, действительно, это не к добру. Есть такие колесики, коричневые, стимулируют память. От души рекомендую.

— Ой, извините, автайнойет!

— Ничего, ничего.

Тебе приятно, когда извиняются, но на сей раз твое «ничего, ничего» звучит сердито, потому что ты вспомнила — на следующей неделе нужно ехать в командировку в Вентспилс. На шесть дней. Ты не хочешь шесть дней дышать этой ядовитой красной пылью, которая с вентспилсского причала разносится над всем городом. На секунду в памяти мелькает то, что ты слышала этим утром про Олайне и Дубулты, Лиепайскую АЭС. Ужас. «Гейтствовать нада». Ты-то знаешь, что не в состоянии что-либо сделать. Только — свои служебные обязанности выполнять, и то не всегда. Когда тебя по заданию архива послали к товарищу Н., ты задержалась всего на день, по семейным обстоятельствам, а тов. Н. за это время успел скончаться. Это тебя обидело. Действительно, жизнь равнодушна.

— Следующая — Революция!

Не может ли этот троллейбус тащиться побыстрее? Будет метро, будет и быстрее. Ты представляешь себе свой дом на краю огромной ямы. Ха-ха . . . Дом на обрыве. *Māja uz kraujas.*

«Das Haus auf dem». Нет, как по-немецки, ты не помнишь. «Eine verrückte, verrückte Geschichte», — сказал Гюнтер Грасс, когда Крупников изложил ему краткий курс истории Латвии. А стройная очкастая дама с исторического факультета университета холодно объявила: «У НАС другая точка зрения по этому вопросу». «Я не выражаю ТОЧЕК ЗРЕНИЯ, я излагаю ФАКТЫ», — отрубил Г. Г. Ах, история, история, точки, факты. «Мы эти факты трактуем иначе . . .» Пищеварительный тракт как железный. Кошмар, что с нами происходит. И что еще произойдет? . . .

— Корова! — имели в виду тебя. Это и впрямь тебя огорчает.

Ты замечаешь, что в троллейбусе стало темнее. Не к дождю ли? Ты боишься дождя — после Чернобыля. Это, кажется, называют радиофобией. Ты очень надеешься, что Бабуля не пустит ребенка бегать под дождем, купаться в море, не позволит есть огурцы с кожурой, собирать ягоды на обочине и гладить чужих кошек.

— Пропустите с ребенком!

— Ну, пожалуйста, пожалуйста!

Тебя прижали к самому окну, малыш смотрит на тебя ничего не выражающими глазенками. Нормален ли он? Сколько процентов рождается больными? Может, и хорошо, что я не подзалетаю во второй раз, рассуждаешь ты, сегодня рожать детей рискованно. Соседская собака принесла двоих уродцев и даже не могла сама разродиться, делала кесарево сечение. А один щенок из ее прошлого помета уже помер от рака груди. Самые выносливые — крысы. Интересно, а мыши?

Ты встряхиваешься. Боль нарастает.

(Но к боли можно привыкнуть.)

Ко всему можно привыкнуть — думаешь ты.

Ты еще раз выглядываешь в окно и замираешь от ужаса. Ну и хвост! А до открытия магазина еще два часа, кошмар. Кошмар. Где, черт возьми, вы раздобудете бутылку к семнадцатому? У мужа нет времени стоять в такой очереди, у тебя — сил. К тому же у тебя к очередям ярко выраженное, я бы сказала — неженское отвращение. И ты уже три дня носишься по магазинам, язык на плече, ищешь туфли. И плащик ребенку. Или пиджак мужу. Потому что ему, твоему мужу, ехать за границу, и нельзя же ехать без приличного пиджака — а вдруг какой-нибудь прием? Или — в оперу? Вдруг.

Придется взять дорогой коньяк, решаешь ты, и считаешь дни до получки.

Жарко, невыносимо, невозможно жарко. Ты чувствуешь, как по вискам стекает пот, а стереть его не можешь, руки по швам. Ты опять представляешь себе вагоны для скота, которые бесконечной вереницей мчатся на восток (слишком много пишут об этом, слишком много!). И там не было такой давки . . . Там были другие проблемы. Голод и понос. И страх.

Тебе тоже страшно. Ты боишься плохих людей. Милиционеров. Войны и бытовой радиации. И еще у тебя совершенно обычный страх перед поездами, автомашинами, моторами и электричеством. Перед всем, чего ты не понимаешь. Ты еще не обжилась в своем веке технических чудес. Правду сказать, ты и природы боишься. Во тьме у тебя мурашки по спине бегают, тишина кажется пугающей, тебе не нравится в полдень бродить по тенистому лесу — ты, милая, и леса не понимаешь. Труднее всего ночью, когда объединяются страх темноты и страх перед будущим. Слава богу, эти ощущения не поддаются зеленым колесикам только за пару дней до месячных. Муж тебя не понимает.

— Не толкайтесь!

— Простите . . . — ты слишком резко шевельнулась и наступила соседке на ногу, тебя резко и внезапно пихнули под лопатку.

И есть хочется. Из-за этой мыши . . . фу.

Ерсиниоз, гепатит. Рак. Только чумы не хватает. СПИД?

Ну, нельзя же так резко тормозить! Может, кто-то на улице?

Жених твоей бывшей одноклассницы, из-за которого ты ей завидовала, финн, в Москве угодил под машину. Там носятся как ненормальные — столица! Частным самолетом его умчали в Хельсинки, и еще хорошо, что успели. Наши не заметили, что и легкие разбиты, что началось внутреннее кровотечение, еще чуть-чуть — и готово.

Готово. Готово.

Боль усиливается. Что? Язва? Ах, ну не давите же, голубчики, не давите так страшно, я ведь тоже человек! На теле будто обруч, шириной с желудок. Горящая проволока. Только бы не стало плохо, думаешь ты. Хоть бы отпустило. Напиться бы — пить, дайте пить — так в кино обычно стонут раненные советские солдаты. Тебе некого попросить. К тому же, тебе стыдно.

Вот, теперь уже как ножом режет. Могу себе представить — красные круги перед глазами, уши как заложило, ног не поднять . . . боже, почему именно сейчас, сегодня, какого черта . . . Нет, ты больше не можешь.

— Вы выходите? Да пропустите же!

Красные круги пропадают, и ты приходишь в себя на улице, зад переполненного троллейбуса грациозно уплывает за угол серого дома, может, и не следовало выходить, здесь еще горячее, чем в троллейбусе, на минуту притихшая боль с новой силой схватывает тебя, синюшная холодная рука боли с длинными, крепкими и желтыми ногтями — душит, ты не можешь разогнуться, тебе нельзя разогнуться, нельзя позволить отвратительной руке еще глубже ухватиться за твои внутренности; потерпи, потерпи, возьми себя в руки, вот там, у того столба, ты сможешь прислониться.

Так.

Ты растерянно озираешься — куда ты забралась?

Наверно, ты все же села не в тот троллейбус, курица слепая. Мимо тебя проходит тип в тренировочном костюме



ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ АНДРИСА КРИВИНЬША

с буханкой под мышкой. Ты не осмеливаешься спросить, куда ты попала. Ты так и не научилась различать новые районы. И что, что там, в сторонке, за возня? С трудом ты поворачиваешь голову — трое маленьких мальчишек бьют одного, самого маленького. Паршивцы этикие. Тип с буханкой обходит их по газону. Никак не полегчает . . . Вот самый большой сбивает малыша с ног и коленями придавливает к земле его грудь, другие держат за руки и ноги. У малыша серые волосы, пыльное лицо тоже серое. Только слезы оставили на щеках светлые дорожки. И блестят темные глаза. Бусинки черных глаз. Вот, большой ловко бьет его по лицу. Впервые. Во второй раз — сильнее. Молодая женщина катит мимо тебя коляску с младенцем. Ты отрываешься от столба. Согнувшись, делаешь несколько шагов по направлению к мальчишкам. Каждый шаг отзывается в животе и в голове. Большой бьет в третий раз, от боли у тебя в глазах темнеет, малыш лежит на асфальте, серый и беспомощный, даже не пытаешься сопротивляться. Боже, какой серый. Ты крепче сжимаешь руками живот (не пропустить глубже

костлявую, синюю, с желтыми ногтями!) и приближаешься к ним. Большой бьет опять. Дурак, чего ты молчишь, — шепчешь ты.

— Чего молчишь . . . дурак! — орешь ты во всю глотку, — ну, кричи же, ну, что ты не кричишь?!

От боли и напряжения ты вся взмокла, синяя рука что-то оборвала и добралась до позвоночника, мальчишки разлетелись, как стайка воробьев, медленнее всех — малыш, он с трудом поднялся на ноги и, убегая вслед за старшими, показал тебе язык.

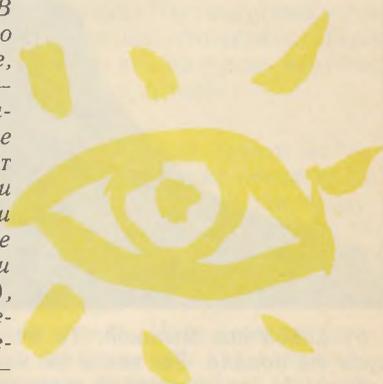
Больно. Но к боли можно привыкнуть.

Ты опускаешься на корточки. Как приятно пахнет асфальт. Мимо проходит толстоногая женщина в босоножках на пробке, она испуганно смотрит на тебя сверху. Ее большое скуластое лицо расплывается на весь горизонт. Боль еще сильнее, если это только возможно, но ты надеешься, что пройдет. Асфальт пахнет домом.

Перевод ДАЛИИ ТРУСКИНОВСКОЙ



Павилс Розитис (1889—1937) принадлежал к «вдовьям детям» начала века в прямом и переносном смысле. В возрасте четырех лет он потерял отца, а все свое детство и молодость, испытывая тягу к знаниям и культуре, проводит — подобно многим латышским энтузиастам, — в поисках «высшей правды и полноты». Ницше, Шопенгауэр, Уайльд, Айхенвальд, Брюсов, Меттерлинка и — вне сомнений — революционный подъем 1905 года — вот основные факторы, сформировавшие мироощущение и систему ценностей Павилса Розитиса. В поэзии (сборники «Чайки» (1910), «Кувшин с цветами» (1912), «Бисерное украшение» (1918), «Звучащие времена» (1919), «Меч и лилия» (1920), «Мой коран» (1923), «У колодца» (1927), «Разговор» (1936)) Розитис сохранял связи с классической традицией; опираясь на эстетические представления символизма, он отображает мир человека 20 века — кафе, улицы, окраины, насыщенность большого города, в которой пытается отыскать вечную красоту и страстную пульсацию жизни. Его поэзии часто присуща захватывающая эротика, следование принципу «Carpe diem!». Теперь кажется, что именно тематические стихотворения, в которых нередки стилизация, эстетизация каждодневных реалий, и сохранили наиболее полно свою поэтическую живость. И в поэзии и в прозе чувствуется, что характеру П. Розитиса всю жизнь были присущи по-мальчишески вызывающее поведение, упрямство, патетика. П. Розитис — поэт многообразия жизни, ощущение ее азарта, чувственности — вот, по-моему, самое убедительное в его поэзии. Следует добавить, что, кроме поэзии, П. Розитис написал пять романов и несколько сборников новелл.



УТРО

Мир пробуждается от сна,
На стеклах утра позолота,
Дневная началась работа.
Но ты тревожна и грустна.

Свист соловьиный, рев мотора,
Кричит над садом воронье,
Безмолвный, на окно твое
Гляжу, не отрывая взора.

Любовь ли твой покой вспугнула,
Мелькнула ль зыбкая ладья
Надежды! . . . Девочка моя,
Нас жизнь обоих обманула.



КРАСОТЕ

Другого бога нет, есть только ты, святая,
Тебе моя душа воздвигнет дивный храм,
Как лилиям долин, там расцветать мечтам,
Вдали от суеты, в лучах твоих блистая.

Пусть низость над тобой безумная глумится,
Но недалек тот час, когда, как древний грек,
Падет к твоим стопам прозревший человек
И озарится мир, и жизнь преобразится.

Тебе подвластно всё: творенье и творящий,
И трепетная плоть, и дух, над ней парящий, —
Всё движимо тобой, всё без тебя мертво.

И слаще нет судьбы, чем та, что небесами
Дана мне: быть жрецом в твоём нетленном храме.
Я ветвь цветущая от древа твоего.

УВЯДАНИЕ

Когда я вижу, как желтеет лес, и нивы,
Что были зелены — пусты и сиротливы,
Я сильно не грущу, легка моя печаль,
Нет в сердце горечи, и лета мне не жаль,
Я знаю: срок придет, всё это повторится,
И расцветут цветы, и защечечут птицы.
Когда же я гляжу на твой увядший лик,
Меня гнетет тоска и ужас мой велик,
Как будто тихий звон кладбищенский мне слышен,
Я помню твой расцвет: прекрасен был и пышен
Твой сад. И вот стоит он холоден и пуст,
Как грустно здесь, как желт его увядший куст,
И нет уж песен тех, что пелись здесь когда-то.
И поступь тяжела твоя, а как крылата
Была она в те дни, когда от снежных выюг
Нас увела судьба на благодатный юг . . .
Уже давно я оба облика сличаю,
И, не жала сам того, я замечаю
Лишь дым на жертвеннике прежней красоты, —
Богини дивной разрушаются черты
По воле смерти, непреклонной воле рока;
И всё так тягостно, так страшно, так жестоко,
И никогда уже тебе не расцвести,
Всеми прекрасному обратно нет пути.



ПАВИЛС РОЗИТИС

ЕЩЕ

Вот человек с лопатой
Среди могильных плит,
В ком весу маловато,
Он вмиг определит.

И сильный, и убогий
Покой здесь обретут,
Но смерть еще в дороге,
А он уж тут как тут.

Последний провожатый
Всех, кто живет окрест,
Он со своей лопатой,
Словно на жизни крест.

Беги его, прохожий,
Рукой глаза закрой, —
Тебя однажды всё же
засыплет он землей.

И всё равно настанет
Ужасный этот миг,
И лодка твоя станет,
И твой застынет лик.

Так пейте же, покуда
Мы на земле живем,
То сладостное чудо,
Что жизнью мы зовем.

И пусть его лопата
Впивается в песок.
Как диво пахнет мята!
Как синий день высок!



ОТКАЗЫВАЮСЬ

Отказываюсь я от идолов на стенах
Их храмов, от их сна — трусливого забвенья.
Жизнь — яростный поток, и кровь клокочет в венах,
Но бродят среди стен безмолвные их тени.

Я, сердце расковав, смеюсь над камнем статуй,
Над слепотой жрецов, что славят этот прах.
Что значит он! — Ничто. Что движет ими! — Страх.
Иду в людской толпе, души твоей глашатай.

Жизнь, смейся, смейся ты, душа, ей звонко вторя!
Как вихрь, несущийся через пространства моря —
Орнамент бронзовый, застывший дух творца.

И знают всюду посвященные сердца:
Могущественна жизнь и человек велик —
Венец творения, живого бога лик.

ЗОЛОТОЙ СОБОЛЬ

Ты скользишь неслышной ланью
Вдоль по улице крутой,
И волос твоих сиянье —
Словно соболю золотой.

Кто ты, юная пастушка,
Как попала ты сюда?
Где твой край, где та речушка,
Та прозрачная вода,

Что с весною прибывает,
Отражая облака! . . .
И сегодня, — так бывает, —
Ты, далекая, — близка.

Пусть уходит в чащу соболю —
Не найдет его ловец.
Утром солнечным мы оба
Будем в горы гнать овец.

Я луга такие знаю
Без ограды золотой,
Где хранит листва резная
Солища знойного настой.

Не из тростника, из ивы
Вырежу себе дуду,
Сброшу маску, — маски лживы, —
И свое лицо найду.

Это там, в людском потоке,
Где душа оглушена,
В одиночестве жестоком
Мне нужна была она.

Ну а здесь, в лугах и рощах,
Среди буйных трав в цвету,
Будет всё намного проще,
И себя я обрету.

УТРО В ДЮНАХ

К утру умолкла чаек стая
И алый небосвод набух
Над дюнами, где бродит тайна,
Как сфинкса призрачного дух.

Там жен ужасных взор следящий
За гребни хочет заглянуть:
Не повернет ли к ним всходящий
Луч утра лодку чью-нибудь!

Но в море ни единой лодки.
Как жуткая постель, хмельно
Качается и белой глоткой
«Иди ко мне!» — хрипит оно.

И, словно рок настороженный,
По кромке влажного песка
Ужасные проходят жены,
И в дюнах — ужас и тоска.

КУПАЛЬЩИЦА

Разгоряченная от бега, как Диана,
Снимает медленно сандалии она,
И застывает у колен ее волна,
Как бы от сладкого оцепенев дурмана.

А белизна волнам отдавшегося стана
Так ослепительна и до того нежна,
Что вся река в единый миг пробуждена
От дна песчаного до алого тумана.

Когда же трепетной волны соски коснутся
И пену резвые ступни ее взобьют,
То кажется: холмы и омуты смеются,

И через дальние леса, чьи звуки тут
Тысячекратным эхом отдаются,
Сатиры к берегу стремительно бегут.

КОРАБЛЬ

Уйдет корабль в море
И ты, тоской томим,
Простись с землей зеленой
И отправляйся с ним.

Лишь свой уют разрушив,
Узнаешь ты о том,
Как душно жить на суше,
В ее чаду густом.

Неведомые дали,
Манящие пути
Тебя так долго ждали, —
Ты должен их пройти.

Услышишь зов пространства, —
Иди, настал твой срок;
Печатью дальних странствий
Тебя отметил рок.

ШАГИ

То звонче стук шагов, то глуше
Во тьме, на улицах ночных;
Но почему я должен слушать
Мучительные звуки их?!

Нет, не ко мне, — проходят мимо,
Как будто я заморожен
Какой-то силою незримой,
Какой-то тайной окружен.

И начинает мне казаться,
Что кто-то там меня зовет...
Душа моя, зачем терзаться! —
Сюда никто к нам не войдет.

И все-таки я ожидаю
Той потупи, той, роковой, —
Смеюсь, безумный, и рыдаю,
И вслушиваюсь в мрак ночной.

Средь тысяч, миллиардов прочих
Я сразу бы узнал: она! —
В людской толпе, во мраке ночи,
От смертного восставши сна.

ВЕНЕЦИЯ

Грезе, закованной в камень,
Поднятой ввысь над водой,
Над голубыми веками
Вечно сиять, золотой.

Камни, которым от века
В водах стоять суждено,
Грезят и ждут человека,
Пьющего жизнь, как вино.

Прежде бродили и пели
Маски веселые здесь,
Нынче же — каждый при деле —
Всё перемеряй и взвесь.

Если и дальше мы будем
Взвешивать, что ни найдем —
Мы не поймем, чем же люди
Жили до нас, не поймем.

Мир наш на метры и тонны
Будем считать, и в ответ
Станет он, прежде зеленый,
Мрачен и гол, как скелет.

Мне бы тогда, хоть недолго,
В лодке твоей посидеть,
Слушать шуршание шелка,
Песни старинные петь.

Чтобы навеки, блистая
Чудным небесным огнем,
Эта мечта золотая
В сердце осталась моею.

ЗЕРКАЛО, МАСКА И СВЕЧИ

Зеркало, маска и свечи,
Рынка товар мелочной,
В зеркале сумрачном вечен
Маски оскал ледяной.

Истины нам не увидеть,
Только туманные сны.
Маску ли мне ненавидеть,
Если мы обречены!

Ночь над землею колдует —
Свечи в ночи засвети.
Если же свечи задует —
Дальше не будет пути.

В зеркале с зыбкой оправой
Лик свой увидишь из тьмы.
Смейся над суетной славой,
Тленна она, как и мы.

Те, кому маска любезна,
Те, кому тайна мила,
Видят, как рушится бездна,
Как расступается мгла.

Зеркало, свечи и маска,
Тайны немые уста.
Счастлив ты, если повязка
С глаз твоих будет снята.

ЮРИС КУННОС



22 июля 1968 года сыграли тревогу, и начались как будто обычные летние учения: с палатками, походными кухнями, сухим пайком, в том числе махоркой, угнетающее ожидание в полном неведении внезапной переброски из пункта А в пункт Б минуя по пути другие буквы алфавита.

В Калининградской области (Кенигсберг) на 1511 км² (700 тыс. жит.) дислоцировалась наше подразделение.

Здесь отслужил два месяца, залечил чирьи на ногах, наследие учебки впридачу к сержантским лычкам, — здесь можно было вздохнуть свободно после жесткой дрессировки, на плацу, вспомнить описанные классиком поучения фельдкурата Каца в гарнизонной молельне, в субботу выйти в увольнение в город через гарнизонные ворота, а в рабочие дни — через забор. Был доступен телевизор, библиотека, газеты. Между всем часто проскальзывали сведения о руководителях Чехословакии: с ними горячо желали встретиться и руководители Страны Советов, и политически-консультативные органы Варшавского пакта, и функционеры СЭВ. Доступная мне информация, естественно, была односторонней, на политзанятиях использовалась газета «Красная Звезда». В газетах, полученных из дому, сперва искал новости спорта, далее зарубежную хронику, материалы о так называемой культурной жизни и, признаюсь, о перестановках или передвижениях по коридорам высшей власти нашего государства. Когда в мае один соплеменник, дослужившийся до широкой старшинской лычки, говаривал, ожидая дембеля (пошел уже четвертый год его службы), «наши войдут в Чехословакию», я мог только тянуть в ответ «ну, ну», все же чувствуя, что непокорных чешских еврокоммунистов постращают и дрючком и кнутом, но... Вот таким было «Пражское лето» глядя из казарм.

Тревогу отыграли, начались вроде бы обычные летние учения, после непродолжительного марша попал из медсанбата в свое подразделение, доукомплектованное «партизанами» — запасниками, четыре-пять дней «воевали» в юговосточном углу округа, в основном мало населенном, где стояли, когда-то опрятные — похожие на ливанские — домики немецких обывателей, только с островерхими черепичными крышами, слепливаясь в кол-

хозную усадьбу, а вместо жирного сельского навозного духа воздух наполняла гарь нефтепродуктов. Бетонки под танковыми гусеницами превращались в щебенку, слой пыли покрывал наглядную агитацию и оседал по выбоинам.

Воскресным вечером перешли границу. Довольно соблазнительно, когда в веселом марше можно вспомнить строки из Судрабкалнса, причем если тебе ничего это ни стоит, если ты на всем готовом. Наша колонна везла на прицепах зенитки под брезентом, вызывавшие у местных неподдельный интерес. Кое-где с обочин до нас доносилось «здравствуйте», мелкота обстреливала нас яблоками, только никак не попадала, так что удалось поймать всего несколько, большинство «взрывалось» на дороге. Ехали быстро. В хорошую погоду езда в кузове истинное удовольствие. Через Ольштын уже в сумрак, мог значит сориентироваться — август еще не начинался, а мы были уже возле Мазурских озер. В Ольштыне — народу тьма, многие девчонки в белых джинсах, и их прически и головы были очень завлекательны. Европа. Еще через пару дней ориентиром стал указатель на Брунь. В сосновом бору разбили лагерь, началось ожидание дальнейших распоряжений. Здесь не торопясь могли ознакомиться с нам доверенной техникой, но тревога прозвучала неожиданно, теперь хоть было время на отработку элементарных действий: посадить зенитку на все четыре «лапы», зарядить, поймать условную цель и уже не отпускать. Пошли слухи, что будем служить в Германии. «Сто лет бы ее не видал!» — Германия — означало распрощаться с уже полюбившимися в родном Союзе маленькими солдатскими радостями. Потом говорили, что останемся в Польше. Через дорогу работала кирпичная печь, там мы могли прикоснуться к обыденной гражданской жизни — вначале кирпичи были сырые, голубоватые, в полутьме их разрезали пополам, а уж после обжига они становились твердыми, красными, готовыми для кладки. Жизнь здесь сладкой не казалась.

Лагерь надо было охранять. В этой связи заработал беспричинно трое суток ареста (не хочу оправдываться, потом пару раз «губу» получал по делу) и, так как гауптвахты не было, пришлось выкопать могилку 2×1×2 метра, и отсиживать в ней, доставляя неудобства другим — своим же парням пришлось меня и охранять, а это еще один — лишний караул. Хорошо хоть, что применялась амнистия.

Еще был лагерь рядом с ржаным полем, там действовала передвижная банька, и работала полевая почта, после поспешно объехали Быдгощ, Познань, и все дальше и дальше на запад, шины перегревались, а яблоки с обочин все так же летели мимо. Польша становилась все знакомей и обыденней. Когда наконец без лишних формальностей перескочили границу Германии — началась широченная, как взлетная полоса, автострада у Форста, где виднелись аккуратно сложенные кучи хвороста на обочинах проселков и телефонные будки, покрашенные люминесцентными красками, стояли через каждые два километра. Рекламные щиты служили нам ориентирами. Примерно так. Уже было ясно, что положение в Чехословакии тяжелое, глубокое в стране межнациональные противоречия, экономический кризис, разгул средств массовой информации, и в любой момент можно ожидать вторжения бундесвера. Повернули на Дрезден. Пестро одетый народ в промелькнувших городишках нас, кажись, и не заметил, немки казались слишком упитанными, но над воззваниями, закрывавшими перила виадуктов, тут и там мелькали внимательно рассматривающие нас глаза. Башни монстров химической индустрии приходили на современные храмы божьи. Стоп! Это я придумал уже теперь, виноват — прошу считать эти записки 1988 года конспектом загранпоездки 19-летнего юноши.

Знал тогда, что находился в районе Нижнего Лаузица, населенного сербами, которые на протяжении веков сохраняли славянскую кровь в немецком теле. Колесили по окружным, искали место для лагеря, было сыро,

пасмурно, устроились в лесу, начали получать усиленные пайки: китайские свиные консервы, немецкая колбаса салями. Промеж себя уже начали предполагать строительства здесь казарм, как уже случилось не раз и стало в общем-то нормой. Получили июльские письма из дома, и все время думалось, что участвую в демонстрации военного характера, не более. Но прошло два дня и с ходу снявшись мы влились в стремящийся на юг поток, а было это уже 22-го августа. Пропутешествовав большую часть пути на трейлерах, танки теперь разогнались своим ходом.

Дрезден остался для нас узким ущельем по обе стороны международной горной дороги, мы как будто сквозь бутылочное горлышко проскочили, на обочине были видны танки и бронетранспортеры, парни сидели и курили в ожидании техпомощи. Где-то здесь стволом пушки прижало к броне идущей впереди машины одного солдата. Война все спишет — повторяли кругом. Мы забралась в горы, километра на полтора выше уровня моря, и могли там дать передышку моторам. Командир незвонким, каким-то приглушенным голосом сказал: «Запомните, сегодня ваша мирная жизнь окончена». Но мы в своих хлопчатобумажных гимнастерках вовсе не были похожи на профессиональных вояк.

В симпатичном маленьком городке были танцы, я узнал издали голос Пресли, узнал атмосферу, хотел остаться, но мы ехали вперед и дорога петляла. Как стало известно потом, петляла вдоль границы. Границей служила крошечная черная речушка, а там, за холмом, тускло светилось что-то — может, насупленные дома, может, надписи. Было пусто. Сказали, что не надо пить речную воду — возможно, отравлена.

Вечером 28 августа мы перешли границу. За одну неделю в Чехословакию вошли войска стран — участниц Варшавского договора, в том числе — из Советского Союза. Министр обороны Чехословакии М. Дзур объявил бреди вооруженных сил своей страны повышенную боевую готовность, приказав всем оставаться на своих местах. Лидер Компартии А. Дубчек издал директиву, которая запрещала «местным первичным организациям любое сотрудничество с оккупантами». Председатель Национального Совета Й. Смирковский то же самое приказал местным органам власти. Не знаю, как это все выглядело в начале недели, что происходило на других оперативных направлениях, и не слишком верю многократно мною слышанным «охотничьим рассказам». Могу утверждать, что в 1968 году командиры Советской Армии заботились о том, чтобы отношения с местным населением не обострялись, солдаты были дисциплинированы, к тому же за ними строго следили, сводя соприкосновение к минимуму. В городах (мы ночью проехали через Мост и Хебу) толпы скандировали антисоветские лозунги. Были лозунги вроде такого: «Ленин, проснись, Брежнев с ума сошел!», «За сорок пятый — спасибо, за шестьдесят восьмой — позор!» Нелегко приходилось регулировщикам. Многие дорожные знаки были убраны, перевернуты, не освещены. Мы ехали в кузове грузовика, смотрели на звезды, каждый думал о своем; ночью мы крепко спали. Я не ощущал совершенно никакого страха, может быть, как раз потому, что был так молод. Служба шла своим ходом, с каждым днем приближался дембель.

На следующий день мы поставили палатки. Вспаханное поле отделило лагерь от силуэта городка. Режим у нас был идеальный: половину времени в карауле, половину — свободного, и так две недели. С южного поста было видно, как внизу, в овраге, сопят и ползут товарные поезда, выбрасывая в трубы локомотивов красные искры, сверкающие в чернильно-синей тьме, и там я, никем не замеченный, мог есть сочные груши прямо с ветки и до кончиков ногтей наслаждаться уединением. Мне нравилось стоять в карауле. И свободное время почти полностью принадлежало нам. Как-то со-

ставили план разоружения местного подразделения на случай, если стволы танков повернутся против нас. Один молодой солдат, возвращаясь со сторожевого поста, вынул, как положено по уставу, обойму, спустил предохранитель, и, нацелившись в небо, нажал крючок. Патрон, с перепугу загнанный им в ствол, выстрелил и оказался для стоявшего напротив чехословацкого подразделения как бы сигналом утренней поверки. Да, были трудности с питьевой водой, и мы еще долго, даже в 1969 году, получали продовольствие из ГДР. Ходили слухи, что у соседей несколько солдат убиты. Сообщили о каком-то дезертире-эстонце, который без карты очень точно двигался на Запад. Потом и эти новости попритихли.

В курортном городке мы поселились в чешской казарме. В середине сентября нас стали использовать как дешевую рабочую силу: мы собирали картофель и сахарную свеклу на полях кооперативов, возили камни и щебень для строительных работ, зарабатывали деньги, чтобы можно было купить хотя бы красную ткань для лозунгов, или масло, или уголь для печей. На работе нас кормили чехи, но командиры запрещали пить пиво — они им сами наслаждались. И опять сторожевая служба с неизгаженными мозгами. Отсюда и известная надпись: «До Москвы 2000 километров, а до смерти два шага!» Всерьез говорили о том, что часть войск еще этой осенью вернется в Советский Союз, эта партизанская большая прогулка что-то затянулась. Когда мы ехали на работу через городки X и Y, я сравнил фронтоны двухсот- и трехсотлетних домиков на ратушной площади с теми, которые видел в фильме «Вот придет кот», а может, в первых произведениях М. Формана; Кафку я тоже читал. Нам позволяли смотреть передачи чешского телевидения (опережая события — до мирового чемпионата 1969 года по хоккею, когда чешская сборная дважды победила русских, но проиграла шведам и не получила золотых медалей; тогда я служил в городке N, и после каждой победы чехов весь городок с трубами, барабанами и трещотками являлся ликовать перед нашими воротами. Еще немного — и не обошлось бы без драки). Поскольку чешские средства массовой информации перестраивались очень медленно, телевизор смотреть нам запретили. Летом, когда я два с половиной месяца провел на полигоне, была возможность иногда сходить в кино. Видел фильм с участием Битлз «Help!» и одну из работ Ингмара Бергмана, кое-какие фильмы ужасов.

Еще была тревога в самом начале января, когда казалось, что мы вот-вот отправимся на бронетранспортерах в Прагу усмирять демонстрантов, одним из главных действующих лиц в демонстрациях был Й. Смирковский.

Но в целом народ успокоился довольно быстро (большая часть интеллигенции эмигрировала, многие были репрессированы). Надо принять во внимание, что ментальность и язык словаков близки украинским, а чехам импонирует немецкое изречение: «Ordnung muss sein!». «Коллаборантов» становилось все больше. Оказалось, что язык нравится Л. Брежневу, последствия этого ощущаются по сей день. И всем известно, что было в 1979 году в Афганистане. Стоило бы вспомнить, что царская Россия долгие годы никак не могла справиться с чукотским народом, оружие не помогало, пришлось удовлетвориться существованием номинального фронта, а какой-то чукотский старейшина, встречаясь с русскими чиновниками, всегда с достоинством осведомлялся: «Как там поживает мой брат Николай?»

Хочется приветствовать новое, реальное политическое мышление, одновременно признав, что, хотя афганские ветераны и вернулись в Советский Союз, как они себя чувствуют — во многом тайна. Арман Лану: «Для тех, кто воевал, война никогда не окончится». Улдис Берзиньш написал стихи про Яна Палаха. И он прав. Грубая сила бессильна перед народным духом, ее время прошло.

Будем, надеяться, что и не вернется.

ЮРИС КУННОС

Лаптава. Вслушайся в имя: Лаптава . . .

Как лопата в руках землекопа, мужицкая лапа, как рыжее лыко на лапти,

как . . . черт знает что.

Здесь жил муж, славнейший из всех,
что водили плоты по Педедзе, Болупе, всей плотогонной дружины.

Им и нынче стращают детишек, шепчут вечером сказки.

Очка из Лаптавы, картежник, пройдоха,
чей папашка рожден был весной на плоту очкиной бабкой,
кончиком ногтя подчищала плотогонов последние латы так, что многие шли потом без сапог от корчмы до дому.

Лошадиные дуги, полозья саней, колес тележных ободья

Очка гнул на пяти распялках, вон лез из кожи,
в ржавом поту купался.

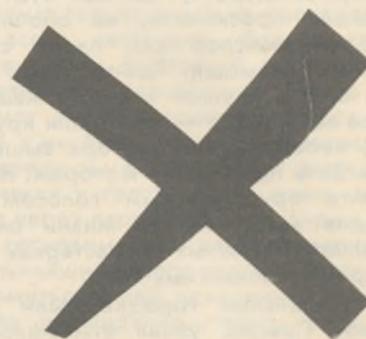
И вот уж лет пять или десять, как он на новых угодьях,
у вечных источников, с острогою в рыбьей стае,
небось не попался.

Должно быть, спустил уже ключ от ворот Петра-бедолаги,
крылья ангелов,
пропил, должно быть, у чертовой бабки последнюю щепку,

вот и замерз, плюется Очка, дрожит в пыли на дороге,
того и гляди, встрепенется, как ворон, вернется обратно на землю,
туда, где древнее Атзеле топорщит, как зубья пил,
свои крыши,

и где имена волхвов мелом на каждой двери, пусть помнят,
кожи киснущей смрад, распаренных дуба и вяза запах,
и музыкантов окрестных звуки, что твой туман, наплывают.

Да, водился с крустпилской шпаной, в корчме базарил,
бревна багром тибрил с прибрежных складов,
промокший насквозь, вшей выбирал из-за ворота,
вечно жаждал,
и, перелистывая страницы, заскорузлый палец слюнявил,
повторял тихо: Лаптава, Лаптава . . .



ТАНЦЫ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Что делать! Снег, слякоть, дождик, бодяга,
горблюсь, как чага, как береста сырая;
чих, кашель, и с чесночком-трудягой
внезапный привет из Болдераи.

Автобус! Точно, бежит, погода проклятая косит,
ветер точит, режет; на деснах тянучка прееет,
болтается флаг, фонарь, прицепа на колесах,
пират с дешевой обложки (подвязан к рее).

Сезонный жду пароходик. С лесоповала
рев сирен — фейрам! — и часы обмирают.
Сезон отменяется. Но из объятий причала
выскальзывает маршрутка Волери—Сурабайа.

Но стоп! Прачкам сказать «бог в помощь» там, у сарая.
Кто их нарисует! Кто сочинит романсы!
Я! Вряд ли выйдет — нужно попасть в Болдераю.
Другим еще хуже — гранки, пасьянс, а в среду
вечером танцы.



забыть о курземском сплине о Земгале своенравной
крепленных портовых винах крапиве кусавшей ноги
заехать за Балвы в чащу и сделаться месяцем славно

или пыхтеть и дуться кипящим котлом на треноге

санями полными скрипа проехать вспученным лугом
стать лошадиным бегом на пасеке вдоль опушки
когда дороги под снегом а с мая солнце по кругу
где пчелы требуют выкуп когда кукует кукушка

где горла коса не щекочет притом стена за спиною
ни места ни срока точно туман нависает стеною

правый берег в осоке стена за спиною

как нам нравился запах бензина
черный кипящий асфальт в радужной масляной пленке
отблески окон в лужах
привкус олова тонкий
и покупать цветы за деньги казалось — бред

порой выпадало счастье за пуговицу взять трубочиста
свидетели наших встреч — жестяные навесы
и у тебя на щеке в мокром тумане
копоть оставила след

в ночных садах мы скитались
месяц хранил нас надежно все двери закрыты
и после гудков паровозов
лишь наша усталость скажет
как прохладен
обещающий все что хочешь рассвет

и звезды что падали в сумку
из породы ночных фиалок
и так тяжело просыпаться вновь на скамейке в парке
в Золитуде
где на воротах снаружи написано «входа нет»

ГЕРБОВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Оярсу Вацietису

Один разорившийся аристократ
с лицом напоминающим морду шпица
продавал в коробках из-под монпасье
винных улиток на базарчике в Торнякалнс
преимущественно гостям столицы

и свой небольшой доход
копейки что бились в карманах как мышки в пасти
он честно нес в свой холостяцкий home и грустил
и делил на три равные части

первую треть он посвящал вину
которое красной струей лилось горяча желудок и глотку
вторую треть выбрасывал в Марупе и сплевывал через
плечо
надеясь вернуться к своим коробкам

а третья часть что делать с ней он не знал
он думал заказать свой родовой герб
прибить над дверью
и так привлекать клиентов

та третья часть что делать с ней он не знал
хоть она и росла не отходя от кассы
уже скопился приличный гербовый капитал
и он отдал все на будущий мост
что должен вести через Торнякалнс к Юрмальской трассе

теперь аристократа нет
улитки плодятся в дворцовых парках и бог с ними
исчез и базарчик воздух от нашествия автоулиток пухнет
но если в каждую опору моста не вмуруют герб
боюсь он рухнет

ПУТЬ МАСЛА

до света на рынок
в набитой горбом телеге
звенеть туесками, горшками
бочонками, крынками, банками

свой подымать достаток
цепляя взглядом, как спицей
свой путь от синего леса
к ячменным граненым колосьям

но корни столетних сосен
как змеи, в сумраке вьются
гремит, спотыкаясь, телега
и сливки становятся маслом
от прибыли пшик лишь только
лошадка рабочая в мыле
и ты на Гулбенском рынке
садишься, приятель, в лужу

путь этот слишком ухабист
и вот, поплевав на ладони
хозяин подрубит корни
и срежет крупные кочки

спугнет воронью семейку
и сгонит с дерева дятла
а раз привезет из Гулбене
добро и четыре молитвы

когда земля набухает
и вязнут в лугах колеса
так вот, весной этот путь
зовут еще по другому
сначала хлебным путем
муки ни ложки, а листья
клена в печи от позора
скручиваются и тлеют

и только потом путь Масла
поскольку в Гулбене славный
спрос, и склоняют имя
рубившего корни-крючья
и конь не трясет мослами
а шагом и медленной рысью
когда уже поздно молиться
и на пути к погосту

Песня Большой латгальской дороги

там лето все в репейнике с дорогами молочными
в пузатых жбанах пенится и нам усы щекочет
вплетает ленты в волосы распятым панских вотчин
вздыхает на три голоса и о душе хлопочет
цыганской скачет бричкойо звенит ключом лабазника
в Прейли едет в Резекне на ярмарки и праздники

моргает старый чертов черт играет кнутовищем
мол в Силаянях вам почет а здесь ты как посвещешь
послушай эй я твой свояк ах как горят глазища
три головы смотри чудак и вон еще почище
но лето красное само на жеребце-проказнике
пускает рысью в Даугавпилс на ярмарки и праздники

замурзанные мордочки блестят колени голые
и хочется и колется мы пешие вы конные
а под землю бродит сок колосьям кружит головы
и осень тащит туесок колоды краски полные
везет дожди за пазухой бегут лошадки в яблоках
в Лудзу едет в Краславу на праздники и ярмарки

Перевел СЕРГЕЙ МОРЕЙНО

АНДРЕЙ ЛЕВКИН

РОЖДЕСТВО

РАССКАЗ

От декабря оставалась неделя. Зима еще не устоялась: холодало, валил снег, таял, холодало, растаяло все, что выпало, теперь опять подмораживало, улицы заледенели, по ним мело — не густой еще снег застревал в выбоинах на дороге, скапливался возле домов и деревьев.

По улице шли трое. Схожие тем, что шли вместе и дружно мерзли, да и одежда на них была похожая, не новая — теплая и ладно: тулупчик, потерявшее форму пальтецо, ватник, на головах — ушанки. Шли поживаясь, руки в карманах, поглядывали вверх, отмечая покачиванием головы особенно сильный приступ ветра.

Для зимы уже поздно — часов восемь, девятый. От железной дороги, где они выбрались из отведенного в тупик товарняка, следовали узкой улицей, на которую попали перебравшись через, казалось, нескончаемые рельсы; шли узкой улочкой, по левую руку — двухэтажные домишки, по правую — парк: серый, щелкающий в глубине ветвями.

Улочка вывела на небольшую площадь. Здесь, похоже, был уже центр города: каменные дома, светофоры, троллейбусные провода. На улицах никого, пустой свет, черный лед, автомашина вдалеке.

Миновав больницу, они поравнялись с церковью. В окнах горел сизый, холодный свет, окна освещались по колени. Удастся обогреться? Подошли к дверям, потопали ногами, хотя какой там снег, сдернули шапки, потянули ручку. Заперто.

Они подождали, подергали ручку, постучали — им не отворили. Отойдя к стене, нашли подветренное место и закурили. Неуютно — не докурили и до половины.

Запахнулись потуже, подняли воротники, по брови натянули треухи, поправили мешки за спиной и пошли вперед, через клином исчезающий скверик, мимо остановки такси, на которой мерзли люди, в своей неподвижности более похожие на деревья.

Закрытая аптека, закрытая почта, закрытый киоск, закрытый гастроном, закрытый овощной, закрытый книжный. Регламентированная, насильно регулярная — думал Каспар, старший из троих: высокий, по-стариковски горбящийся — жизнь в холода особенно глупа — зимой смерть ближе, зимой смерть возле, зимой надо дышать друг с другом.

Через квартал им попало работающее еще кафе, повезло. Взяв по две чашки кофе и какую-то лежалую сдобу, они устроились возле окна. Время от времени один из них поднимался, выходил на улицу (словно опасаясь за судьбу велосипеда, прислоненного к водосточной трубе) и смотрел на небо: звездное, изредка закрываемое лиловым облаком.

Когда на улицу вышел младший, Мельхиор — юноша с белым овальным лицом, схожим с селёдочницей, на которой остались недоеденными глаза, ноздри и рот, — звезда медленно тронулась с места: там, где она была только что, оставался секунду бледнеющий двойник; размываясь, он тащился за ней подобием кометного хвоста.

Мельхиор вздохнул, застегнул тулупчик и постучал согнутым пальцем по стеклу, и трое вновь последовали за звездой.

В дороге они были уже более двух месяцев. Путь сюда хорошо если утроен — по кратчайшей передвигаться не удавалось, звезда, словно испытывая их терпение, виляла, делала зигзаги — ехать, потому, приходилось не на экспрессах, на транспорте медленном: на попутках, на

автобусах, в электричках. И, хотя была известна дата прибытия, — кто же знал, что сегодня звезда окажется именно здесь.

В этом квартале — думал Мельхиор — его быть не может потому, что в боку колет, а свечение над Бальтазаром подернулось сизой пленкой, а еще в овощной витрине распухали, замерзая, рядом выстроенные грейпфруты.

Звезда появилась вторично — думал Каспар — и, как и должно, история оборачивается фарсом. Лавки и конторы заперты, сейчас у них время дому: восемь на труд, восемь на сон, восемь — делай, что хочешь: свобода выставлять доминошную цепочку из костей с тремя возможными значениями, сооружать глиста-цепня, разносимого по городу в корбочках учреждений: таблички с именами контор — словно пуговицы на мундире, застегнутом от подметок до шапки, и предоставляющем свободу поерзать, пользуясь минимальным допуском одежды, в тесной, дурно пахнущей темноте.

Шли по узкому тротуару, ненароком — глядя вверх — сталкивая друг друга на мостовую: в торопливой, закатывающей глаза неразберихе смахивая на подвыпивших слепцов.

Не могло его быть и в этом квартале: фиолетовая вывеска магазина заказов болела дорогу, а у Каспара щелкало в носу: влага, должно быть, между вдохом и выдохом успевала превращаться в льдинку, кроме того — грузовик мимо: задрожал пол улицы — дребезжащий, потрескавшийся, расшатанный город, кажется — неплохой, жаль, что умирающий.

Нет, — думал третий из них, Бальтазар, угадывая раздражение Каспара, — почему фарс? Зачем ждать, чтобы изменилось бы сразу все и сразу и оказалось бы годным для всех, это наивно. Что с того, что все так неудачно — так ведь и должно быть. Все начнется в одной из квартир большого дома, на который укажет звезда; мы обойдем этажи, найдем того, кого ждем, исполним положенное и уйдем, зная, что — и на другой стороне улицы не слышная — растет иная жизнь; нам не дожидаться, но, пока живы, будем помнить, что началось уже новое время, другая жизнь тут, в этом городе, где, как в пруду, вместе будут жить рыбы и водоросли.

Изнешенный город умирал, не пытаясь сопротивляться; словно шнурок из горла — кривая от подступающей тошноты, протирая в языке ложбинку — вытягивал из себя размокающей бумажной веревкой жизнь, витки ее ложились в масляную лужу под днищем грузовика; город умирал, отделяя прозрачную, невесомую линзочку своей души.

Стужа, старые — никакого тебе пророческого величия — одежды, да и спутники: сентиментальный, всегда наготове умилиться Бальтазар и Мельхиор — юродивый, для счета взятый молокосос, убежденный, как мальчик на демонстрации, что размахивание флажочком необходимо всему живому на земле, — что за чудное путешествие! Бессмысленно, ничему здесь не бывать, потому что здесь может быть лишь то, что повторялось неоднократно и, до срока, когда подводили черту под списком существующего, успело в списке зарегистрироваться. Остальное провалится: вода, сито. Крутится пластинка, а музыка давно кончена, и шуршит по дурной бесконечности последней дорожки игла, регулярно подпрыгивая на царапине, увязая с каждым оборотом в пыли, падающей на пластинку: куда ты, звезда, привела?

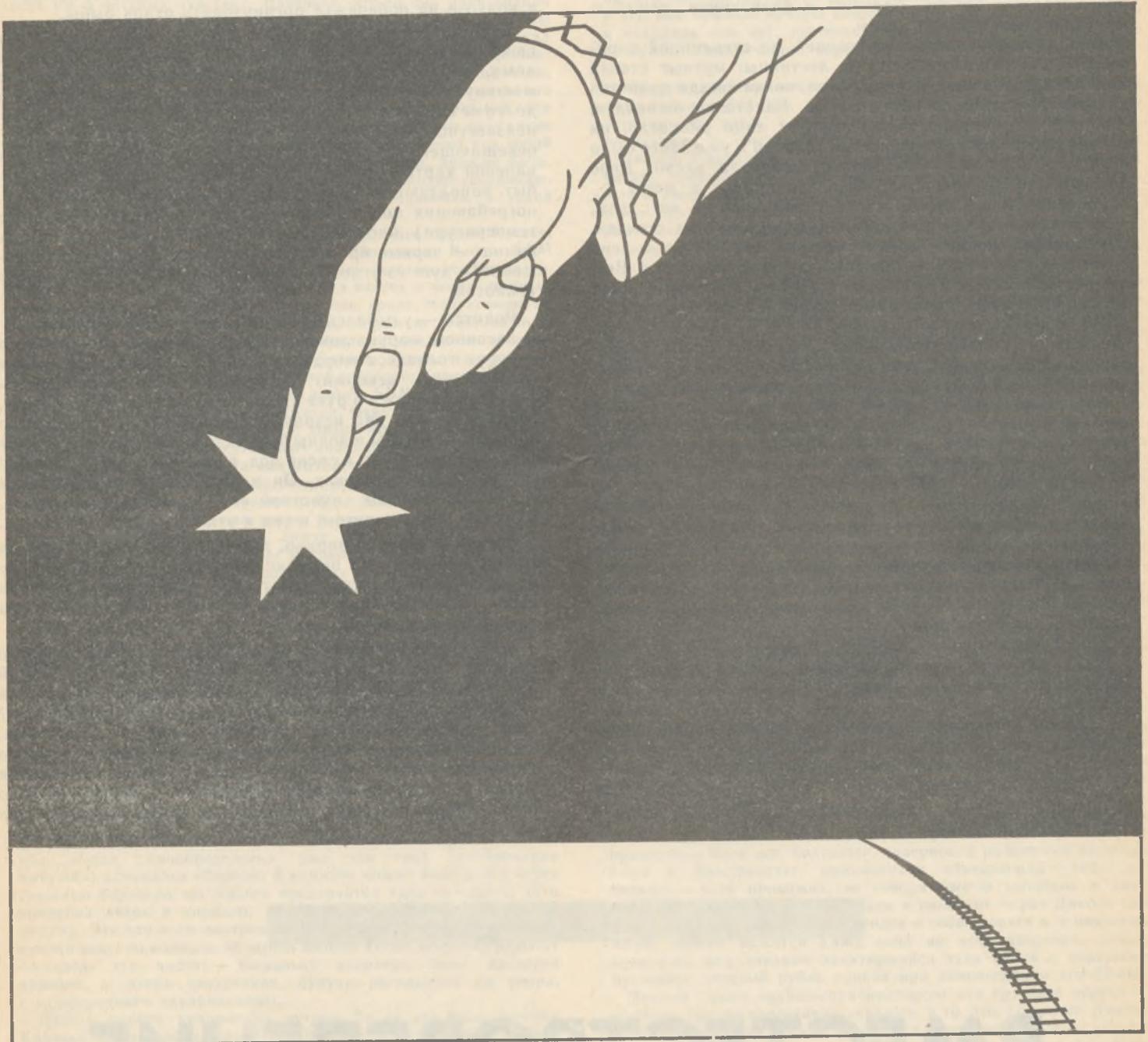


Рисунок Кристиана Шица

И Каспар и Бальтазар думали не о том, не так: все произойдет незаметно, никого звезда не укажет и исчезнет, обернувшись снегом тучи, приближающейся к городу; все будет медленно и не для одного, где-то теперь рождающегося, но для многих, уже живущих, и никому не надо в пустыню, и ни к чему ослица — он бы сказал, но Каспар не станет и слушать, а на Бальтазаре было пальцецо с плешивыми, словно исчесанными рукавами, да светофор на углу желто мигал.

Улица привела их к дому на поперечной улице, величиной с квартал. Темный и черный, не дом, но архитектурное предприятие, каменная ярмарка. Каждый его этаж был иного фасона; эркера, балконы и балкончики, решетки, мансарды, башенки по углам.

Звезда остановилась над крышей, за стеклянной пирамидкой, служащей освещению лестницы: мутные стекла пирамидки побелели. Каспар ждал, когда звезда двинется дальше, Мельхиор пожал плечами, Бальтазар оживился, его, еще два месяца назад круглое лицо расцвело, он собирался обежать все три сотни квартир и уже занес было ногу, когда звезда, качнувшись, поползла влево. Двое последовали за ней, Бальтазар же прирос к месту.

Господи! Ведь кроме этого у нас ничего нет: дом, разноцветные окна, тени домашних растений на стеклах. В квартирах тепло и общий воздух, там и утро и день и вечер и ночь — не абстрактны: телесны, осязаемы. Нет, кроме этого, ничего и ничего, кроме этого, не нужно — куда же она? Все лишь здесь, в этой жизни и заключено только в ней, а желать что-то большее, другое — лишь от нашей слабости, мы слабы, чтобы понять, как нам хорошо. Жизнь, бог, они здесь: в кружении от пробуждения до пробуждения, одинарные и спаренные кресты оконных переплетов...

Спутников уже не видно. Опомнившись, он пересек дорогу, свернул за угол (в окне пельменной мелко стучит вентилятор), увидел звезду впереди, обнаружил, опустив глаза, своих и догнал их бегом — они шли очень быстро.

Звезда спешила, они спешили, топали смешно-военно в ногу по гулкой улице, от вошедших в резонанс выдохов обрастая облаком совместного пара, словно по улице перемещалась площадка с воруемым кипятком. Справа пошел забор, за ним, освещенная все таким же холодным светом, была автобаза. Запахались, замедлили, переводя дыхание, шаг: изображение исчезло, съезжившись в узких щелках между досками забора.

Улица оборвалась стеной света: привокзальная площадь. Смутно различимая над лампами, звезда висела над зданием вокзала — они знали уже все ее повадки: надо ехать дальше.

Пересекли площадь. Здесь было людно, многие несли белые картонки с тортами. В центре площади стояла уже елка, пока еще темная, без гирлянд. Вошли в здание, оставились, запрокинув головы, на схему дорог, соображая куда брать билет. На них внимания не обращали — рвань и рвань, эка невидаль.

В пустом вагоне устроились бок о бок втроем на одной лавочке. Сидели чинно, котомки с дарами пристроив на коленях (паспорт, много денег и белый билет — Каспар; два пятака, чтобы глаза прикрыть в конце — Бальтазар; ладан — по старинке, что богу нового? — Мельхиор). Сидящий у окна Каспар следил за сопровождающей поезд звездой.

К чему размышлять что он сможет и что здесь возможно. Он не сумеет даже пройти незамеченным, и, тем более, не станет собой. Вырастает в детском саду, поступает в октябрята, пионером дудит в горн и поет «взвейтесь кострами». А взрослым единственно на что сгодится — в колхозе на побережье организовать отлов рыбы.

Бальтазар чуть не заплакал, внезапно поняв, что жить своей жизнью давно не возможно: и начинается она не дома, и проходит не у себя, а кончится — вызовут зеленую машину с красной полосой вдоль борта, досадуя, что та долго не едет, и глаза слипаются от желтого электричества, неизвестно где берущегося, ровно — не мерцающая — и равно освещающего все дома, где только и есть, что теплые, цвета вареной картошки, окна, жизнь цвета вареной картошки, быт, наползающий скользкой и теплой вареной картошкой, погребавших под теплой (тридцать шесть и шесть — ее температура) картошкой; на улице стужа, а в углах комнат — черные прямоугольники отсутствующих изображений, и дует из углов невидимой в теплом вареве квартир темной.

Родится — улыбался, поглядывая в окно, Мельхиор — в вагонном парке, локомотивы и дрезины обступят его и будут толкаться мордами, вдыхая младенческий запах тавота, мать вскормит соляжкой, отец, стоя поодаль в фартуке и держа в руке кислородный резак, благословит, сдвинув на лоб два незрячих стеклышка. Мы плывем по времени, повороты и волны замечают немногие, но и прочие что-то почувствуют: в смене мод, в новых, почему-то именно сегодня милых песенках. Он может оказаться в этот раз тенью от дерева, чувством — не испытанным ранее, шорохом, синим цветом, и тем и этим и многим другим...

Звезда отвернула вправо, затем, словно по пути обедев палец, вернулась на прямую: пора выходить. По перрону метет поземка, кругом лежит снег. Электричка сомкнула двери, отъехала, пантографы искрились — поезд повез на крыше четыре костра.

Перед ними открылась река, звезда вела их в другую сторону. Скользя, поднимались в горку, начался сосновый лес, путь повел вниз и оборвался полосой снега, за которой не было уже ничего — черный провал: море? небо? яма? Они, как стояли, сели на снег, сдвинулись спинами, соприкоснулись плечами. Коченели, смерзаясь в ледяную пирамиду, глядя в разные стороны: не было звезды над морем и лесом, не было ее над лесом и пляжем, не было и над пляжем и морем — стоящей над ними звезды не видел никто.

ВМЕСТЕСТВОВЕДЕНИЕ

РАССКАЗ

ОЛЕ ХРУСТАЛЕВОЙ

Вместе, поди, они чегой-то производили. И, верно, к этому объединению приложили свою утверждающую руку весьма горные инстанции, только с подобными материями так вот, во вводном абзаце — не разобраться, зато хватает косвенных свидетельств: и собралась компания резко быстро,

и оформилась отчетливо, будто накрыли какой-то крышкой. Что-то, как-то, какой-то — от этих «то», погружающих излагаемое в марево, прятаться не надо. Было бы не зыбко — как бы жить?

Так вот, хотя бы как крышечка захлопнулась: как

сквозняком, едва не пришивив пиджак последнему, ставшему ими, чуток его попортив, пожалуй, этим хлопком — ведь он, князек ты наш чернявенький (по ласковому определению Белесой Мадам), так и остался малость посторонним: и не то ведь, чтобы не ко двору — ко двору, а как же? и появился не слишком уж позже предыдущего, ничего подобного — Васька-хмырь (звали которого, понятно, иначе) объявился хорошо если неделей раньше, а вот поди ж ты: свой насквозь; Князек же остался навеки пришедшим последним — между своими, впрочем, только и счесть.

Тем более, что и распалась компания разово и безболезненно — если уж о частных чувствах. Наверное, что-то они производили своим общением; находился там самим им невидимый смысл. Мы ж всегда рады узнать, что некто выздоровел либо избежал гибели — пусть человек незнакомый или литературный персонаж: странно, он же умрет потом, а в этот раз мог бы уже — и щелчком, куда легче, чем придется после; даже человек совершенно никудышный или — до какой-то грани — просто дрянной: все равно, продление дней его радует нас, ну, а поскольку не ахти какие мы сентиментальные, то чувства подобного рода имеют под собой грубую, если не жлобскую подоплеку: производит, должно быть, любой человек какую-то для всех и каждого важную субстанцию, всем и каждому необходимое вещество. Поодиночке, а такой соразмерной гурьбой?

Сколько же их было: семь или восемь? Восточный Князек, Эксвайр, Баден-Баден, Васька, Еёжа, Монтигом, Ноша, БМ (Большая Белая Марта), Марфуша, Сен-Жермен-де-Лямермур, Диксон и т. д. Перечисление, однако, на вопрос о численности не ответит, поскольку Князек одно время был, вроде, Монтигомом, на какое-то имя обидчиво не отзывался, Еёжа не был нежный мальчуган, а двухметровый лось — либо теперь кажется таковым; о половой принадлежности Баден-Бадена судить тшкетно, да, кажется, это имя не было и дефиницией очередного прихворнувшего. Может быть оно и не обозначало никого. БМ одно время была Марфушей, сделавшись затем, кажется, Охнутой — причины чего останутся неизвестными навсегда, разве что произвести опрос, результаты которого окажутся черт знает какими: выплывет еще дюжина имен и прозвищ, а никого ни с кем мы не совместим. Сен-Жермен-де-Лямермур была очень красивой женщиной.

Начнем, глядя назад, с крайнего. Жил Князек в самом центре, под самой крышей в доме во дворе. К нему, с привычным риском для жизни, подниматься на лифте под стеклянный колпак, освещающий лестничный пролет матовым слепым светом. Пролетик, кстати, три метра на два: дом из начала века, что же — счастливыми они тогда поголовно были — не тянуло их туда, разве?

Лифт был поддерживаем в целостности связанный веревочками, лязгал, всхлипывал, переминался деформируясь, поднимаясь: из темно-коричневых мореных досочек, иссохшихся и современная железка пульта, а дом был приличен на редкость — даже теперь в кабинке не воняло мочой, но сохранился еще запах плотной и тяжелой красно-коричневой древесины, фундаментальный привкус пожилых рижских домов, который сохранялся и в квартире, даже в ванной — запах немецкого сантехнического фаянса, что загадочно, ибо как может пахнуть фаянс — разве что вступая в выделяющие запахи отношения со скользящей по нему водой.

Комнатенка у Князька была мечта студентика или начинающейся личности. Девять квадратных метров — сие сообщил Еёжа, имевший массивный опыт в деле установления площадей на глазок, ибо, желая самоопределения, уже три года (разборчивая матушка) занимался обменом. В комнату можно было войти через смежную большую, но Князек предпочитал туда заходить, зато прорубил дверь в коридор, но ошибся, сделав ее отворяемой наружу, так что если внутренняя дверь квартиры была открыта, имелся шанс из комнаты не выйти вообще (если запропал ключ от соседней, что часто) — поскольку квартира была населена изрядно, а дверь внутренняя, будучи распахнута до упора, с удовольствием заклинивалась.

Девять, значит, квадратных метров. То ли это была детская Князька (Где шпага, где секир-башка?! — требовал в начале знакомства Монтигом, лицезрея потерянный коврик с загадочным изображением, висевший на стене как бы сакли Князька). Ничего такого холодного на ковре прибито не было, зато коврик имелось штук: на стенках, на полу, на двери — и все потертые, обшарпанные, с заголившимися нитями основы; обшарпанный и потерянный диванчик; широкий — наставленный доской подоконник был сто; книжная полка, на которой стояли еще ключья детских князьковых учебников. Тут Князек пребывал и в годы становления себя как личности, когда и было осуществлено переустройство дверей — по понятной причине ночных бдений с приятелями и подружками: смазлив был в юности наш рано и сухо постаревший Князек, червовый этакий валетик. В комнате, из-за всей ея потертости

и тишины, производимой ковриками (один и в самом деле изображал нечто черкесское с чинарами, горянкой черно-бело-красных ниток, казбич на коне, кипарис) пахло пылью и чем-то таким, как бы как вальсы Штрауса слабосильнейшими юношескими прегрешениями. Здесь мы особо не тусовались — места было мало для вольных телодвижений, едва всем рассоваться сесть, а так . . . забегали, если коллективный выход в город (это в центре, возле Верманского парка). Собирались собраться.

Сюда-то Князек и вернулся под отчий кров после развода. При этом помолодев, прибрав к рукам оставшуюся тут часть своего существа — не растрченную: отставленную — изрядно-таки потешая затем остальных рецидивными желаниями молодой жизни беспрестанно перемещаться без цели или пойти по девочкам или выпить чего-нибудь крепко-сладкого или вообще так. И мы топали в эту, как правило ночную неизвестность, и где-то что-то искали и находили или нет, постепенно рассеиваясь, пока каждый не оставался в одиночестве, окруженный отсутствующими остальными.

Комнатенка была гениальная для жизни лет тут до двадцати пяти—семи, пока не вырос; одиноко, тихо и уютно — или перезимовать здесь, в с плотно занавешенными окнами: читать, починая от пыли, читать, перебираясь, когда продавая пружины, с дивана на пол, на коврик. Сидеть за подоконником, читать, проваливаясь, взмечтывая, замечтываясь: что-то себе, окруженному немymi тканями, все представляя да переставляя в уме. Мы тут редко бывали — и не только потому, что тесно, а не надо в таких местах бывать скопом: можно, ненароком зашагав в ногу, убить весь этот чуть клейкий, слегка медовый воздух и останется облезлая жилплощадь на шестом этаже.

Конечно, милое бы дело было найти нам в городе какое-нибудь помещенишко, оформившись в качестве этакой сесточки, исповедующей нечто кое-как невинное: группа там ищущих живого Бга — идея подобного рода возникала, а то? Но на секту людей не хватало, не дали бы патента.

Так что собирались у Диксона, в его выдающейся идиотизмом своей планировки квартире. Тоже под крышей, но на четвертом этаже, зато натурально под крышей — скошенные потолки, все такое. Механический звонок, врезанный в дверь: крутишь, а он тренькает прям настенная балаежка. В Старом городе, возле реки, на площади Екаба тире Чернышевского тире Екаба. Квартира была запущена до изумления, составлялась же из четырех комнат, одна из коих была большим таким зальчиком, а три остальные, вход в которые открывался из зальца, — анфиладой, причем глубины комнатенок едва хватало на дверные проемы. Диксон жил в самой дальней. Его старики померли, другие родственники разъехались, но — то ли в результате предприимчивости Диксона, то ли по лениности жилуправления, проблем с излишками площади у одинокого на бумагах Диксона не возникало, а один он тут не бывал: вечно болтался кто-то из не очень хорошо знакомых персонажей; какие-то проезжие переночевать; общие полужнакомые. Все они как бы служили приправой к нашему быту, разнообразия и оттеняя чужую сплоченную жизнь. С прошлого, видимо многолюдного времени, здесь сохранились тюлевые ломкие и совершенно серые занавески, какая-то рассыпающаяся мебель, сальный хлам по углам: Диксону на все это — был он мужик серьезный и благородный: то прятал у себя кого-то, кому лучше немного пересидеть в темноте, то болтались у него системные люди, то отправляли сюда на отпуск кошку, а был случай — и попугая.

Квартиру эту: зальцу, кухню и парочку ближайших анфиладных комнат мы, должно быть, выели до пустоты. И теперь еще, по прошествии пяти лет, болтается, наверное, в районе сей площади дыра в пространстве, причмокивая объедающая — себя заполнить — всех прохожих, не говоря уже о живущих в доме бедолагах. Конечно, все это враки и наоборот — раз Диксон там и живет, да еще, вроде бы, женился и собаку завел и, с помощью жены, вымыл кажется даже окна во всей квартире, найдя, возможно, под диваном закатившийся туда рубль с портретом Бухарина, который рубль пропал при демонстрации его Еёжей.

Чего-то такого идейно-спланивающего или круговой поруки — не было. Трудно представить, скажем, и то, что, допустим, Диксон вдруг принимается посвящать жену в свое прошлое, неся ахинею о притарчивающей его сплоченности «старых друзей». Или, скажем, Сен-Жермен затеет воссоздавать с Еёжей по телефону проказы милых дней. Впрочем, кто знает как всех поодиночке скрутит с возрастом — уже скоро доедем.

Что мы о себе знаем, что в себе можем предсказать?: а ну как всплывает в каждом к старости этот громадный пельмень, оживет, а?! Да вряд ли, только ведь они не знают ничего. Шуг его вообще, все эти начала и окончания: что откуда, что почему? Не рассуждать же об этом: средство охоты определит улов. Идущему на бабочек носороги до фени. В отсутствие денег жизнь удивительно дешева. Если знаешь, что Бога нет — так его и не будет. Не сводится наше трехлетнее общение к приятностям общения и бытовой взаимовы-

ручке — пусть даже самой серьезной; хотя и выручали, да и продолжаем — когда все оттикало.

То, что крыша находилась в Старой Риге, как бы подразумевает большое количество ночных хождений по городу, что, особенно в летнее время, и происходило. Без, разумеется, коллективного распевания песен или обливания водой из какого-нибудь романтического фонтанчика, но шались, выходя из диксонова дома не в сторону, однако, Старого города, а, выйдя из подворотни, сворачивали направо и шли в сторону порта, в парк, в эту его замедленно-нервную часть с дубовыми аллеями и каналом, которой еще удалось задержаться в живых, и дух или ангелочек которой живет спокойно на своем месте, а не порывается, как прочие, встать и уйти к чертям собачьим, как прочие, которые и встали и ушли: кто помер, а кого перевоспитали — как Старый город, ставший муляжом, пластмассовой индейкой туристам, умер десять лет назад и теперь там яма, на дне которой булькает знаменитый органчик. Мы поворачивали направо, в плавную водно-парковую сырость со странной беседкой и размытыми деревьями, которая в сумерки являлась местностью где живут ваттоподобные дамы с кавалерами либо отдыхают горожане карточной колоды — но не такие уж чтобы стерильные, а оплывшие, лысоватые, с потрескавшейся кожей, со шрамами от операций, чуточку себя перепродавшие. Еёжа тут однажды искупался в канале. Ну да выкупался и выкупался, обошлось удачно, без ментов — рядом ЦК, ходят — водичка оказалась, однако, тухлой и освежила Еёжу не вполне.

Или как-то это подбирается: изъян к добродетели, качество к его отсутствию, стыкующиеся плотно — скопом Африка, Америка, Европа, обратным ходом составляясь в одно — как бы обогащая по смыканию представление о? Ухватиться за свисающие с неба лямки веревки гигантских шагов, разогнаться да полетать пока не устанешь, едя воздух и совокупно поскрипывая.

Вот Баден-Баден. Она была младшенькая, годиков на семь моложе остальных, уже по разному тридцатилетних. Мы ее подобрали как котенка однажды ночью все в том же парке, где она сидела на сходящих в воду ступеньках возле «Молочника» (когда-то — ресторан «Молочный», теперь — кафе «Айнава»), сунув ноги — прямо в босоножках — в воду. Тогда она выглядела таким подростком-оторвой, оказавшимся в своем поколении человеком из времени другого, предыдущего. Нашего.

Оторванность от своих, босячьесть и расхристанность ее то ли дружили с, то ли были определяемы грустным ее задвигом: она, видите ли, ощущала всех, которые живут, неким каучукоподобным студнем: толстой подошвой, обновляемой сверху, шелушащейся снизу. Плоть она ах как ненавидела, мечтая — не весьма оригинально — стать эфирчиком без надоб и выделений тела, а уж как она не желала быть женщиной, воспринимая их — в соответствии со своим тотальным каучуком — одним существом с общей кожей, связанных во времени пуловинами; а мужики — те сбоку и легко могут уйти вообще, на двор покурить.

Теперь с ней как бы и обошлось: вышла замуж, родила, собирается, вроде, и дальше — замаливая, что ли, свой тогдашний строй мыслей. Из тех же, кто набрел на нее тогда ночью возле «Молочника», воззрения ее разделял один Экскавайр, да и то умозрительно, соглашаясь, что и подобная точка зрения вполне обеспечивается реальностью и, следовательно, имеет право жить. Девчонка подрубилась к нам моментально и ладно бы только: эта взрослая и шупленькая пацанка почему-то оказалась позарез необходимой жестким несерьезным людям, она стала шестой, потом появился Восточный Князек, крышка оппаньки, да и на три года. Или четыре, не помню.

Все эти семейные перемены с ней произошли уже позже, когда не стало нас и не стало ее самой, а тогда, в милом противоречии своим установкам, она сначала прибилась к женщинам, хотя в части своих психических уклонений вряд ли могла отыскать конфидентку неудачнее, чем Большая Белая Марта (Бибиэм), которая Марта испытывала трудно изъяснимое умиление ко всякой живой твари — даже к букашкам, хотя лучше бы к чему мясному: к червячкам, пиявочкам; а уж к животному теплу, реагирующему в ответ — куда там слова? Чувства ее к самой провинциальной зверушке изгоняли в самую ее саратовскую глушь любые абстрактные концепты. А Баден-Баден изволило спрашивать у нее советов — это ж вообразить себе?! — поделом в шоке отшатываясь от очередной мощно-витающей откровенности БМ.

Что до ее отношений с Сен-Жерменом, то последняя ее взгляды трудно сказать. Относилась, скажем, сочувственно. Но Сен-Жермен женщина умнейшая и не откровенная; ей, кроме того, единственной среди всех удавалось поддерживать свою жизнь в постоянном и чутком равновесии, держа ее как бы перед собой на руках, все остро различая и не только предупреждая обломы, но и — что встречаемо куда реже — умея выглядеть намечающиеся приятности: не попадая затем в них просто по ходу жизни, но — подготовленная — с полным погружением в суть приходящего кайфа. Дай бог, чтобы эта способность ее не оставила.

Таким образом, для Баден-Бадена (ее так звали заглазно, и даже в ее присутствии это произносилось как бы вообще: и она никак не могла соотнести прозвище с собой, так что Баден-Баден к ней так и не приклеился и плывал вечно над собравшимися самостоятельно; а после того как Нюшка скоренько выбралась из-под своей заморочки, Баден-Баден оформился демонским бесплотным персонажем — каковым, очевидно, и мечтал стать все время своего сожительства с Нюшкой). В общем, с девочкой все обошлось, в чем, надо отдать нам должное, заслуга всех нас, в особенности же — Экскавайра, сумевшего как-то так приручить ее, что уже на второй неделе нашего общего знакомства (уже объявился Князек, который увязался за БМ в общественном транспорте, был милостиво дозволен проводить — Марта шла к Диксону за какой-то ерундой, а тут сидели все остальные, которые еще были сами по себе, но что-то коллективное уже напоздало, рассуждали примерно на тему сколько ленинграда в таблетке аспирина, вошли Марта с Князьком и тут крышечка и захлопнулась) позволила себе чудовищное для ее психоструктуры мероприятие, а именно: лечь на диван, положив голову на колени Экскавайру, и лежать смежив веки, покуда Экскавайр гладит ее русые кудри. Экскавайру же принадлежит и описание места жизни Баден-Бадена, поскольку он единственный там бывал.

Дело было — по словам Экскавайра — очень жарким летом, когда был август, душно, солнце светило напряженно, а Экскавайр шел к Баден-Бадену за какой-то хреновиной, вроде ксерокопии, которую вдруг да посулила ему Нюшка. Баден-Баден загорал лежа на полу и продолжила загорать. Экскавайр, находясь в мерзейшем состоянии духа: он птичка осенне-ночная и в теплынь ходит с сардонической такой ухмылочкой, к тому же отягчаем аллергией на жару. Экскавайр, который зашел сюда по пути в какое-то очень важное присутствие, стал настолько ошарашен положением дел (ксерокса и в помине не было), что присоединился к Баден-Бадену в ее упражнениях. Впоследствии он вспоминал, что живет Баден-Баден в Московском форштадте, в районе Красной горки, неподалеку от сохранившегося навеса (на рифленых чугунных подпорках) над бывшим там давным-давно рынком; комнатенка имела вид гостинично-аскетичный: «какие-то мебелишки Гирш» — сказал Экскавайр, однажды, в пору тех снесения, посетивший вышеуказанные мебелишки, так что говорил с разбором. Стены баденбаденского номера были совершенно нагими, имелись: железная, аккуратно застеленная кровать; недавно беленый потолок; блестящий, еще чуть липковатый пол; прозрачные — впрочем, нараспашку — окна, и далее — деревья, загруженные птичками. При этом казалось (то ли дело в августе, то ли в Баден-Бадене), что больше в комнате нет ничего (хотя там где-то в углу стояли и шкаф и полка) и, более того — что в комнате четыре окна, стеклянный потолок и вообще, существует она лично, индивидуально вися в пространстве уж, во всяком случае, вне всякой окружающей ее коммуналности. Пахло в комнате накалившейся краской пола, загорающей кожей Баден-Бадена и табаком — от Экскавайра. Из отдельных деталей последнему запомнились лишь мощный альбом по древнеегипетскому искусству, с помощью которого Баден-Баден, видимо, примиряла в себе противоречия. Альбом был раскрыт на странице с изображением фараона в короне, с этим крестиком-с-петелькой на шее, окруженный поджарым египетским кошачеством, и с от-таким-от, указывавшим часов на одиннадцать, хотя времени было уже полвторого.

Там наличествовало еще что-то правильное и привлекательное, но Экскавайр так и не вспомнил точно: то ли полоска, проведенная по стене мелом параллельно полу с усиливающимся нажимом, пока мел не сломался, оставив легкий штришок падения и вспышку своей пыли на полу, или что-то иное сухое и белое.

В степени его доведенности до остальных случай этот был из исключений: несовместные общения жили вне компании и не так — как ни странно, потому что перекрестно общались интенсивно, выполняли различные комиссии друг друга, были знакомы с близкими других, но те у нас не появлялись, а частные отношения развивались своим ходом в стороне от коллективных радений-руффиксов по пятницам у Диксона (кличкой который был обязан песенке: четвертый день пурга чего-то-там над Диксоном — Диксон был, значит, несколько с виду геологичен, к тому же старший из всех, еще немного и угодил бы в шестидесятники) или в любой другой день по общей договоренности. А там вся эта весьма серьезная внешняя жизнь мела и служила лишь потренировать органы речи. Так БМ однажды поразвлек (и объект рассказа в том числе) изложила как вскорости после развода к ней зашел Князек и приступил плакаться на свое холостое бытие, хорошего в котором не находил решительно и, страдая на мужской почве от непривычного воздержания, описывал приметы своего состояния, а также попутно возникающие образы: сидя грустно подперев голову скалкой, пока Марта не суеться профессионально суетится на кухню квартиры, до потолка

заполненной детьми, мужем, свекровью, родителями, первым мужем, его женой, котом, собакой и канарейкой — в которой квартире когда ни зайдешь мы оказывались рассредоточенными друг от друга вовлекаемыми в какие-то каждый раз иные отношения с кем-то подряд на время обрстая новой семьей и отпрысками включаясь в бытовое вселенское братство по взаимному обеспечению друг друга жизнью теплотой и обедами. Черт знает, сколько там комнат и жильцов, но каждого из нас в свое время посылали в магазин за хлебом или молоком, а то и за спичками — что кажется невероятным: как это вдруг у такой прорвы народа не оказалось вдруг ни одного коробка?

Мы, когда нам удавалось выбраться оттуда всем разом, выходили оттуда несколько искаженными, рассаживались на лавочке, закуривали и ждали когда нас прихватит наше, и окажемся в жизни, где Марта может, хихикая, рассказать о поведенных ей на кухне печалаях Князька, а тот будет не обижаться, но ввертывать упускаемые Мартой детали, и никого не будет волновать: а чего, собственно, Марте не пособить приятелю в беде — чего уж там: жили мы все по-разному, а более близких у нас не было — и не отправиться с ним в его выцветшемечтательную комнатушку? Что, может быть, но было их делом. Да, кстати, по делу — да, а вот так просто: поболтать, провести время мы избегали неполным составом. Слишком большие в окружающем воздухе отсутствующие — будто их только что выслали или убили.

Очевидно, книги о вкусной и здоровой пище изобретают больные люди: болезненность, разумеется, не передающая авторов в ведение психоневрологических учреждений — это какое-то предрасстройство души, которое вряд ли разовьется и вызовет иные, нежели пищевое помешательство, выплески. Трудно выяснить: расстройство врожденное, результат воспитания или задоблал социум. Скорее всего — сбой нормального развития, духовный рак, когда вещество роста уходит в большие накопления одномерного интереса, бетонными стрелочками траты энергии.

Прогал между духом живым и уже по-медицински ушербной душой: мутная и мутная область, в которой барахтаются слабые странности и нелепые привычки, не расцениваемые как болезнь, напротив — образуются клубы филателистов, рыболовов; никого не удивит привычка другого категорически не сидеть против хода электрички. А только это плохо, конечно: перекос, распухание, трещина, обвал. Если бы устроить анатомию не-физического тела человека, и не на уровне узкоспециальных имеющих знаний, а так вот, наглядно и общедоступно — как с цветными и настенными схемами тела физического: мышечная структура, скелет, кровеносная система: подобные же картинки плоти духовно-душевной. И, знай мы себя там столь же точно, как можем сказать что за мышца потянута или какой с нами произошел бронхит, — окажется, что вечно дурное настроение либо обыкновение, например, знакомясь с человеком оглядывать его как крупную вошь, окажется следствием легко сводимой бородавки на памяти или виной всему какие-то духовные соли, обладатель которых как дите не понимает в чем дело, а ему бы высморкаться, да и жить себе счастливо.

И если поштучно разбирательства крутые, что уж о компании. Почему возникла, чем жила, почему умерла; тем более — без явных общих целей. Что за существо, у которого и характер свой и повадки — не разделяемые по отдельности его составляющими. Да и поздно. Все — не вспомнить, а не собрать ведь из обломков кувшина такой же да поменьше (чем, впрочем, и занимаюсь). Все кончается — как говаривала матушка Екатерина — оттого же, отчего всяк человек стареет: да и что бы мы со всем этим делали бы, кабы оно не состарилось да не исчезло.

Сверяться не с чем: мелюзга безделушек — кличек вот этих или вещичков: дарили же мы друг другу на дни ангелов всякую ерунду: линзочку, подвернувшуюся перед визитом, одностороннюю наполовину оприходованную зажигалку — не с ними же сверяться, тем более, что все эти вещички запросто окажутся просто прибудными: зажигалка без газа, линзочка. Что мы знаем, что мы значим? Сколькими способами можно произнести эту фразу?

Произнесем ее звуком, какой иной раз возникает в джазе: в каком-нибудь трех-пятиминутном обмылочке, очутившемся жить как бы совершенно случайно в результате ф-но, ленивого ударника и баса: мелкоформатный, так просто, ни завязки ни развязки, для себя лишь — и не для того даже, кто слушает свыше, а так, для себя одних: вот мы тут, среди немногих своих, обыденные, нежные друг к другу, привычно усталые; головой в руках временно не слышащие ничего, кроме этого; приехавшие слегка от спазма осознания неслучайности человеческого понимания среди этих сводчатых полуподвальных абстракций миллиона лет до и после; колкое, как твоя же щетина, время, в котором мы закопаны — так происходило, когда богом в нашей компании оказывался Князек: не народным, не конфессиональным, а есть в любой день разный человек, через которого компания дышит и смотрит вокруг.

Бог, возникавший, когда площадку держал Еёжа, был,

например, комбинацией из трех слов, показываемой в кармане системе. Еёжа как бы понижал уровень жидкости в окружающей среде, как бы отсасывая ее, мучительно при этом раздуваясь — и на глаза перла, извлекаемая, схожая с кондовым арматурным каркасом система, плотно облепленная ржой, костями, памятниками и иными признаками ее здоровья. У Еёжи на протяжении системы взгляд был науськан и бедняга обращал внимание на вещи, свести которые в одно остальные себя не насиловали. Да что угодно: как в городе вдруг начинают крушить деревянные дома, раскрывая доселе замкнутые кварталы, размывая город в обшарпанную новостройку; те же скучные проблемы с выпивкой и прочей мануфактурой — движение одной мыслишки людей Тибета этой арматуры влекло рассыпание, размножение их слабенького усилия в черте-что, катящееся вниз: одно движение и рушатся по всему городу дома или отправляются в ремонт сразу все рыбные магазины (так, конкретно, на конец февраля восемьдесят восьмого года, когда Еёжа об этом говорил, из небольшого числа магазинов «Океан» оказались закрытыми по крайней мере три: на углу Блауманя и Кр. Барона; на Стрелковой, напротив «До-ре-ми»; на Ленина, наискосок от Г.Б. И, вроде, еще в Задвиньи. Бедные наши коты.) Не говоря уже о... скучно.

В начале нашего общения мы полагали, что пристрастие Еёжи к событиям общественно-политической жизни является свойственной ему формой стёба, в дальнейшем, однако, обнаружился трагизм ситуации. Забредя к нему домой, было выявлено, что отец Еёжи — полковник ВВС, и детство наш приятель провел мотаясь по Союзу, в аэродромных городках, где азбукой ему служил Устав Гарнизонной службы, а формой воспитания — Курс молодого бойца, что над ним полковник и осуществлял каждодневно. Самым лирическим воспоминанием Еёжи, вынесенным оттуда, был марш «Прощание славянки», который он несколько амбивалентно любил по сей день. Украшена квартира была статуями самолетов, гладко вылизанных из латуни и никеля, а также пластмассовых, немецких моделек, которые в детстве старательно составлял уже сам Еёжа и которые от полуритуального впоследствии уничтожения спас в гостиную папа. В комнате Еёжи имелся аквариум с подводной лодкой, которую Еёжа однажды перекрасил в желтый цвет, но сквозь тонкую ацетоновую краску продолжала просвечивать красная звезда.

Понятно, мутные ночки с Еёжей во главе нам оптимизма жить не прибавляли, выслушивать его аналитические разборки было (это трамвайная болтовня, когда: вот теперь оп и пропал сахар, а потом: хоп — и куда-то пропали все мы, так ведь... (щелчок пальцами) увидишь на другой день и эти рыбные и вскрытые кварталы или газетку прочтешь через чужое плечо).

И тогда нас, вляпавшихся в продукты общественного бытия, поддерживал как горнист Диксон, неудавшийся наш шестидесятник. Они так друг за другом и ходили: Еёжа-Диксон. Бог, по Диксону, был вроде дощатого настила, мостков как возле озер: начинаясь от берега тянутся через топь с сырой травой и жижей с полузатонувшими там министерствами, строевыми шагами и праздничными демонстрациями, выдвигаясь над поверхностью озера; там, у обрыва, может быть привязана лодка, а может и не быть. Насчет лодки ему, наверно, додумывать было лень или: мужик он конкретный, а установить этот штришок требует усилий и времени если не больше, чем все предыдущее — Диксон считал это эгоцентризмом, торчать же на себе отказывался категорически. Вот так. В жизни достаточно настильчика — им многое перекрывалось, да и удержаться бы на нем, скользеньком, провести с собой других, посидеть-покурить, болтать ногами над сырой бездной, освещающей бликами лица снизу — разве мало? И не следует забывать, что собирались мы именно у Диксона. А что там у него в дальней комнате в конце анфилад, что там за картинки на стенах или какой-нибудь тяжелый, плохо спящий по ночам бесшумный механизм — сам взрослый.

Чем-то они — теперь лишь, вспоминая, — были схожи с Мартой: а тем-то и были схожи — как если бы вместо Диксона наши вечера вела сама его квартира со всеми чужими кошками-попугаями и постояльцами-ночевальщиками, которые и с нами сидели, и слушали, вроде, и понимали, слова вставляли, но при этом не самостоятельно, а оставаясь элементом самого Диксона; так и когда на острие лучика была Марта (Марфа, ББМ, Матрена, а звали ее — Люда) казалось, что ничего с нами не происходит вообще (происходило), а в Марте, это здравый смысл, который — на самом деле — никакой не общепринятый и не среднестатистический. Подкожное, обычно затапываемое — наскучивает, настолько совместное с человеком, и от него тянет к абстракциям, которые — судя по Марте — весьма слабо ташат жизнь. Что-то такое, категории такие и другие быть, возможно, должны — по Марте — так есть они и ладно, оставим их для умственных упражнений: в которых, помахах кулаками и выдыхаясь, застопориться вопросом — а про что речь? Хотя, конечно, будь она лишь вот такой — не было бы ее здесь и жила бы она спокойно со своими многочисленными родственниками, не водила бы личную дружбу с Диксоном и не околачивалась бы, ноуя и обкуриваясь,

в его апартаментах с диксоновыми ребятами. И, тем более, не прибилась бы к нам — да и не прибилась, пришла, многое определив, в самом начале, сразу после Сен-Жермен.

Сен-Жермен. Самый загадочный персонаж наших взаимодействий. Окрещенная вначале Диксоном как Сен-Жермен-де-Лямермур по причине своего надменного вида и шикарной наглости, одевающаяся всегда как на оперу или на прием в посольство, через месяц она благополучно утеряла скептическое де-Лямермур, ничего ему соответствующего в ней не оказалось. Ну, скажем, дома ее могло, конечно, отражать зеркало с золотой амальгамой, но никак уж в золотенькой багетной раме.

Если попытаться взглянуть на нее отвлеченно и как бы со стороны и объективно, то в обиходном общении она была человеком весьма неприятным. Вряд ли ее можно было расстроить или растрогать. Она была красива, поэтому вокруг нее — в прочей жизни — ковылял хоровод мужиков разных достоинств, трудно сказать как она с ними разбиралась; в семье проблем не было, взрослый сын, муж, с которым она ладила. Всех троих можно было часто встретить в концертах (короткий кивок, проходит мимо), но дома-то она была у нас, и бедные домогатели, поди, совершали групповые самоубийства, будучи не в силах постичь логику ее душевных движений. А и как им было понять, если весь мир в ее исполнении превращался в игру, да не безобидную — все предметы и связи наделялись ее смыслом: как, скажем, у ребенка камень то ли зверь, то ли приятель, то ли грузовик, то ли небо. А Сен-Жермен осуществляла такие штучки не в частном, но разделяемом с другими мире, который по ее мелкой прихоти шустро преобразовывался, да не надуманно: все это в нем, оказывалось, и было — все эти несурзные связи, когда произвольный разговор или действие вдруг хотят заполнить собой половину универсума, заставляя остальных — доводя которых в результате до нервного истощения — припомнить и всех своих прабабушек, и Адама, и что ел на завтрак, и Шкловского в бане, и как впервые узнал о смерти. Куда же ей было идти с такими склонностями как не к нам — не могла же она обучать этому сына, тот, пожалуй, и спятил бы не разобравшись между такой мамой и всеобщим средним.

Здесь нет примера, потому что нет того воздуха и нет Сен-Жермен. Все это не излагалось, игралось, что же до ее манер, то: «Как это не могу?» — Сен-Жермен Диксону (встать на голову). Диксон требует доказательств. «Мальчик, молодой человек!» — Сен-Жермен в сторону анфилад. «Да, вот вы, неумыточек, будьте добры». «А?» «Вы могли бы встать на голову?» «Мог бы». «Встаньте, пожалуйста». Встает. «Спасибо». «А причем тут ты?» — Диксон. «А сигареты под диван заехали — Сен-Жермен Диксону — ты искал только что». Сигареты, точно, лежали под диваном. Такой театр.

Трудно быть уверенным, но, похоже, мир она видела столь остро, что — если принять во внимание и постоянную практику подобного рода и уникальное чутье (нечего и говорить о безупречности ее вкуса — не оценочного, но всюду профессионального). Если, скажем, пойти дальше Сен-Жермен, сделать угол зрения еще острее, раздробить вещество на совершенно уже неаппетитные отдельные песчинки и, не теряя ни резкости ни зернистости изображения, вернуть вкус на место, повернув винт настройки на четверть оборота обратно: увидев, как бы обнаружив себя на лужайке еще абстрактной, но уже неравномерной материи, ходя по которой можно ощущать эти стукоты: брать в руки, подносить к глазам: волнушка, рубль, яхонт — и, при этом разглядывании, вернуть винт еще на оборот обратно: этот стукот, вызывающий те или иные чувства, обладающий такими-то цветом, вкусом, запахом и звуком, организуется в мире реальном, то есть привычным комбинацией его частей: чаем с килькой, кошкой под дождем, текстом, Брежневым на белом коне, пером в бок. И таким вот сочленением штучек и занималась эмпирически Сен-Жермен.

Что роднило ее с Баден-Баденом, то есть уже не с ним, а с Нюшкой. Но, в отличие от Сен-Жермен, в коей эти тонкие качества были выработаны шестнадцатью поколениями предков, Нюшка была городской дворняжкой, от природы с мгновенным врубом в любую ситуацию и нюхом на все вокруг: не изобретала, не составляла, а, распознавая, присоединялась — на благо ситуации. В компании от нее было светло и легко и, ох, сколько вокруг было воздуха, когда Нюшка была нашим богом — это был божок весенний, начинался свирепый апрельский раздерг; божок о ста руках, в которых ничего не зажато, с легкой кислинкой во рту от железного леденца или пульки; она была как бы напичкана ангелами, которые вырывались из нее при каждом ее жесте или улыбке.

О ней говорить трудно, потому что, да вот, — больно, потому что надо тогда входить в разбирательства со временем, заставляя себя понимать почему все. Она была единственная, оказавшаяся среди нас как бы авансом, по стечению обстоятельств — в своей баденбаденской ипостаси она тянула лишь на то, чтобы оказаться одним из диксоновых завсегдаедаев, задвинутым его постояльцем, краем уха участвующим в наших разборках. И не были, конечно, произошедшие с ней перемены целью и результатом наших сборищ:

мы бы расстались как только она стала Нюшкой, а не провели бы вместе три этих года, вспоминать которые больно и почти однажды, и за которые, поди, нам потом зачтется жизнь, если отыщется перед кем отвечать. Что, собственно, уже не важно.

Баден-Баденский период ее окончился довольно быстро, и не от разговорочков наших и, уж конечно, не от лежания головой на коленях Эксквайра, а сам собой и очень кстати, потому что если бы не это — ничего бы с нами не произошло. Потому что мы боялись: это как поднырнуть под завал на реке — течение вынесет, сила, тебя движущая, вынесет, а не даешь себя ей на волю, опасаясь — ты же будешь пуст, весь в ее власти: страшно. А у нее был этот долговременный задвиг, очень постоянная точка зрения, и с этой прочной и дикой позиции ей удавалось обучиться ощущать каждодневные, выбивающие из привычного самочувствия толчки и тумачи не разрозненно, а, по мере их учащения (а куда денешься, конечно учащения, с каждым годом все плотнее) — что они не то-так-то-эдак, а одного течения, одной реки, на которой можно ехать верхом. И ей, Нюшке, сил, поэтому, не хватить не могло, все возможные были в ее распоряжении, которыми она наделяла всех остальных. Не забывая нас и теперь, когда нас давным-давно нет всех вместе — хотя мы и рядом, и встречаемся постоянно: куда же нам разбежаться в нашем малолюдном городском кругу, вот только не собираться, разве что как бы в виде эксперимента — да только, боюсь, придут все не одни, желая приобщить новых друзей к былым радостям: нет, конечно, не придет никто.

Невозможно. Мы зачем-то были вместе, что-то вместе делали, нам было счастье, что, собственно, дело десятое; потом это — неведомое нам — созрело и отвалилось как августовская слива; мы давно уже про все забыли, в конце-концов человек наполовину состоит из воды, что обеспечивает быстрое обновление всего организма и памяти. Но встретиться мне на улице Нюшка (зовут в миру которую, конечно, совершенно иначе) мы будем с ней обниматься, samozабвенно и нежно, и целовать друг друга в губы и глаза, а только все кончилось, вес рассеялся, воздух сделался пуст и безвиден. А точнее — стал другим.

Но был еще Эксквайр. Среда его обитания (он, кстати сказать, муж Сен-Жермен) была легендарная темная комната, в которой происходит ловля черной кошки, там, возможно, отсутствующей. Кошку-то мы не ловили, кошку бы мы позвали и она бы примурлыкала к нам сама. Другое: пройти по диагонали из угла в угол в этой комнате невозможно. Там в центре какая-то штукovina темно-несовершенно цвета: какой-то черный алмазный конус, гладкий настолько, что ощущать его, не потеряв при этом ориентации, невозможно. Если же не ошупывать, а идти, старательно выдерживая направление из угла в угол по диагонали, то препятствия идущий не ощутит (форма его, впрочем, не установлена точно: кажется — конус, а может быть что-то сложнее или эта штука меняет форму, оставаясь, однако, гладкой и темной — либо совершенно прозрачной) ничего не ощутит, но начнет отворачивать в сторону — соприкоснувшись со скользкой поверхностью того, что в центре: разворачивающее плечо почти ласковое противодействие, которое кайф ощущать; плечо опирается на препятствие, препятствием как бы и не являющееся: идущий продолжает идти по прямой в свой назначенный угол и, минуя в своем прямом движении эту область, вдруг ощущает отсутствие противодействия, момент отрыва, что отзывается в нем удовольствием от частичной потери веса, почти чувством парения и, да что же это я тебе все это разъясняешь-то затеял?!

Ну ладно. Сей интерьерчик он как бы приволакивал на горбу к Диксону, когда наступал его черед водить. Богом Эксквайр служил не часто, раз в два месяца, даже реже, а всего — раз семь-восемь, кажется, за все наше время. Все, как сквозь рентгенкабинет, проходили сквозь это помещение, задерживаясь неизвестное время внутри. Потом никто никому ничего не мог рассказать. И у другого не спрашивал. О чем, собственно? Все это было не сахар: никто не сможет сказать, сколько был внутри и что понял, пытаюсь сладить с этим веществом, разобраться что оно такое там стоит: как вспоминание сна, себя, везжание во что-то абсолютно необходимое и нежно ускользящее. Там — совмещение наступало, а оставались: нелегая, казавшаяся там ключом — опытный, понимаешь, что все уйдет, строишь зацепку — но совершенно дебильская фраза рода «дыр, бул, шир», а, казалось, все из нее наяву размотаешь. Или картинка — тоже почти ничего не сохранившаяся на поверхности. Вот оно, вот — что? Как мы потом расходились: поодиночке или вместе, во сколько, куда? Потом мы встречались недели через две, не раньше.

Так было все это время, и вот, мы вдруг обнаружили себя выходящими толпой на январскую улицу, часов в пять утра, после Эксквайра — и сам он тоже был тут, мы ждали Князька, который побежал вернуться за сигаретами, а Еёжа уже выскочил на магистраль ловить мотор, идущий через мост из Задвинья, мы все чего-то смеялись, охали как же сегодня на службу и явно тянулись взяться за руки, арестовать свои руки и стать хороводом.

И вот тогда я и разогнал их на свободу.

О СОСТОЯНИИ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА В ЛАТВИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Из кругов, представляющих национальные меньшинства, я порой слышу упреки, будто латыши — большие шовинисты. На самом деле эти упреки необоснованны, потому что латышей скорее можно упрекнуть в недостатке национализма. Если, например, какой-либо еврей здесь, в Латвии, обращается к латышу по-русски — а евреи так иногда делают, — то, как я заметил, редкий латыш отказывается отвечать по-русски, а большая часть чувствует себя польщенной, что еврей принял их за тех, кто способен говорить на чужом языке, и, как могут, говорят. И если порой в политической жизни звучат голоса, требующие «национальной» коалиции правительства (без участия меньшинств, но с социал-демократами), то на самом деле это никакой не шовинизм, а только надетая с определенной целью маска «национализма», и как только ситуация изменится, ее снимут. Приведенные выше упреки могли возникнуть только потому, что наци, сравнительно редкие, шовинисты активнее многих не-шовинистов и больше, к примеру, пишут в газетах.

От недостатка истинного национализма страдает, как недавно указал в «Латвиетисе» Гауймалиетис, и латышский язык. Существуют же, видимо, наказания за искажение государственного языка, но наша полиция мирно созерцает, к примеру, такие вывески над магазинами, как «Jēkab Marfinohn», хотя в латышском языке звательный падеж на вывеске невозможен. И чего требовать от полиции, когда в нашем министерстве иностранных дел из-за иностранцев выдают такие заграничные паспорта: «Я. Калныньш господину».

Упомянутые искажения языка свидетельствуют о недостатке самоуважения среди латышей, других дурных последствий у них нет, ибо они настолько привычны, что на них уже не обращают внимания. Гораздо хуже широко распространенное мнение, будто каждый латыш как таковой уже умеет правильно говорить и писать по-латышски, и потому может обойтись без обучения латышскому языку, а в случае необходимости может и других учить говорить по-латышски. Помню еще, к примеру, с какой злостью «Латвияс Саргс» (Страж Латвии) отверг указание «Латвиетиса», что чиновники латышской национальности иногда коверкают латышский язык не менее инородцев. И как в русские времена, когда еще не могло быть подготовленных к отправлению своей должности учителей латышского языка, позволяя обучать этому языку в средних школах всякому латышу, который в полиции считался «благонадежным» и был согласен за небольшое вознаграждение это делать, так и теперь широкие круги считают, будто для обучения латышскому языку (даже в средних школах!) достаточно доброй воли и латышской национальности: кто не умеет делать ничего

другого, тот, на основании лишь своей национальности, учит латышскому языку!

С первого взгляда могло бы показаться, что для обучения латышскому языку достаточно латышской национальности. Но в действительности этого бы хватило для чисто практических нужд только в том случае, если бы все латыши в своей речи были свободны от германизмов и славянизмов. В действительности мы в школах учились по-немецки и по-русски, читались русских и немецких книг, частично мыслим по-немецки и по-русски, и потому наша речь не всегда чисто латышская. Даже уже упомянутый в этой статье Гауймалиетис, к примеру, которого так заботит правильность латышского языка, все же трижды в своей статье пишет «riedot» (калька с русского «придать»), в смысле придать известный оттенок, хотя на чистом латышском языке это значит «простить». Но учителям латышского языка необходимо не только самим правильно говорить и писать, но и научно владеть латышским языком.

... Передо мной встают порой печальные картины, когда мне приходится изучать состояние преподавания латышского языка в школах Латвии. Так, например, обратились ко мне школьники одной школы с просьбой объяснить им, действительно ли слово «istaba» («комната») нужно писать «izstaba», как учат их преподавательница латышского языка (поскольку, видите ли, «izstaba» произошло от «iz staba» («от столба»)).

... Страдает порой латышский язык в школах и оттого, что преподаватели других предметов не только не способствуют деятельности преподавателя латышского языка, но и, волей или неволей, ему противодействуют. В свое время Велме указывал, что и преподавателям других предметов следовало бы держать экзамен по латышскому языку, ибо если преподаватели других предметов в классе говорят неправильно, то этим они разрушают всю работу преподавателя латышского языка, который даже не имеет возможности сказать своему классу, что другие преподаватели говорят с ошибками и не могут служить образцом. И иногда даже сознательно выступают против деятельности преподавателя латышского языка! Так мне, к примеру, приходилось слышать, что в некой средней школе некая учительница «Kruhming» якобы подбивает своих учениц не слушать преподавателя латышского языка и не писать свои фамилии с окончаниями женского рода.

Упомянутые примеры лишний раз показывают, что латышскому языку в латвийском государстве еще не придается должного значения...

ОЛЕТ КРУГЛИКОВ

Время. Безобразно старый и слепой купидон пьян и спит на мусорной куче. Весь день он работал топором, и похоже, что все живое превратилось в любовную лапшу, над которой теперь гудят и роятся зеленые, жирные соловьи. Когда они садятся на купидона, он грозит кому-то мертвым пальцем, улыбается и приговаривает во сне: «Любите, любите».

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЗОЛОТЫХ ЧЕРЕПАШЕК

По вечерам на берегу моря работает сумасшедший ювелир. Миниатюрных золотых черепашек он начинает перемолотым в пыль античным Аполлоном и раскладывает их на песке головками к морю. Солнце зависает над водой бордовым точно очерченным кругом. Черепашки теплы и особенно неподвижны, а ювелир тихо поет что-то об одиночестве.

ПЛАСТИКА

Влажная транспортерная лента несет мою белую скульптурную голову к центру лабиринта. Я покорен, и это позволяет ей медленно поворачиваться в тупиках, я хочу протестовать, и голова движется быстро и безошибочно к центру. Где, некто, Равнодушный, непременно опустит старенький молоток на мою чудесную, в мраморных прожилках, голову.

Пока ладьею правит харон
Мы спокойно глядим на
его мускулистые руки,
и ни у кого не возникает
желания потрогать воду,
холодна ли. Но за весло
берется харонов ученик,
и мы начинаем тихо роптать.
Не сбился ли он с пути?
Нет ли в реке тайных водоворотов?

На пустыре автобус
Списан давным-давно,
Но огонь за фанерными окнами,
И трещит и спешит патефон.
Человек за рулем
Объявляет:
«Комната смеха,
Выходит кто хочет»,
Сам же смотрится
В желтое зеркало
И хохочет, хохочет.
И потом шепотом,
Отдышавшись после смеха:
«Видно на зиму запастись углем
Мне не к спеху».
Хлопнув по колену,
Опять громко:
«Выходите, остановка «Столовая».
Чайник на примусе
Виртуозно насвистывает.
К вечеру водитель сник
И жалуется тени:
«А еще говорили
Лет тридцать назад
Крысы колеса съели,
Говорили, говорили,
Говорят что хотят,
А может и вправду выселят».
И кричит: «Остановка! . . .»
Слезы глаза стеклят,
И дрожащие губы пока
Остановку назвать не хотят.

Влитые в кубы квартир
мы пьем горячую отраву снов
просыпаясь в синь окна смотрим немо
ворс разбухшего ковра щекочет
отросшие за ночь
кустики жабр
мы гасим пожар сновидений
мы жадно ныряем в небо

мысли танец кочующих в вечность цыган
мука тех чьей щеки коснулась летучая мышь
а мы только следом
а мы только рядом
а мы только саван

Шорох листьев
Музыкою стал
На пустой вокзал
Подкатили поезда
В городе все расшумелись
И разъехались
Я лишь опоздал
А по тротуарам ветер
Из опавших листьев
Складывает песни
Небо потемнело
Будет ли гроза?
Верьте опоздали все
Кто сели в поезда.

Когда я очнулся, то понял, что нахожусь
в брюхе левиофана. Часы пробили три. В
чтобы у подъезда сказать
иди ты мне не нужна
темноте я ушиб о столик колено и осторожно
открыл окно. Сыро, ночной туман, но ни звука
приближающегося китобоя.

Утро. Парк. На скамейках смешные улитки
пузырятся старушечьими голосами. Толстые
красные шины детских велосипедов крутятся
под треск скорлупок. Солнечно. Даже
карамельные крылья грачей пускают
зайчиков.

Ах если бы фальшь
бродила среди нас
призраком, только призраком
будила спящих, но
не причиняла боли

Он готов вести тебя к костру
Чтобы толкнув в огонь узнать
чисто ли ты звучишь
Он готов вести тебя к свету
к свету уличных фонарей
чтобы заглянув в лицо
спросить сколько ты стоишь
Он готов вести тебя к себе
по бесконечным улицам
что бы у подъезда сказать
иди ты мне не нужна
как чист твой голос
как ты бесценна
как ты нужна мне
иди

У парикмахера танец особый
кресло-протез
палец в порезах
«следующий!»
и колечко волос на расческе
очередь на треть седа
на треть дружна
у парикмахера танец особый
но если глаза у клиента
завалены сном
он смотрит с тоской
и берет чуть дороже
очередь на треть пуглива
смотрится в зеркала
у парикмахера танец особый
он держит бальзам для волос
в роскошном флаконе
с затычкой из ваты
для старых клиентов но те
полуслепы улыбки и виноваты

Новорожденная стрела мягка и по-щенячьи
игрива. Наконечник не видевший мяса го-
няется за хвостом и щиплет пушистое опе-
ренье.

Молчание выстрел молчание
Снег скрипит
Крик выстрел молчание
Снег не похож на снег
Отчаянье выстрел молчание
Под снегом видна земля
Хохот выстрел молчание
Земля еще холодна
Плач выстрел молчание
На теплой земле трава
Молчание эхо молчание
Пока не придет зима.

ВИСВАЛДИС ЛАМС, прозаик

Вкратце назову главную тяжесть, что легла на плечи латвийской земли и латышского народа.

Катастрофическое загрязнение природы — самые большие реки стали сточными канавами, Рижский залив — помойной ямой.

Московские ведомства не стесняются, когда речь идет о дикарском разорении природных богатств. И впредь не намерены.

Массовая миграция, которая рушит любое планирование дальнейшего развития, обостряет межнациональные отношения.

Бессмысленное раздувание промышленности — совершенно не обоснованная экономически гигантомания, которая никогда не позволит поднять жизненный уровень трудящихся.

Недостаток латышского образования, ибо так называемая советская школа в сущности — система космополитического образования на латышском языке (и часто — в неуклюжем переводе).

Исчезновение трудовой нравственности в народе, ибо сельский труженник отчужден от земли, рабочий — от орудий производства и готовой продукции, латыши потеряли право на отчизну, простые люди — веру в справедливость закона. Сталинская бюрократия похожа на злокачественную опухоль в живой плоти народа.

Сбросить весь этот груз удастся лишь тогда, когда латышский народ опять станет хозяином на земле своих предков (латышский язык получит статус государственного, будет решен вопрос о передаче земли в пользование и т. д.), и пусть вместе с нами держатся те представители других народов, корни у кого — в латвийской земле, кто точно так же хочет освободиться от цепей бюрократического централизма, обрести человеческое и национальное чувство собственного достоинства. К. Маркс: «Никогда не будет свободен народ, угнетающий другие народы!»

Всю власть Советам, которые получают свои полномочия (что значит — доверие народа) на свободных выборах.

Создать суверенную Латвийскую республику в социалистическом содружестве!

Вот главная задача!

28 сентября 1988 года.

ЯНИС ПЕТЕРС, поэт

Будущий год должен стать годом первых демократических выборов за несколько десятилетий в Латвии. Это и определяет нашу сверхзадачу — выдвинуть и избрать в Советы только таких людей, которые будут защищать жизненные интересы народа. Это относится как к местным Советам, так и к Верховному Совету Латвийской ССР и к парламенту СССР.



ЯНИС БАЛТВИЛКС, поэт

Чтобы начать гармонизацию, нормализацию жизни в Латвии, нужно первым делом остановить наплыв мигрантов.

Надо полностью прекратить строительство любых объектов и сооружений, если их деятельность опасна для здоровья людей и состояния окружающей среды.

Навсегда пора кончить преступную игру в умолчание — когда речь идет об экологии республики, качестве продуктов питания и т. п.

На пути к образованию правового государства нужно подчинить контролю государства и общества милицию, армию и органы госбезопасности.

На пути к гуманизации школы нужно сделать первый шаг — добиться демилитаризации школы. Вместо военного обучения в школах следует ввести курс элементарных медицинских знаний. Солдат, пока они еще нужны, пусть готовит армия. Убрать оружие из детских рук!

Надо в ближайшее время внушить каждому латышу ту мысль, что наш народ вымрет даже в идеальнейших условиях, если у нас не будет рождаться больше детей, чем теперь. Мы пережили за минувшие столетия войны, чуму, голод. Так неужели теперь, отговариваясь бытовыми трудностями, мы спокойно вымрем?

И еще — если верить в чудеса — неплохо бы, чтобы в наступающем году явился какой-нибудь мудрец, способный убедительно растолковать, как возможно объединить демократический строй с однопартийной системой.

18 сентября 1988 года.

Одной из самых неотложных задач, с которой нужно справиться в этом году и которая тесно связана со мной лично и с моими планами, я считаю официальную отмену дискриминационного решения Совета Министров Латвийской ССР № 29 от 29 января 1988 года, что позволило бы создавать книгоиздательские кооперативы, кооперативные издательства, а также издавать новые (кооперативные) газеты, журналы и альманахи. Наряду с уже существующими литературными изданиями они бы содействовали дальнейшей демократизации нашей культурной жизни, сделали бы ее богаче и разнообразнее, ярче и насыщеннее. Нам очень недостает издания, в котором бы рассматривались культурно-исторические проблемы латышей и других живущих в Латвии народов, их взаимосвязи, их глубокую и всестороннюю связь с европейской культурой. В существующих ныне изданиях, ориентированных на актуальные проблемы нашей жизни, значения которых я не собираюсь оспаривать, для этих вопросов, к сожалению, практически не хватает ни времени, ни пространства. Во-вторых, обязательно следовало бы преобразовать Совет переводчиков, действующий в рамках Союза писателей, в Координационный центр латышской национальной культуры, который взял бы на себя обязанность объединять и одновременно развивать деятельность рассеянных по всему миру латышей с целью консолидации нашей национальной культуры. Нам необходимо свободно и без помех, напрямую, а не обходными путями, без формального посредничества различных бюрократизирующих и цензурирующих все на свете организаций обмениваться периодикой, книгами, информацией и своим опытом, создавать совместные культурные издания, думать о совместных книгоиздательствах, регулярном и целенаправленном обмене студентами, литературных встречах, научных конференциях, симпозиумах и съездах — одним словом, нам необходимо осознать, что мы — ОДИН НАРОД и ОДНА ДУША. В-третьих — и это самая неотложная задача — нельзя допускать никаких отклонений от избранного нами курса, всегда иметь в виду нашу общую цель — обеспечить не только конституционную, но и реальную, во всех сферах нашей жизни, суверенность Латвии.

Рига, 16 сентября 1988 года.

Ах, если бы у меня была золотая рыбка или волшебная палочка, я бы точно знала, чего пожелать Латвии в будущем году! Но нет у меня ни рыбки, ни палочки, и жизнь понемногу научила меня не желать невозможного. Крепко зажмурюсь и изо всей силы попытаюсь стряхнуть усыпляющие объятия скепсиса и неверия, и самое смелое, чего смогу пожелать, — это создать и укрепить действительно демократическую выборную систему. Ибо — пока нежные ручки множества Великих Застойцев еще лежат на кислородных вентилях, не будет у нас ни экономической самостоятельности, ни Свободной Экономической Зоны, ни реальных прав у латышского языка, ни разумного решения экологических проблем, ни реформы образования, ни... ни... ни... И еще — пусть растет число тех, кто не боится желать. Пусть Народный фронт не окажется мертворожденным младенцем, пусть не заблудится в новых и новых указах, законах, постановлениях, пусть завоеует право на диалог «на равных» с Советами, с партией. Пусть кончится дискриминация беспартийных в органах власти.

И вот, когда с зажмуренными глазами высказаны желания, придется глаза открыть, чтобы понять, что все это зависит и от меня, и от всех вас. Потому что нет у нас золотой рыбки ни в пруду возле дома, ни в правительстве.

МАРА ЗАЛИТЕ, поэтесса

«Месяц через речку хочет строить мостик», — порой наши теперешние самозабвенные попытки вызывают у меня горькую ассоциацию с этим стихотворением Аспазии. Мостик-то красив, и по нему можно даже пройти в великом вдохновении, но не ходить вечно. Нам нужно строить на земле, на нашей земле. Мы не можем строить на текучем песке.

Прежде всего, я считаю, нужно ликвидировать проблему миграции. До сих пор политика «радикального ограничения» миграции плодов не принесла. Что значит «радикально ограничить»? Даже если ограничить ее наполовину (это вполне можно счесть радикальным), все равно она остается процессом, смертельным для латышской нации и народного хозяйства Латвии. На текучем песке ни строить, ни перестраивать нельзя. Нам грозит пессимистическая дилемма — кануть в небытие через нереальные перила «лунного мостика» или утонуть в реальном море странствующих песков.



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

русскоязычному населению

Латвии

Дорогие соотечественники! Русские, украинцы, белорусы, поляки, евреи! Все, для кого русский язык является родным, а Латвия стала второй Родиной!

Мы обращаемся к вам в момент необычайного подъема социальной активности всего народа, а также в период резкой поляризации взглядов на настоящее, прошлое и будущее Латвии. Недавние события — XIX Всесоюзная партконференция, Объединенный пленум творческих союзов Латвии, Учредительный съезд НФЛ, приоткрытие люков гласности — заставили многих из нас, быть может впервые в жизни, всерьез задуматься над тем, кто мы? Когда и как пришли на землю латышей? Что принесли с собой? Что сделали для своей второй Родины? Как сложились наши отношения с латышским народом? Как собираемся жить здесь дальше?

В этом обращении по ряду причин мы не касаемся ни предвоенной судьбы Латвии, ни судьбы русскоязычного населения в ней в тот период. Мы обращаемся лишь к тем, кто вместе с нами по своей воле или по воле родителей пришли в Латвию в послевоенный период. В годы, которые, как известно, относятся к периоду расцвета авторитарного режима и грубой деформации основ социализма в СССР. Механизм авторитарного режима оторвал нас от родной земли и мы пустили корни на земле латышей. Мы полюбили эту землю, и сегодня не многие из нас хотели бы ее добровольно покинуть.

Являясь жертвами всенародно осужденной системы, мы были вынуждены исполнять волю сталинского режима в Латвии. Следует признать, что лишь немногие из нас в тот период ясно осознавали как сам механизм этого режима, так и нашу роль в нем... Под влиянием сталинской национальной политики складывался определенный стереотип нашего мышления: нас послали в Латвию, чтобы освободить ее от фашистских захватчиков, чтобы помочь восстановить разрушенные города, чтобы охранять границы СССР на ее территории, и заполнить рабочие места на вновь строящихся фабриках и заводах. В соответствии с этим наше самоощущение и поведение здесь подчинялись определенной логике: мы являемся освободителями и покровителями латышского народа. У нас выработывалась психология «старшего брата», которому надлежит поучать, но не обязательно прислушиваться к подопечному, и тем более, осваивать его язык, историю и культуру. Нам более подходила идеология, освобождающая нас от этих «мелочей», при-

нуждающая брата к «взаимопониманию» на удобном для нас языке.

К сожалению, этот дух господствует и по сей день. Тому немало примеров. Телепередача «Горизонт» (16.10.88) — один из них. Старшеклассники одной из русскоязычных школ в ответах на вопросы журналиста, начали с деклараций об уважении к латышам, их языку, истории и культуре, а закончили признанием того, что имеют об этом весьма туманное представление. Один из них признался, что «не видел ничего привлекательного в национальной культуре латышей». Мы хотим спросить у вас, дорогие соотечественники, должен ли человек, живущий на территории другого народа, относиться к его культуре как к развлекательной программе? И не является ли нежелание знать язык коренного населения, язык, являющийся единственным ключом к его культуре, нарушением суверенитета Республики? Следует с горечью признать, что национальное высокомерие наших детей есть результат бескультурия, неинтеллигентности родителей и учителей.

Многие годы мы пользовались тем, что авторитарный режим подавлял любую попытку латышей отстаивать свое национальное достоинство. Такая ситуация позволяла нам жить спокойно, а официальной информации — представлять межнациональные отношения в Латвии (как и во всем Союзе) образцом дружбы народов. И лишь единицы русскоязычного населения, способные считать боль любого народа своей болью, а честь своего народа — своей честью, лишь они испытывали стыд и горечь за позорное поведение своего народа — «победителя». Однако, голос этих людей оставался «гласом вопиющего в пустыне» (а порой продолжал звучать в Сибири или на Колыме). Такое положение загнало гнойник межнационального напряжения глубоко внутрь.

Обнажить уродливость межнациональных отношений, вскрыть этот гнойник стало возможным лишь в условиях гласности: гласности в обсуждении вопросов истории Латвии, в анализе грубых ошибок ее экономического развития, правовых норм, экологической ситуации. Она побудила нас, русскоязычных, задуматься и поставить перед собой ряд острых вопросов.

1. Обязательно ли народу-освободителю следует оставаться на освобожденной территории? Не жажда ли ежедневной благодарности за акт освобождения задержала нас здесь почти на 50 лет?

2. Нельзя ли было помочь восстановлению и развитию Латвии после войны тем же путем, каким мы помогли ГДР, Польше и дру-

гим странам, не переселяя массы народов СССР на ее территорию?

3. Не следовало ли своевременно спросить у самого народа, его специалистов (экономистов, демографов, историков), какой путь экономического развития Латвии наиболее соответствует национальному укладу жизни, прежде чем разрушать хутора или бездумно развивать промышленность без местных сырьевых и трудовых ресурсов? И не является ли наша «помощь», которой мы так гордимся, грубым вмешательством в суверенитет Латвии? Кто оплатит новые и немалые затраты на ликвидацию экологических, экономических и социальных последствий такого «благодеяния»?

4. Не слишком ли гипертрофировано наше чувство хозяина на этой территории, которую мы позволяем себе рассматривать в качестве удобного места захоронения радиоактивных предметов из Чернобыля?

5. Не способен ли сам народ Латвии, давший Октябрю латышских красных стрелков, самостоятельно решать вопросы обороны своей страны и заключения соответствующих договоров о военной взаимопомощи?

Если мы честно ответим на эти и другие вопросы, то неизбежно приходим к выводу, что наша помощь, мягко говоря, была предложена народу не в той форме, которая соответствовала его нуждам и представлениям о демократии. Эта «помощь» сильно деформировала пути развития Латвии, лишила ее экономической самостоятельности.

Менторский стиль отношения к малым народам, великодержавный шовинизм, наделал немало бед не только в Латвии. Более 10 лет мы в системе Академии наук СССР (в Институте биологических проблем Севера) участвовали в изучении биологических и социальных проблем «малых» северных народов (чукчей, коряков, эвенов). И здесь проблему улучшения жизни северных народов решили по-своему и «с плеча». Постановили: детей с 2-х летнего возраста поголовно отнимать от матери и помещать в «цивилизованные» интернаты, где они получат воспитание в рамках европейской культуры. Родителей — переселить из обжитых традиционных жилищ — яранг в «перспективные поселки». Результатом такой «национальной» политики явился распад семьи: ребенок — в интернате (или во вспомогательной школе), отец — в тундре, мать — одна в поселке, где, кстати, лучшее жилье предоставлялось пришлому населению. Нарушились национальные традиции, способ хозяйствования и питания. В результате началось моральное разложение, пьянство, участились случаи самоубийства, возросла заболеваемость, сократилась продолжительность жизни. Иными словами, возникла угроза исчезновения нации. Попытки ученых бить в набат наталкивались на нежелание партийных органов считать эту информацию достоверной. До недавнего времени во внимание принималась лишь фальсифицированная статистика по национальному вопросу. Что же это как ни дискриминация под флагом интернационализма? Таким образом, национальная, а вернее антинациональная политика до последнего времени была примерно одинаковой в разных уголках нашей огромной страны, а помимо ее тем «ярче», чем меньше народ оказывал ей сопротивление.

Именно поэтому прогрессивная общественность должна приветствовать процесс национального возрождения. Это пробуждение не только объединило прибалтийские народы в борьбе с антинациональной политикой, но и заставила, наконец, многих из нас, представителей многонационального «русского» народа задуматься над своей позицией в этом вопросе.

Как могло случиться, что живя в Латвии более 40 лет, далеко не все из нас сочли нужным овладеть языком, через который мы только и можем понять душу народа? Понять, так ли уж несправедлив его гнев, направленный против антинационализма? Не слишком ли мы торопимся окрестить этот гнев «национализмом» (то есть национальным эгоизмом)? Не грешим ли мы сами национальным эгоизмом? Вольно или невольно мы повинны в том, что латыши становятся национальным меньшинством в Латвии, что их экономика, их культура развиваются не так, как хочет этого народ. Так стоит ли нам обижаться, если камень, брошенный в «систему жерновов», ненароком заденет и нас?

Находясь между двумя авторитарными государствами — фашистской Германией и сталинской Россией, Латвия не смогла сохранить свою независимость и волей или неволей (это особый вопрос) оказалась с нами. Многие латыши в то время возлагали надежды на этот союз. Мы же, как оказалось, не смогли оправдать их доверия.

Недоверие латышей, обусловленное историей наших отношений, мешает нам сегодня слиться в единый фронт, ведущий Латвию к прогрессу в областях экономики, права, политики. Мешает этому и недоверие значительной части русскоязычного населения к латышам. Оно вызвано непониманием того, что протест латышей направлен не против тех, кто осознает Латвию своей второй родиной, а против временщиков, несущих урон культуре и экономике страны. Это взаимное недоверие подстрекается людьми, не заинтересованными в демократических переменах. Это недоверие должно быть преодолено встречными шагами.

Латышский народ уже сделал этот шаг. Он поднял вопрос о необходимости этнического возрождения народов Латвии, о создании украинских, белорусских, русских, еврейских и других национальных обществ, национальных школ, национальной прессы. Мы живо откликнулись на этот призыв, порой забывая, что он впервые прозвучал на Объединенном пленуме творческих союзов Латвии, который некоторые из нас обвиняют в националистических настроениях.

Каким же должен быть наш встречный шаг? Мы считаем, что прежде всего нам следует осознать и открыто признать свою вину перед народом, доверие которого мы не смогли оправдать. Должен, наконец, свершиться акт покаяния. Многие нам возражат: «В чем вина русского народа, который сам стал жертвой сталинских репрессий и периода застоя? Ведь это наша общая беда, а не вина!» Дорогие соотечественники! Нам кажется, что наши страдания не оправдывают нас в глазах тех, кого мы принудили разделить с нами нашу беду. Известно, что каждый народ достоин своего правительства. Мы допустили сталинщину, мы не смогли сплотиться, чтобы противостоять ей, мы были молчаливыми носителями лжи, каждый из нас виновен как перед своим народом, так и перед теми народами, на чьи плечи мы взвалили часть своей тяжести. К тому же, кто из нас выступил или хотя бы усомнился в правомерности депортации латышей в Сибирь, в то время как мы заселяли Латвию?

Нашим вторым шагом должна быть помощь латышскому народу в восстановлении его прав. Вместо того, чтобы расширять свои права, мы должны приложить усилия к восстановлению справедливости. Справедливость требует реального двуязычия не только со стороны латышей; справедливость требует принятия безотлагательных мер к увеличению относительного и абсолютного числа представителей коренных народов Латвии: латышей, латгальцев, ливов; справедливость требует, чтобы их жилищные условия стали по крайней мере не хуже, чем у тех, кто прибыл сюда относительно недавно.

Мы должны, наконец, понять, что народ, живущий на небольшом и единственном в мире клочке земли, сам должен определять свою судьбу. (Разве, помещая чукотских детей в интернаты, мы не гордились мудростью нашей национальной политики?) Наше высокомерие достигло вершин, с которых мы перестаем видеть чаяния других народов, диктуем им свою волю, вмешиваемся в решение их национальных проблем. Постыдное недоверие к здравому смыслу латышского народа — разве не есть великодержавный шовинизм?

Нам следует понять и то, что настаивая на поголовном гражданстве жителей Латвии, мы тем самым претендуем на большинство русскоязычного населения, в выборах и референдумах, а следовательно, вновь рискуем навязать латышскому народу свою волю. Имеем ли мы на это право, вспоминая всю историю наших отношений? Ведь никто не может лишить нас советского гражданства. Оставаясь жителями Латвии, мы, как и прежде сохраним за собой право влиять на судьбу страны в целом.

Что же касается гражданства Латвии, то нам кажется, что мы, русские, украинцы, белорусы, поляки, евреи и другие национальности должны заслужить его большой душевной работой. Работой по освоению языка, культуры, истории Латвии, работой по завоеванию делом доверия народа, на земле которого мы живем. Так давайте же работать, дорогие соотечественники!

ТАТЬЯНА АРШАВСКАЯ, канд. биол. наук,
научн. сотр. НИИ эксперим. и клинич. медицины,
ВИКТОР АРШАВСКИЙ, канд. биол. наук,
ст. научн. сотр. Рижского мед. института

ЯНИС КАЛНАЧС

ВТОРЖЕНИЕ

(Продолжение. Начало в № 11)

Самая короткая рецензия была опубликована в газете «Brīvā Zeme» («Свободная земля»). Ее автор, идеолог диевтуров* и живописец Э. Брастиньш высказывает упрек, будто работы уже выставлялись на смотрах в Академии художеств, и делает предположение, что эти произведения были созданы в годы отрочества К. Падегса, когда мир казался юноше ужасающим, но особенно его задело, что в личности художника нет ничего латышского: «Это следовало бы перевести так: я хочу выглядеть испанцем, я работаю как француз, я притворяюсь равнодушным и хладнокровным, как англичане, я боготворю все, что не наше, и мне только неприятно, что меня могут принять за латыша».¹⁶ Похоже, Э. Брастиньша удивило, главным образом, как и многих зрителей и ценителей, то, что в работах Падегса есть поиск красоты и гармонии, но нет их обретения.

Почти все рецензенты, иронизируя по поводу удачно организованной рекламы, признают своеобразным и впечатляющим даже на уровне мирового искусства цикл «Красный смех». («... Падегс творит с пронзительной иронией, и потому его рисунки пригодятся в качестве хорошего материала для антивоенной пропаганды». Г. Шкильтерс, «Latvis»)¹⁷ Многие хотя и не осознали, зато почувствовали то новое, что Падегс внес в латышское искусство, — субъективную иронию, связанную с ощущением трагического контраста, но нередко упростили ее понимание до карикатуры.

С других позиций упрекает художника критик Аура в прогрессивном журнале «Domas» («Мысли»). Он считает антивоенный протест Падегса мещанским пацифизмом, не обнажающим конкретных причин войны.¹⁸

Скульптор Г. Шкильтерс выше всего на этой выставке оценил рисунки, а картины назвал неудачными попытками: «Он хочет быть «ультра модерн». Картины основательно недоработаны, хаотичны и преувеличены. Головы и фигуры кажутся цветовыми пятнами, без света и рельефа. Фигуры скорее химеры, чем люди, не соблюдены фактические пропорции рисунка. Наслаждение эти картины могут доставить тому, кто их не понимает».¹⁹

Самую благожелательную оценку дал мастер декоративного искусства и требовательный художественный критик Ю. Мадерникс. В «Jaunākās Ziņas» («Последние новости») он писал, что считает удачным даже обнаженный автопортрет, и признавал, что К. Падегс — современный латышский художник, сумевший для изображения жизненных противоречий своего времени найти подходящие выразительные средства: «К. Падегс экстравагантен, это темпераментный модернист, одаренный широкими и своеобразными художественными способностями. Красочная и многослойная жизнь нашего века требует от изобразительных искусств яркости ощущений и контрастов. Перенасыщенный культурой гражданин, кому доступны все мировые достижения, не может стоять на одном месте и удовлетворять сто раз виденными изображениями реальности в так называемых «ценных искусствах». Человеку двадцатого века необходимы новые, светлые впечатления, которые выше простых описаний природы, точных анатомических форм. Настоящее искусство само пишет законы своего внутреннего содержания, которые по плечу только избранным. Мастерство ремесленника доступно стало многим, но от ремесла до искусства еще далеко. Выставленные работы К. Падегса свидетельствуют, что он пройдет этот путь легко и играючи».²⁰

Выставка имела редкий для того времени доход. Ее посетили примерно 1500 человек. Она принесла 700 латов, из которых 500 латов пошло на покрытие расходов, связанных с устройством выставки, половина остальной суммы досталась деятельному менеджеру Х. Р. Лиепиньшу, а каждому участнику выставки пришлось всего по 50 латов. Но вместе с платой за несколько про-



Снятие с креста. Фото — Андрис Кривиньш. Картина находится в США.

данных работ этого оказалось немало и превысило первоначальные надежды.

Однако аристократическая реклама, хорошая посещаемость выставки, рецензии в газетах и слетни в Риге принесли и неприятные плоды. Кто-то из студентов Академии, видимо, побуждаемый завистью, пожаловался на Карлиса Падегса в Министерство просвещения, выражая сомнение, стоило ли осваивать этого денди, который сидит в роскошных кафе, рисует неприличные вещи и устраивает выставки, от платы за учебу.

Благодаря этому сообщению, а также вышеупомянутым слетням о М. Ковалевской, за несколько дней до закрытия выставки его дело рассматривали на заседании академического совета. Ректор В. Пурвитис сообщил членам совета, что он на основании неких конкретных, но не упомянутых сведений, задержал уже принятое решение об освобождении М. Ковалевской и К. Падегса от внесения платы за учебу. В. Пурвитис рассказал также, что, хотя М. Ковалевская нерегулярно посещает занятия на четвертом курсе, но в предыдущие годы занималась успешно и без недоразумений окончила третий курс по классу живописи и рисунка. О Карлисе Падегсе, который, судя по газетным сведениям, человек зажиточный, выяснилось, что он фактически беден, а средства в выставку вложил Лиепиньш. Это сообщили коллеги художника. М. Ковалевская и К. Падегс на сей раз отделались испугом, потому что голосованием было

* Диевтуры — религиозное течение.

решено: оставить решение в силе, а М. Ковалевскую предупредить.²¹

Во время выставки обратила внимание на Падегса и газета «Aizkulises» («За кулисами»). Этот еженедельник довольно низкого уровня специализировался на сплетнях, скандалах или пикантных подробностях из жизни известных в Риге людей.

После выставки он стал, наряду с газетой «Pedejā Bridī», вторым периодическим изданием, время от времени дававшим какие-то сведения о К. Падегсе. Обычно в этих статейках, неплохо соответствовавших вызывающему поведению бульварного денди, излагались довольно сомнительные сплетни, в том числе — рождественское пожелание К. Падегсу украсить росписью афишные тумбы или предупреждение барышням, чтобы не показывались в обществе художника, а то возникнут опасения, что он использует их в качестве моделей, а также указание замужним дамам не хранить в сумочках его фотографии, во избежание семейных конфликтов. Было также сообщение, что К. Падегс первым открыл весенний сезон (серое пальто, такая же шляпа, желтый шарф).

Вот образец стиля этой газеты — два эффектных, но крайне поверхностных описания его «амурных приключений»: «Не был ли он пьян? Так сказала некая школьница, ожидавшая в понедельник вечером трамвая у Больших часов. А он — стопроцентный испанец — с блаженной улыбкой подошел к школьнице и прошептал: «О прелестное существо...» Но она быстро вскочила в подошедший трамвай и уехала. Испанец же нетвердым шагом удалился, покачиваясь, в сторону «башенного» кафе».²²

И еще один.

«Падегс женится на англичанке Дж.? Стоял перед нами важный вопрос — кто в кого влюбился первым? Падегс в прекрасную «Регину» или она в Падегса? С другой стороны, П. уже занят. Художник скоро женится на красивой англичанке Дж., которая довольно богата и для своих лет весьма кокетлива. В таком случае перед Падегсом все пути открыты. Дж. хорошо говорит по-латышски и элегантна. Только она не появляется в обществе художников. Но куда исчезает художник каждый вечер ровно в десять?»²³

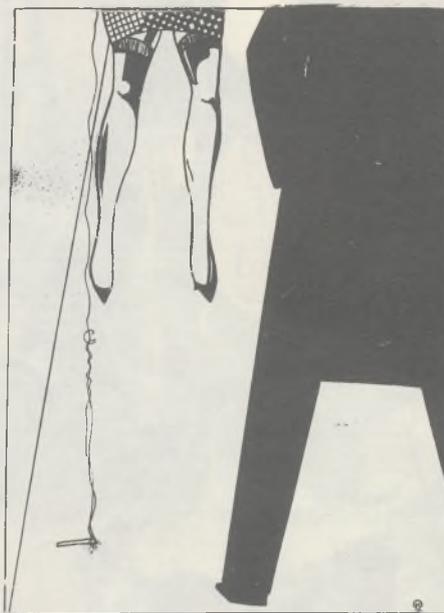
Скорее всего, большая часть этого — откровенные сплетни с привкусом пикантности. Возможно, он сам помогал кое-что выдумать, но в то же время это печатное издание сохранило и кое-какие факты, дополняющие довольно скудные наши сведения о жизни К. Падегса.

Во всяком случае, на выставках 1933 года Падегс завоевал непреходящее место в латышском искусстве. Не дожидаясь, пока придет его очередь быть признанным, он использовал и чрезвычайные средства, потому что у него просто не было времени. Но его значение в большой мере определяется тем, что Падегс первым в латышском искусстве последовательно использовал всеобъемлющую иронию, проявляя свой скепсис. К тому же ирония — признак высокой степени развития культуры, поскольку это не первичное, а опосредованное отношение к окружающему миру, заменившее прежнюю грусть, разочарование, отчаяние и восторг.

Первым значение К. Падегса точно определил Ю. Мадерниекс, написав в вышеупомянутой рецензии: «В лице Падегса наша графика заполучила нового, работающего в необычном направлении единомышленника».²⁴

В то же время Падегс участвовал в нескольких выставках объединения художников «Radigars». Это, одно из многих объединений, в конце двадцатых годов создали молодые рижские художники, в том числе несколько студентов Академии, и выдвинули следующие цели: способствовать развитию творческой индивидуальности каждого художника, оказывать моральную и материальную поддержку товарищам, создать хранилище художественных произведений объединения, устраивать совместные выставки. Но в «Radigars», в отличие от более известных обществ, таких, как группа рижских художников, «Sadarbs» («Сотрудничество»), «Zaļā Vārņa» («Зеленая Ворона»), Общество независимых художников, не было особенно ярких индивидуальностей, что частично возмещалось «соучастием» Падегса. Во всяком случае, самым блестящим в истории объединения был 1933 год, когда вместе с Падегсом выставлялись живописцы П. Штелмахерс, Ж. Суниньш, Н. Кулайнис, Рикманис, В. Вимба, Страдиньш, Удрис, О. Пампе, Э. Мелькис, скульптор Э. Сидрабс, прикладник Ж. Вентаскрастс.

Были устроены две новаторские для Латвии выставки на плэзере. В апреле «Радигарс» открыл первую из них, «Под липами» на улице Меркеля, напротив Верманского парка. Устроители выставки заявили, что к такому мероприятию их подтолкнули, во-первых, дорогие музейные помещения, во-вторых, уверенность, что зрители неохотно посещают весной выставки. Поэтому они и решили организовать выставку на улице, выдвинув такие бойкие принципы: «Искусство — всем!



Ноги. 1930 г.



Из цикла «Красный смех». Колыбельная. 1931

Всегда — новое! Твори, дух!» На этой выставке, кроме уже экспонировавшихся, были и новые работы К. Падегса. Среди них — «Портрет Дориана Грэя». Даже на плохой газетной репродукции в дьявольской усмешке Дориана угадываются черты самого автора. Назойливо обнаженное тело героини романа Золя Нана, несколько рисунков с социальной тематикой: «Тайная вечеря» (семья рабочего у длинного, кривого и пустого стола), «Я прошу цианистого калия, у меня дома жена и маленькие дети» (судя по воспоминаниям, был изображен упавший на мостовой изможденный мужчина), «Мои широкие плечи» (мускулистый мужчина на фоне кривых городских домов).



Тайная вечеря

Вторую выставку, тоже на пленэре, «Radigars» устроил в Юрмале, на пляже в Майори, «у каменной стены сгоревшей танцплощадки Кронберга».²⁵ К. Падегс представил 10 работ, судя по названиям это были в основном картины маслом, которые уже выставлялись на зимней выставке. Это мероприятие не было таким популярным, как выставка «Под липами», а настроение участников характеризует инсценированная фотография, где угрюмые художники с дубовыми венками в руках что-то «хоронят» в яме, вырытой в желтом морском песке.

Сотрудничество с «Radigars» не было ни особенно тесным, ни длительным. Карлис Падегс был приглашен туда незадолго до выставки «Под липами», посетил заседания объединения только несколько раз, а уже во время юрмалской выставки правление упрекнуло его, что он вредит интересам «Radigars» и будет исключен, если попытается выставляться самостоятельно.²⁶ И хотя в книге протоколов полных собраний и заседаний правления «Radigars» нет записи о том, как выбыл Падегс, в 1934 году он уже не участвовал в выставках.

Одновременно с активной выставочной деятельностью К. Падегс учился в пейзажной мастерской под руководством В. Пурвитиса и окончил ее на удивление быстро, фактически за год освоил программу трех-четырех лет.

В учебной системе В. Пурвитиса большое значение имело изучение природы. После летних каникул воспитанники показывали, что сделали за лето. Профессор давал краткие оценки, часто не указывая конкретных ошибок, а настаивая на более полном изучении природы и полагаясь на самостоятельность студентов.

Такие работы осенью 1933 года предъявил К. Падегс, но среди десяти картин маслом, вероятно, не было ни одного традиционного для мастерской пейзажа, потому что он все лето работал в Риге.

Как вспоминают студенты, одновременно с ним посещавшие мастерскую Пурвитиса, профессор никогда не указывал К. Падегсу на недостатки композиции или колорита картины. В одной статье, написанной в 1933 году, где речь идет о рождественской

выставке студенческих работ, В. Пурвитис излагает свои педагогические принципы: во-первых, развивать в художнике чувство колорита, которое позволит ему изображать перемены в природе, смену времен года, влияние света и атмосферы. Во-вторых, добиться умения создавать синтетические формы. Очевидно, картины К. Падегса не противоречили этим требованиям, потому что В. Пурвитис упоминает его как одного из лучших воспитанников: «... радуют успехи Падегса».²⁷

Пурвитис уважал самобытность Падегса, а его отношение к самостоятельному студенту сохранялось в воспоминаниях, причем в разных вариантах, но все они сводятся к одному выводу: «Я ничему не могу его научить, он уже считает себя состоявшимся. Поэтому я позволю ему взяться за дипломную работу».²⁸

Картины К. Падегса, в противовес его рисункам, которые с теми или иными возражениями всегда признавались работами, выполненными на высоком уровне, уже со времен первой выставки оценивались куда критичнее. Похоже, многие искусствоведы и критики не принимали их всерьез. Курьезный факт — Я. Силиньш в обзоре «Латышская живопись»²⁹, который в конце тридцатых годов публиковался в журнале «Senatne un māksla» («Старина и искусство»), среди более сотни живописцев того времени даже не упомянул Падегса.

Наряду с этим нельзя не считаться с мнением многих его конкурсов-живописцев, высоко оценивавших его работы, и среди них — Э. Калниньша³⁰, считавшего, что Падегс научил его соотношениям отдельных тонов.

Очевидно, К. Падегс серьезно относился к живописи, потому что на всех его персональных выставках рядом с рисунками экспонировались и картины. Всего он создал около 80 работ³¹, из которых, насколько известно, сохранилось около тридцати, относящихся к началу и середине тридцатых годов. Возможно, в последние годы жизни он занимался только графикой. Большинство картин — портреты, отдельные фигурные композиции, а также пейзажи, созданные в основном, когда К. Падегс учился у В. Пурвитиса. Но и они в целом довольно далеки от пейзажей профессора, написанных в стиле реального импрессионизма. Наряду с несложными видами Риги («Оперный театр вечером»), Падегс часто обращался к экзотическим, даже фантастическим пейзажам, больше полагаясь на воображение, а не на изучение конкретного объекта.

Такова и дипломная работа «Док» («Порт»). На эскизе — заходящее солнце, на среднем плане — остров или дымящийся пароход, а на переднем корпус судна и стройные стволы деревьев. В одном из вариантов он компоновал в пейзаж и свое лицо, обращенное к зрителю.

В окончательном варианте он отказался и от заходящего солнца, и от автопортрета. На нем — корпус огромного корабля, мощные подъемные краны и несколько согбанных рабочих на переднем плане, а вдали — море и противоположный берег залива. Темно-коричневые тона переднего плана, с вышками красного цвета, остро контрастируют со светлой зеленоватосиней водой. В картине — почти бесконечная глубина пространства. Падегс добился этого, используя прием, часто применявшийся в древнекитайской живописи, — объединив в одном произведении несколько «точек зрения». Порт изображен прямо, а водный простор с пароходом — как бы сверху.

Похоже, что комиссия, оценивавшую дипломную работу, поразило непривычное пространственное решение, или же она просто сочла картину экспериментом, но члены комиссии (В. Пурвитис, Р. Пельше, Г. Элиасс, Р. Зариньш, К. Рончевскис, Я. Куга, Б. Дзенис, К. Миесниекс, В. Тоне, Б. Виперс, З. Ланданс, А. Аннусс и К. Убанс) при закрытом голосовании подали 6 голосов «за», четыре — «против», двое воздержались. Этого было недостаточно, чтобы считать работу принятой. Дальнейшее обсуждение протекало напряженно и драматично, поэтому стоит привести его описание полностью: «Далее после голосования руководитель мастерской доцент Элиасс обратился с письменным предложением аннулировать результаты голосования и провести его заново, так как произошло недоразумение: некоторые голосовавшие были уверены, что речь идет о выдаче диплома, а не об окончании художественной части обучения в мастерской. Ректор, со своей стороны, считает мотивы, приведенные в предложении старшего доцента Элиасса, недостаточными для аннулирования решения совета, и подает письменный отзыв о том, почему он, как председатель совета, не может согласиться на пересмотр решения. Когда после того, как отзыв ректора был зачитан, старший доцент Элиасс продолжал настаивать на своем предложении, ректор, передав руководство собранием проректору профессору Р. Пельше, покидает зал заседания как руководитель мастерской, лично заинтересованный вопросом о Падегсе.

Проректор профессор Пельше предлагает совету решить закрытым голосованием, нужно ли вообще обсуждать предложение старшего доцента Элиасса об аннулировании голосования. В



К. Падегс (первый слева) среди студентов Академии художеств

голосовании участвуют одиннадцать членов совета и восьмью голосами против трех решено обсудить предложение старшего доцента Элиасса. Приглашенный в зал заседания и ознакомленный с решением совета, ректор принимает на себя дальнейшее руководство и выдвигает предложение старшего доцента Элиасса — провести новое голосование по поводу работы Падегса «Порт».

Девятью голосами против двух, при одном воздержавшемся, решено заново провести голосование.

В связи с таким решением совета ректор предлагает голосовать за поданную К. Падегсом работу «Порт». При закрытом голосовании, десятью голосами «за», одним «против», при одном воздержавшемся, работа Падегса «Порт» признана достаточно профессиональной для окончания художественной части обучения в пейзажной мастерской.³²

Так он окончил в 1933 году Академию художеств (но только по художественной части, потому что освоению теоретических предметов, по крайней мере в последний год обучения, мешала интенсивная выставочная работа). К. Падегс и позднее не воспользовался возможностью сдать экзамены.

Он окончил учебу очень рано — в 22 года. Другие художники обычно получали дипломы в 25—29 лет, а его товарищу по совместной выставке В. Калнрозе было 38 лет.

Несколько недель спустя после защиты дипломной работы в газете «Pēdējā Brīdī», всегда проявлявшей интерес к К. Падегсу, одновременно были опубликованы два довольно противоречивых сообщения. В первом сообщалось, что гостивший в Риге ректор Варшавской художественной академии, посетивший и Академию художеств, к общему удивлению, приобрел только одну работу, и это была картина Падегса «Морг». Похоже, что название случайно оказалось искаженным, потому что в воспоминаниях фигурирует похожее слово «Марокко» (следовательно, африканский пейзаж). Но первое название лучше соотносится со вторым сообщением — это фотография с подписью «График К. Падегс в связи с недавней покупкой цилиндра».



Четверо бродяг

¹ Рижский Музей истории литературы им. Райниса. Инв. № 168468, стр. 49.

² В. Ирбе. Про живопись. Р., 1926, стр. 7.

³ М. Лиелкрасе-Лиетланде. Мои воспоминания о художнике Карлисе Падегсе. Написанные в 1982 г. октябрь.

⁴ Разговор с П. Улитисом 4 апр. 1979 г.

⁵ А. Эглитис. Маэстро. Р., 1936, стр. 153.

⁶ Там же, 154—155 стр.

⁷ Й. Вайварс. Таинственный рижский джентльмен с моноклом и в испанской шляпе — художник Карлис Падегс. «Pēdējā brīdī», 4 дек. 1932 г.

⁸ Дон Алонсо. Два часа у Латвийского экстравагантного художника Карлиса Падегса. «Pēdējā brīdī», 1 янв. 1933 г.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

¹¹ Доналд Дей. Критика господ К. Падегса и В. Розенберга. Выставка живописи и графики К. Падегса и В. Розенберга. (Каталог). Р., 1933.

¹² Е. Казайне. Художник Карлис Падегс. Воспоминания, написанные в 1980 г. Собственность автора.

¹³ Разговор с Р. Улманисом, 5 февр. 1977 г.

¹⁴ Разговор с В. Калнрозе. 17 янв. 1982 г.

¹⁵ Художник и клоун (вырезка). Дело 13, материал № 6 научного сектора кафедры истории искусства Академии художеств им. Т. Залькална.

¹⁶ А. Брастиньш. Выставка картин Карлиса Падегса и Валдиса Розенберга. «Brīvā Zeme», 13 февр. 1933 г.

¹⁷ Г. Шкильтерс. Выставка работ К. Падегса и В. Розенберга. «Latvis», 2 февр. 1933 г.

¹⁸ Аква. Выставки. «Domas» 1933, № 2, стр. 123.

¹⁹ Г. Шкильтерс. Выставка работ К. Падегса и В. Розенберга.

²⁰ Й. Мадерниекс. Пульсы эпохи в нашем искусстве «Jaunākās Ziņas», 27 февр. 1933 г.

²¹ Центральный государственный архив Октябрьской революции Латвии, 485 f., 2 апр., 349. 1, 8—9 стр.

²² «Aizkulīses», 19 мая 1933 г.

²³ Там же, 24 марта 1933 г.

²⁴ Й. Мадерниекс. Пульсы эпохи в нашем искусстве.

²⁵ Латвийский Центральный исторический архив. 1747 f., 1 апр. 442. 1., 35 стр.

²⁶ Там же, 79—80 стр.

²⁷ Я. Силиньш. Выставка работ молодых художников. «Сегодня вечером», 4 янв. 1933 г.

²⁸ Разговор с Е. Калныншем. 3 марта 1979 г.

²⁹ В книге также опубликованы: Силиньш Й. Размышления об искусстве. Р., 1942.

³⁰ Разговор с Е. Калныншем.

³¹ Рижский Музей истории литературы им. Райниса. Инв. № 168468, стр. 52.

³² Центральный государственный архив Октябрьской революции Латвии, 485 f., апр., 343. 1., 132 стр.

³³ «Pēdējā brīdī», 18 февр. 1934 г.

СНИМАТЬ ЛИ НА КЛАДБИЩЕ ШАПКУ?

(ПОЛЕМИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ)

Казалось бы, чего требовать от эпохи тотальной растерянности? Куда девать руки — в бока или в карманы? Что делать с сигаретой — вынуть при разговоре изо рта или передвинуть в угол? Куда плюнуть? И вообще — плевать ли? А самое худшее — когда снимать шапку? Кто знает, какую шапку можно не снимать, когда ее можно не снимать, а когда — нельзя? С кем говоря, нужно на морозе сжимать в кулаке ушанку, и какой безупречной точке зрения нужно следовать, чтобы гордо расхаживать в кепке или шляпе? Но речь, собственно, не о том. Таким махровым цветом расцвело невежество, что пропало и осознание святости культуры народа, осознание святости мест, куда приходят, замедляя шаг, с приношениями, с почтением. . .

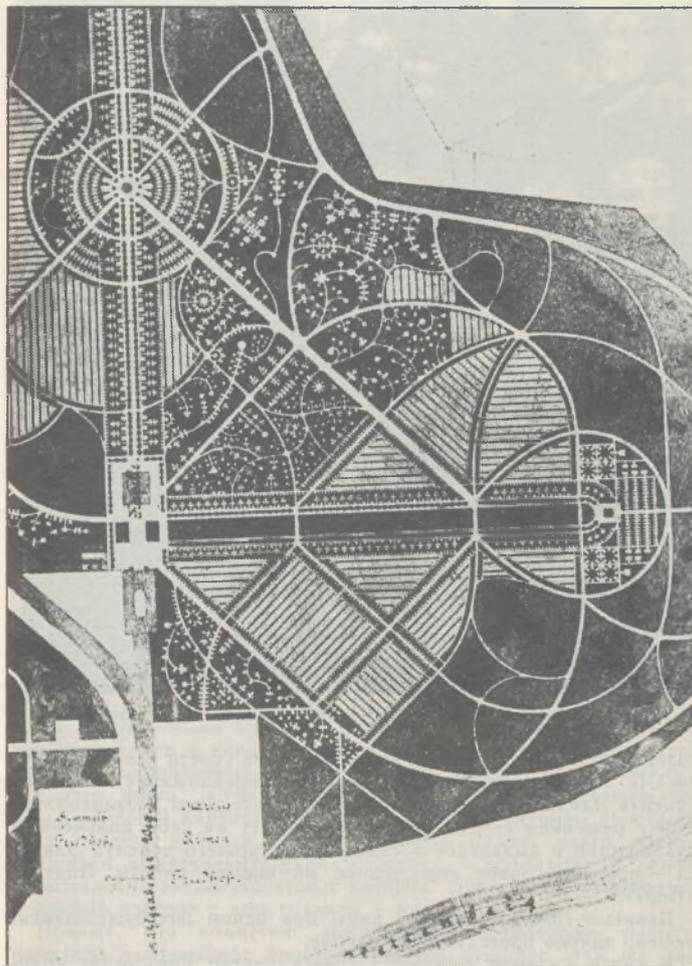
Не пережитая ли нами волна атеизма стала причиной того, что из лексики и из сознания оказалось изгнано слово «душа» и понятие «душа», и вместе с этим «рецидивом идеализма» нашу плоть покинули и другие проявления духовности? Раз уж «тело» не в чести, его можно раздеть донага, как это происходит уже которое десятилетие не только в заброшенных и тихих склепах именитых, — стервятники методически оскверняют и могилы стрелков, жертв первой мировой войны, могилы граждан. Во имя чего? Настолько ли обнищал советский человек, что ему нужно выламывать золотую коронку из бабушкиного рта или искать в горке праха мерцающую генеральскую шпагу? Легко было бы все свалить на принесенный дальними ветрами синдром иммунодефицита, когда общественность утратила иммунитет против насилия, неэтичных поступков, осмеяния своих предков и, следовательно, своих родителей.

Со времени организованных Фондом культуры субботников вопросы культуры кладбищ оказались в центре внимания общественности. Мы переходим от индивидуальной деятельности к коллективным акциям, которые теперь — дело совести и чести.

Заглянем в историю. По языческим обрядам балтийских племен, мертвых хоронили в «огненных могилах», места коллективного захоронения отмечали каменными могильниками, над могилами устраивали холмики, хоронили в священных рощах и других изолированных местах. Во взлелеянной христианской этикой сфере мемориальной культуры мы встречаемся с захоронениями в замковых капеллах, под сводами церквей, под полом приходского помещения, во дворах монастырей и церквей или поблизости от них. Известны родовые склепы аристократов, представляющие архитектурный интерес, гармонирующие с пейзажем, вблизи усадеб, в парках. В Курземе на территории почти каждого большого крестьянского хозяйства был тенистый уголок с несколькими деревьями, между которыми стояли чугунные кресты и надгробия.

Растущая плотность населения, войны, эпидемии создали необходимость расширения территории захоронений, что особенно важно было в городах, густонаселенных пунктах. В период с 1701 по 1773 год в Риге, в Петровской церкви и на прилегающем к ней кладбище было похоронено 3576 человек. Вспомним чуму 1773 года, переметнувшуюся в Прибалтику из России. Императрица Екатерина II издала указ о том, что из гигиенических соображений запрещается хоронить в пределах городских стен и в церквях. Так начинается развитие кладбищ, не связанных с сакральной архитектурой.

Как город является сложным комплексом различных социально-культурных наслоений и форм, так и кладбище — зеркало соответствующей социальной градации. Именно потому, что каждое кладбище уникально как некрополь выдающихся людей, биографических данных, мемориал фольклора и образцов культуры, со своей историей, традициями захоронения, пейзажными и дендрологическими особенностями, планировкой, собранием художественно ценных каменных,



Фрагмент проекта планировки Лесного кладбища

железных и чугунных оград, памятников и памятных знаков, образцами малой архитектуры (капеллами, звонницами, воротами). Идеальным вариантом с сегодняшней точки зрения было бы сохранить самые значительные кладбища полностью, ухаживать за ними, реставрировать их или создавать в них «зоны шадающего отношения». В них, как в архитектурных или градостроительных ансамблях, имела бы значение каждая деталь, каждая мелочь, потому что они тоже — государственный фонд накопления материальных ценностей.

Наше отношение к культурным ценностям прошло несколько этапов, которые можно было бы сравнить с кругами Ада, по которым провел Данте. Самое старое открытое кладбище Риги — Большое кладбище — существует с последней трети XVIII века. За 200 лет оно превратилось в некрополь, где, по скромным подсчетам, похоронено несколько сотен людей разных национальностей, сыгравших свою роль в истории и культуре Латвии. Его территория площадью в 27 га в свое время была опоясана оградой по эскизам Кр. Хаберланда, и там БЫАИ сконцентрированы самые значительные и ценные памятники, склепы и каплицы



Ряды каплиц на еврейском кладбище во Вроцлаве (ПНР)



Эскиз к проекту капеллы Лесного кладбища, архитектор Х. Вернерс

в стиле позднего барокко, классицизма и в неостиле. Разрушенная ограда помогла кому-то выполнить план по сдаче металлолома, а кладбище, на котором с XIX века живы традиции культуры захоронений — с высокими холмиками, цементными окантовками, гранитными и мраморными памятниками, гранитными обелисками, крестами, чугунными и железными оградками, — стало полуофициальной каменоломней и местом добычи пригодного дляковки железа. Ведомственная подчиненность и переменчивые планы благоустройства и реконструкции, к сожалению, только способствовали уменьшению количества оригинальных скульптурных работ и памятников, изготовленных из дорогого материала. Пусть это докажет кратковременная юридическая зависимость Большого кладбища от Латвийского общества охраны памятников и природы и его руководителей — Р. Верро, И. Путеклиса, А. Катлапса — чья позиция в начале 80-х годов свидетельствует о желании снизить количество памятников архитектуры, скульптуры и прикладного искусства на мемориальном кладбище. По авторитарному предложению руководства Центрального совета общества вышестоящим инстанциям, было оправдано и санкционировано уничтожение трех склепов, а также «с целью экономии средств, необходимых для реставрационных работ», была затребована повторная экспертиза Министерства культуры, чтобы «найти возможность согласовать снесение дополнительно одиннадцати склепов» (см. письмо Общества охраны памятников и природы от 20 октября 1983 года).

Медленно исправляются ошибки. После консервации ряда склепов и создания депоzitария в начале семидесятых годов первые давшие ощутимый результат работы были проведены в 1986—1987 годах. Управление реставрационных работ при Министерстве культуры произвело косметический ремонт некоторых склепов (притом кое-что погибло, а кое-что было упрощено), восстановило звонницу, металлические дверные створки у ряда склепов и т. д. В свою очередь, группа работников Треста садов и парков регулярно работает, пы-

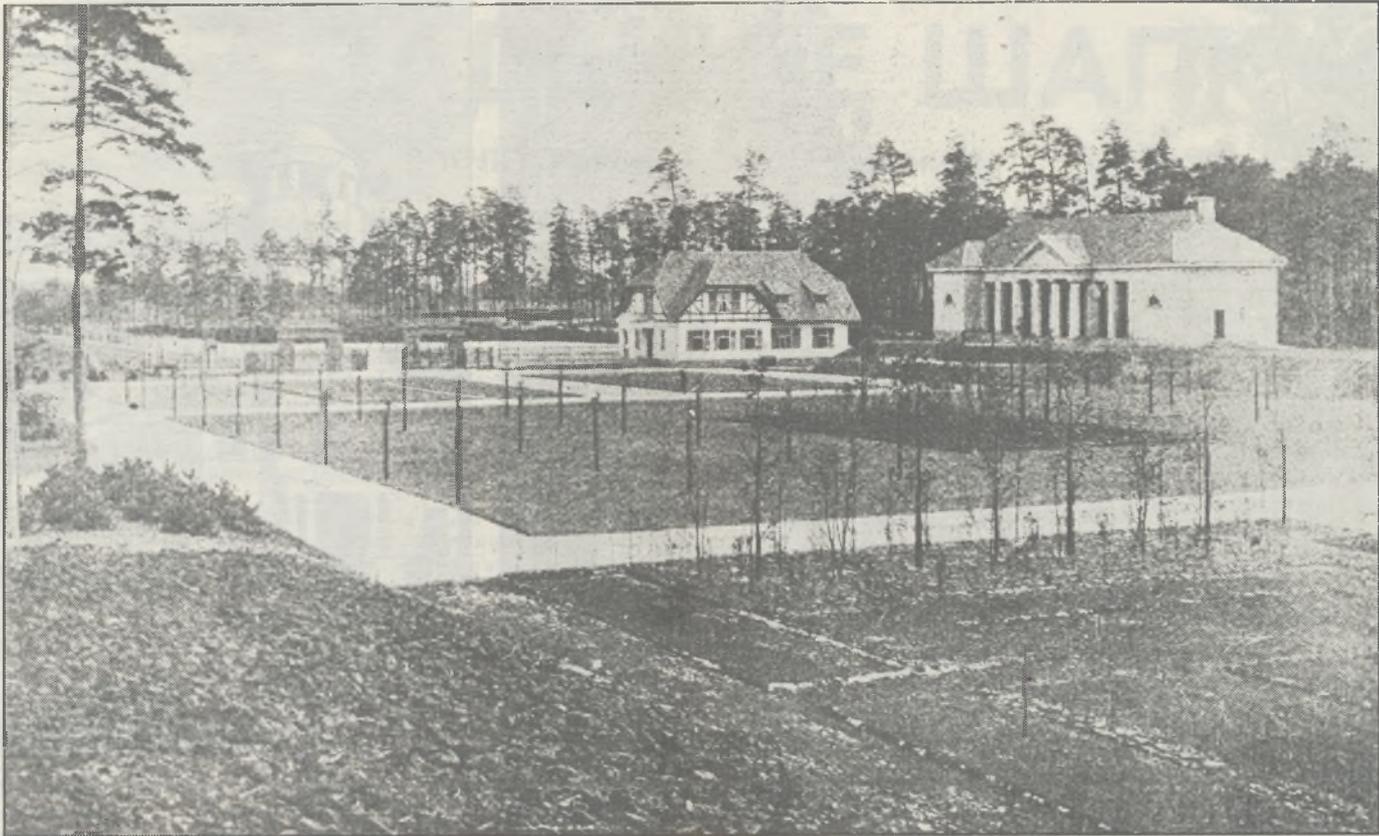
таясь воплотить в жизнь программу благоустройства Большого кладбища. Но как работать, если еще в середине 1988 года не выработан институт «Коммуналпроект» проект реконструкции кладбища. После 1800 года была сформирована регулярная сеть дорожек, которая соответствовала рационалистическому подходу классицизма к формированию территории, в 1840—1850-х годах были посажены аллеи. Но первоначального плана в теперешней пространственной организации кладбища не узнать. Велосипедные дорожки, тропинки для собачьих прогулок нарушили оригинальную планировку, исполосовали территорию кладбища бог весть в каком порядке.

Недостает контроля и надзора, слишком «осторожно» составлен в Министерстве культуры список памятников, подлежащих охране, критерии сохранности и необходимого ухода за памятниками колеблются, а в результате «случайно» или по недоразумению исчезают материальные ценности, портится и демонтируется уникальная ковка по металлу. Что же дальше?

Несколько лет назад, еще до начала кампании за перестройку, по инициативе архитектора П. Блумса был возрожден интерес общественности к этой проблеме. На волне высокого эмоционального подъема удалось провести несколько масштабных субботников на кладбище Мартиньша в Пардаугаве. А лучше бы памятники так и тонули в трясины — по крайней мере, они после приведения в порядок не привлекли бы внимания своими достоинствами... Наступило равновесие, против культуртрегерства «высочек» встал «здоровый смысл» народа, в котором проявились духовные потребности и уровень мышления большинства. Кладбище Мартиньша теперь напоминает Древний Рим и его некрополь вдоль Виа Аппиа. Разница только в возрасте. Наше на 2000 лет моложе, а выглядит примерно так же.

И сегодня общественное мнение только пытается обратить внимание «отцов города» на необходимость искать финансы, штаты работников, мощности, лимиты, убедить службы ох-

ОЯРС СПАРИТИС СНИМАТЬ ДИ



Партер на перекрестке главной аллеи Лесного кладбища перед каплицей и административным зданием. 1913 г.

раны порядка в необходимости патрулирования в местах, находящихся под угрозой, где без надзора «хранятся» материальные ценности, народное достояние стоимостью в сотни тысяч рублей. Разве этот капитал не числится на балансе, если никто за него не несет юридической ответственности? О моральной ответственности спрашивать напрасно, за нее не карают.

Можно экспонировать в склепах ценные образцы прикладного искусства и скульптуры, можно формировать зоны осмотра, можно иные ценности перевезти на склады — вот лишь некоторые идеи, возникшие у тех, кто задумался о сохранении мемориального искусства. Более или менее удачное решение нашли в Ленинграде. Там «музейфицировали» исторически сложившееся кладбище бывшего монастыря Александра Невского (Лавры). Там посетители имеют возможность в определенное время, в сопровождении научных сотрудников или в индивидуальном порядке, познакомиться с главными некрополями XVIII—XIX веков — Лазаревским и Тихвинским кладбищами.

Самое старое — Лазаревское. Оно возникло еще при жизни Петра I и предназначалось для захоронения государственных деятелей, придворной аристократии, выдающихся художников и ученых. Некрополь имеет не только историческое значение (здесь похоронены М. Ломоносов, Дж. Кваренги, И. Старов), но и художественное — многие надгробия выполнены известными мастерами своего времени. Тихвинское кладбище открыто в 1823 году и со временем превратилось в пантеон русской творческой интеллигенции. Большой интерес представляют памятники П. Чайковскому, М. Мусоргскому, Н. Римскому-Корсакову, И. Крылову, В. Стасову, а также прочий инвентарь захоронений. В 1936—1937 годах оба кладбища были реконструированы, многие исторические личности перезахоронены, сюда перевезли памятники с других, ликвидируемых кладбищ. Это уже сознательная культурная политика, с возможными ошибками, но и с определенными критериями, системой охраны и

своей перспективной программой реставрации. Хороший пример. Близко от Риги, да в руки не дается.

Медленно, но целенаправленно расширяют познавательное значение мемориального искусства своих некрополей в Польской Народной Республике. Существует точка зрения, будто зажиточные евреи при любом правительстве и социальном строе умели хорошо приспособиться и оказывали влияние на духовную жизнь общества, активно действовали в финансовой сфере, что отражалось и на их материальном благополучии. Показателем их жизненного уровня можно считать репрезентативный и импозантный кладбищенский инвентарь второй половины XIX и начала XX века. Вроцлавское еврейское кладбище было образовано в середине XIX века на городской окраине в виде обнесенного высокой каменной стеной квартала (для замкнутой национальной и религиозной структуры характерен сепаратизм, изоляция своих святынь и ритуалов от посторонних глаз). Захоронения размещены длинными рядами, регулярными прямоугольниками, а по периметру внутренняя сторона стены украшена нишами, алтарями, обрамленными стелами, балдахинами под колоннами, склепами. По бокам центральной аллеи — созданные по индивидуальным проектам гробницы, по характеру близкие к склепам нашего Большого кладбища. В стилистическом отношении здесь царит эклектизм, предлагающий то парафразы пирамид и папирусовых колонн, то декоративного искусства мавров, то всевозможные варианты традиционного стиля.

В 1984 году, в связи с аварийным положением, здесь начались комплексные исследовательско-реставрационные работы, обновления отдельных памятников. Кладбище еще закрыто для посетителей, а уже издан отличный путеводитель с планом, указанием самых значительных захоронений, персоналиями, из которых следует, что тут похоронен известный теоретик социализма Фердинанд Лассаль (1825—1864), архитектор Макс Шлезингер (1831—1919), многие ученые, музыканты, врачи, художники, промышленники и др.



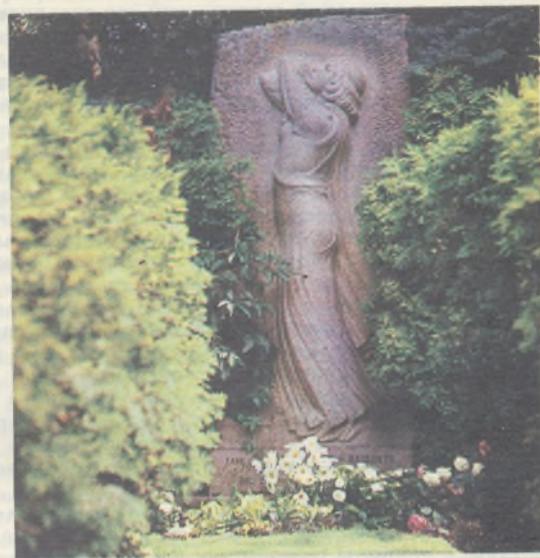
Кладбище во дворе монастыря в Бауцене (ГДР)



Часть территории Большого кладбища после «расчистки» от памятников



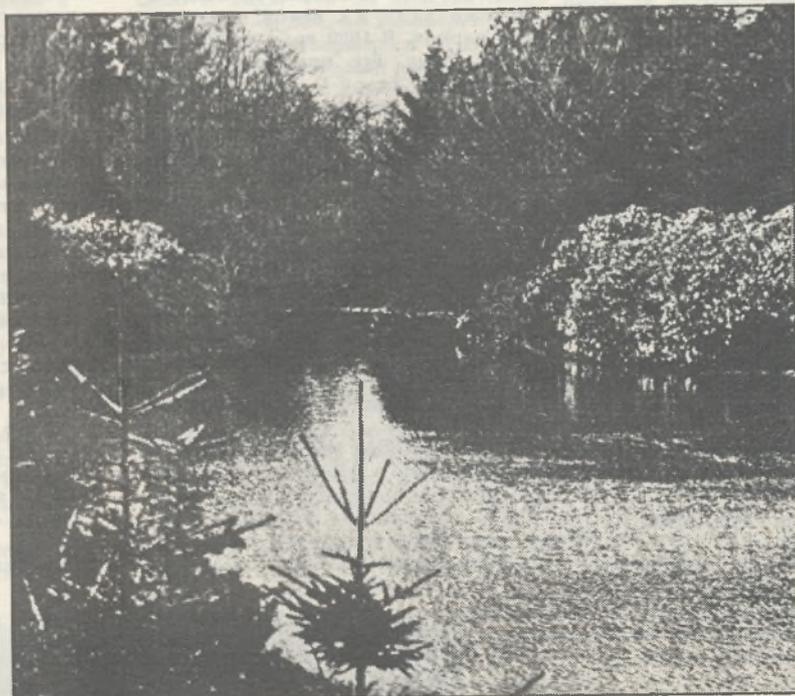
Пейзаж Ринзбергского кладбища в обычном состоянии. Бремен ФРГ



Типичное для Лесного кладбища оформление могилы. Обнесенная живой изгородью кулиса с памятником



Чугунный балдахин над фамильным склепом семьи Верманисов. Его стоимость по оценке комиссии Министерства культуры 17 тыс. руб. Уничтожен при благоустройстве



Часть пейзажа с водоемом на Олефдорском кладбище

Репродукции Оарса Спаритиса
Цветные фото Петериса Мартинсонса и Оарса Спаритиса

Можно получить сведения о такой методике и в Литве, где по инициативе Литовского общества защиты памятников и краеведения проводятся обследования сельских кладбищ республики, фиксируются все имеющиеся там кресты, памятники, расшифровываются надписи, и эту капитальную работу можно приравнять к «переписи населения», пусть и ушедшего от нас. Полученные культурно-исторические материалы составляют тома машинописных листов, регулярно публикуются в соответствующих по тематике сборниках.

Из всего виденного можно сделать вывод, что еще не исчезло на земле почтение к предкам, хотя в будничной жизни немцы, например, избегают говорить о смерти, и даже в воспитательных целях не обсуждают эту тему с детьми. Но там куда более своевременно звучит голос рассудка и бережливости, который в критикуемой нами капиталистической системе заставляет учитывать каждый грош, и кладбища постоянно содержатся в порядке, потому что реконструировать и реставрировать обойдется дороже!

В конце XIX века в Бремене появилось Ринсбергское кладбище. На нем в обычное будничное весеннее утро можно увидеть шестерых мужчин за работой. Открываются ворота, потому что территория ограждена основательным забором. Кое-где растут крупные деревья. Рельеф у кладбища сложный — с пригорками, с длинным и извилистым каналом, который завершается большим неправильной формы прудом. Посреди пруда остров с несколькими каплицами и родовыми склепами, с остальной территорией его соединяют два моста. Здесь возникают эмоции, которые связаны с тем, что внес в мировую культуру символизм, с несколько экзальтированной и театрально-глубокомысленной скорбной семантикой «Острова мертвых», каким изобразил его на своей картине А. Беклин.

И здесь есть часть территории, где больше не хоронят, но за ней не перестали ухаживать, не снесли ни одного памятника. Двое рабочих косят здесь и собирают траву. Они проходят по всем дорожкам между склепами, которые не обсажены живой изгородью, а маркированы каменными или бетонными бордюрами, немного возвышающимися над травой. А вот и массовое кладбище, траву здесь выкашивают без особых трудностей, в том числе и на могилах.

На остальной территории кладбища без растащивания экспонируются практически все памятники, во всем их стилистическом и типологическом многообразии.

Двое других рабочих чистят пруд — один на понтоне управляет землечерпалкой, другой правит моторной лодкой и баржей, груженной илом, которую везет к дальнему концу пруда. Там работают экскаваторщик, который разгружает баржу, и шофер, увозящий ил.

Приятно идти по дорожкам, еще влажным после дождя. Они сохраняют старую планировку, не заросли и не заасфальтированы, а покрыты гравием. Он быстро впитывает влагу и на нем не остается луж.

Если продолжать поиски европейских традиций, то следует заглянуть в Германию на рубеже XIX—XX веков, в страну уютной культуры садов и парков. В 1989 году мы будем отмечать 80-летие Лесного кладбища. Его прототипом тогдашний директор Рижских городских садов Г. Куфалтс выбрал Олсдорфское кладбище, которое посетил с целью изучения. Ему свойственны свободная пейзажная планировка с использованием прихотливого рельефа, взаимосвязь лужаек, прудов, насаждений с памятниками и каплицами.

Новинкой были низкие, почти вровень с землей надгробия, увитые плющом, засаженные цветами и вечнозелеными растениями, контрастирующие со старомодными бордюрами в два фута высотой, металлическими цепями, жестяными и бумажными венками, которые еще употреблялись в Риге. Пример Олсдорфского кладбища показывает, как можно использовать принципы паркового пейзажа, сеть изогнутых и серпантинных дорожек, террасы, группы чужеземных и местных деревьев, «зеленые улицы» и аллеи, где прямые коридоры ограждены живой изгородью от рядов могил.

Из подписанного Г. Куфалтсом 20 декабря 1908 года проекта следует, что доминантой территории Рижского Лесного кладбища должны стать две аллеи, образующие прямой угол, одна — ведущая на север, другая — на восток, а холмистое пространство между ними было разделено сетью радиальных, изогнутых и круговых дорожек. Было задумано

от ворот по направлению к теперешней Березовой аллее в северном направлении проложить дорогу для траурных процессий, так называемую «Виа фунералис», в начале которой, напротив административных зданий (архитектор В. Нейманис) планировали построить грандиозную капеллу (автор Х. Вернерс). Поскольку дальнейшему благоустройству кладбища помешала первая мировая война, капеллу так и не построили, и территория, предназначенная для траурной дороги, была отдана под захоронения. В результате замысел репрезентативной главной аллеи не был реализован, и теперь на плане кладбища она заметна лишь по нескольким кварталам прямоугольной конфигурации, которые сливаются с секторами нерегулярной планировки. Так же не реализована идея эффектного пантеона, который был задуман в виде двух концентрических кругов.

Естественно, что доминантой кладбища оказалась ведущая на восток липовая аллея, которая функционально соответствует интимной, приглушенной атмосфере кладбища, не так, как задуманная «Виа фунералис» — бесконечно длинный и неуютный путь, подавляющий все человеческие чувства участников процессии.

Первой на Лесном кладбище была похоронена 25 ноября 1912 года Лизе Вейдеман, но официальное освящение кладбища состоялось только 19 июня 1913 года. В районе восточной аллеи впоследствии были похоронены выдающиеся государственные деятели и представители интеллигенции — В. Олавс, Я. Порукс, А. Деглавс, А. Юрьянс, Я. Розенталс. В конце главной аллеи на почетном месте был в 1927 году захоронен первый президент Латвийской республики Я. Чаксте. В конце двадцатых годов, когда структура планировки кладбища уже сформировалась, единственным местом, отвечающим требованиям пространственной и идейной доминанты, был полукруг, завершающий аллею. Нельзя забывать, что в эти годы в латышском искусстве складывалась концепция пространственного, конструктивного и содержательного решения монументальной мемориальной скульптуры, и она переживала тогда период взлета. Она воплощена в пейзажном решении и в самом памятнике З. Мейеровицу (Ж. Смилтниекс, 1929), в Братском кладбище (1924—1936), в памятнике Райнису (1935), и в эту же картину вписывается монумент Я. Чаксте (К. Янсонс, 1935).

В 20—30-х годах в разработке пейзажей рижских кладбищ участвовал директор рижских парков А. Зейдакс. Он не внес ничего нового, не менял планировки. Восточная аллея Лесного кладбища была расширена, хорошо просматривался памятник, весь день освещенный солнцем. Между рядами лип тянулся зеленый «партер», состоящий из деревьев, посаженных с целью разрушить первоначальный ансамбль «буржуазного» президента. Это противоречило тогдашним принципам формирования мемориального ансамбля. С этой точки зрения неверно было заполнить аллею рядами захоронений, необоснованно было воздвигать мемориал В. Лациса в центре аллеи, что наводит на мысль об идейном противостоянии обоих монументов. Этим разбита на отдельные пространства часть зеленых насаждений, которая с психологической точки зрения должна лишь поддерживать эмоциональный настрой, а не нагнетать атмосферу. Вспомним, как «разряжает» настроение участников траурного шествия замедленный проход по большой аллее Братского кладбища.

Конечно, Лесное кладбище было и остается красой и гордостью нашего города, которому слышатся похвалы со всех сторон за своеобразную поэтическую атмосферу некрополя, за концентрацию выдающихся произведений латышской скульптуры, за заряд духовной энергии и народного духа, а более всего — за то, что здесь — место наших философских размышлений. Благодаря кому мы получаем такое разнообразие впечатлений? Здесь взаимодействуют одновременно климат, рельеф, преобразованная человеком природа, слияние истории народа и судеб тех, кто двигал его культуру...

Кого за это надо благодарить? Тех, кто неустанно (но все ли 80 лет его существования?) поддерживал кладбище на высоком уровне мемориальной культуры. Уже в 1909 году, когда кладбище существовало лишь на бумаге, прозвучали слова: «Если объединенному управлению кладбищ удастся на новом Лесном кладбище создать новые ценности для блага города и его обитателей, то ему будет принадлежать будущее».

ВАДИМ РУДНЕВ

ВВЕДЕНИЕ В XX ВЕК: ПРАГМАТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Истина в речевом акте

До сих пор мы исходили из того, что существует некий замкнутый художественный текст и некая, тоже замкнутая в себе, реальность. И затем спрашивали: как отличить одно от другого? Но представим себе обычную для искусства XX века ситуацию, когда в рамках одного художественного текста возникает другой, то есть ситуацию «текст в тексте», о которой говорилось в статье «Поэтика модальности» (Родник, № 7). В «Мастере и Маргарите» Булгакова фраза «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город» одновременно является фразой из романа Мастера, который читается Маргаритой, и началом повествования о Пилате, которое по сравнению с московскими событиями романа обладает чертами высшей реальности. Таким образом, она относится к трем речевым пластам: к обычной русскоязычной речевой деятельности, к языку романа Булгакова и к языку романа Мастера о Понтии Пилате. Эта фраза уже внутри булгаковского романа задается к о с в е н н ы м художественным контекстом: это роман, написанный героем романа, то есть художественное высказывание «в квадрате». Денотатом художественного высказывания является само это высказывание как элемент возможной речевой деятельности в языке, которому оно принадлежит. Но ведь для Маргариты, читающей роман Мастера, таким «естественным языком» является язык романа Булгакова. Таким образом, фраза «Тьма, пришедшая со Средиземного моря...» — будет означать самое себя два раза: внутри художественного языка булгаковского романа ее денотатом будет являться возможность ее произнесения в рамках основного текста романа; вне его это будет аналогическая фраза русского языка, имеющая денотатом логическую валентность — то есть являющаяся либо истинной, либо ложной.

Но представим себе, что в романе о Пилате есть еще один роман, и так до бесконечности. Такого рода бесконечные построения характерны для романтической литературы («Мельмот Скиталец» Чарльза Метьюрина, «Рукопись, найденная в Сарагосе» Яна Потоцкого). Часто мы читаем в романах стихи, написанные героями. До некоторой степени мы воспринимаем эти стихи как неживые, как восковые цветы. Пастернак выделил стихотворения Юрия Живаго в отдельную главу, завершающую роман. Мы воспринимаем эти стихи и а ф о н е романа, они, так сказать, построены из слов этого романа, это как бы интенциональные стихи, отсылающие нас не к реальности жизни Пастернака, а к нарративной художественной реальности. Это стихи, сотканные из слов несуществующего мира.

И вот почти каждый художественный текст, сколь бы примитивным или даже низкопробным он не был, всегда стремится к тому, чтобы инкорпорировать в свою структуру элементы другого художественного языка, как правило, более примитивно организованного. Делает он это для того, чтобы создать иллюзию собственной правдоподобности. Эта нехитрая уловка встречается почти в каждом бульварном романе, когда мы встречаем фразу: «В романах пишут то-то и то-то, в настоящей же жизни все происходит по-другому».

В классической опере XX века речитатив является эквивалентом г о в о р е н и я. Чтобы подчеркнуть это, чтобы слушатель «забыл», что перед ним условное по своей природе искусство, герои оперы еще и п о ю т, то есть в сюжет оперы вводятся номера, организованные жанрово или стилистически более жестким языком. Так в «Пиковой даме» Чайковского исполняется дуэт «Мой маленький дружок...», воспроизводящий тему Allegro моцартовского клавирного концерта.

Но в XX веке соотношения основного и «дочернего» художественных текстов чаще всего строятся не как включение, но как пересечение. При этом не всегда понятно, где кончается текст первого порядка и где начинается текст второго порядка. Именно это и происходит в «Мастере и Маргарите».

Ситуация «текст в тексте», интерпретируемая таким образом, чрезвычайно популярна для классического послевоенного кинематографа. Вспомним фильм «Все на продажу» Анджей Вайды: душераздирающий крик, кровь на снегу, затем команда «стоп» — и рельсы подновляются свежей краской. Еще более головокружительная ситуация в фильме Бунюэля «Скромное очарование буржуазии», когда герои, сидящие за столом, вдруг обнаруживают, что их показывают на сцене, что они — актеры; тогда все в ужасе разбегаются, кроме одного, который в этот момент просыпается — оказалось, что все это он видел во сне.

Соотношение естественного языка и художественного интенционального языка строится наподобие л е н т ы М ё б и у с а: внутреннее незаметно переходит во внешнее, а внешнее — во внутреннее. Соотношение текста и реальности строится не как проекция художественного языка, интенционального по своей природе, на экстенциональный язык, описывающий реальность, но как сложный перепутанный клубок, в котором языки разной степени интенциональности переплетаются подобно тому, как в обычной речевой деятельности переплетаются эстетическое и неэстетическое начала. В речевой деятельности мы не всегда выводим из проверенных посылок истинные умозаключения. Очень часто мы вообще не произносим высказываний, имеющих логическую валентность, мы напеваем, рассказываем анекдоты, отдаем команды, притворяемся, разыгрываем друг друга, просто шутим и тому подобное.

И здесь вообще уместно задать вопрос Понтия Пилата: «Ч т о е с т ь и с т и н а?» Потому что даже бесспорно истинные высказывания чаще всего только кажутся таковыми. Ведь для того, чтобы знать, действительно ли высказанное в предложении суждение является истинным, надо, чтобы была возможность это проверить, верифицировать. Но проверить это чаще всего невозможно. Потому что даже, если речь идет о таких простых вещах, как если бы мы сказали «Идет дождь», глядя в окно и видя, что он действительно идет, то всегда можно спросить: «А почему вы уверены, что вам это не приснилось?»

Когда мы утверждаем нечто, то опираемся на исходные данные. Эти исходные данные необходимо проверять — и так до тех пор, пока мы не окажемся перед необходимостью какие-то исходные посытки принять на веру. Здесь мы вновь возвращаемся к тем принципам эпистемологии XX века, о которых говорилось в статье «Направление времени в культуре» (Родник, № 3). Поскольку исходные посытки невозможно проверить (принцип неполноты), постольку необходимо их считать истинными (принцип доверия) и исходя из этого, строить модель действительности, используя как можно больше языков описания, взаимосключающих по своей сути (принцип дополнительности). Таким образом, истина представляет собой лишь удобную форму, которую мы придаем миру, подобно пространству и времени в кантовском истолковании. Мы в каком-то смысле обречены на то, чтобы не сомневаться в истинности тех или иных высказываний (иначе нам пришлось бы очень трудно, мы бы, более того, не могли и шагу ступить). Представители прагматизма, философского направления, сложившегося в США в начале века, утверждали, что истинно то, что полезно считать истинным. Русский философ А. А. Богданов определял истину как о р г а н и з у ю щ у ю ф о р м у ч е л о в е ч е с к о г о о п ы т а. В 40-х годах XX века английский философ Джордж Эдвард Мур прочитал речь «В защиту здравого смысла». Он доказывал существование внешнего мира, произнося фразу: «Я знаю, что это моя рука», и при этом демонстрировал свою руку. Он считал эту фразу примером абсолютно достоверного знания. Выступление Мура явилось тем не менее началом длительной полемики. Основной аргумент противников Мура заключался в том, что он, по их мнению, употребляет глагол «з н а ю» неправильно и неуме-

стно, не так, как он употребляется в обычной речи. Когда действительно знают, то не говорят об этом. Само же употребление выражения «Я знаю» скорее говорит о сомнениях в этом знании. В обычной же речи употребление этого выражения означает совсем другое. Приведу пример одного из оппонентов Мура американского философа Нормана Малькольма:

Дочь смотрит телевизор, а поскольку ей следует сесть за пианино и заниматься музыкой, мать говорит: «У тебя завтра урок музыки». Дочь раздраженно отвечает: «Я знаю, что у меня завтра урок музыки».

При таком употреблении выражения «Я знаю» не подразумевается ни наличие доказательств, ни провидательность или компетентность говорящего в той или иной области, ни даже присутствие уверенности (субъективной или объективной). В данном случае «Я знаю, что Р» равнозначно высказыванию «Не надо мне напоминать, что Р».

Итак, высказывания «Я знаю, что Р» не является свидетельством истинного знания. Но дело в том, что в реальной речевой деятельности вообще встречается масса предложений, которые в принципе не могут высказываться ни истинных, ни ложных суждений. Разговорная речь, как правило, вообще не имеет форму правильных предложений, наделенных субъектом и предикатом. Чаще всего это обрывки фраз, интерферирующих друг с другом, незаконченных, оборванных на полуслове. Представим себе продавщицу продовольственного магазина, которая на протяжении 8 или даже 12 часов рабочего дня слышит и выполняет бесконечные словесные просьбы покупателей, при этом среди них, как правило, нет ни одного истинностного высказывания. Выглядит это примерно так (приводим расшифровку реальной магнитофонной записи в магазине, взятую из книги «Русская разговорная речь: Тексты». М.: Наука, 1978, с. 282):

Апельсины: Три не очень больших//; Штучек семь/ маленькие только пожалуйста//; Мне четыре покрупней дайте//; Один большой огурчик мне//; Один длинный потолок//; Вот тот кривой взвесьте//; Что-нибудь грамм на триста найдите// Капуста: Один покрупче//; Больше один//; Мне два маленьких крепеньких//; Будьте любезны вот тот кочешок с краю//; Один кочешок получше найдите пожалуйста//

Покупатели совсем не заняты тем, что высказывают истинные или ложные суждения. Суть этих «языковых игр» (языковыми играми Л. Витгенштейн называл жанры речевой деятельности) сводится к тому, чтобы побудить продавца к совершению определенных поступков. Рассматривая этот и подобные случаи, мы забираемся в самую «гущу» речевой деятельности, которая по большей части и состоит из таких «игр». Здесь встречается очень мало предложений индикативной модальности, и очень много высказываний, принадлежащих к ирреальным наклонениям. А ведь только индикатив, рефлексивная модальность, описывающая реальность, имеет логическую валентность, то есть может быть истинным или ложным («Поэтика модальности». Родник, № 5). Какую истину выражает высказывание «Иди сюда»? Только то, что говорящий хочет, чтобы было истинным высказывание «Ты идешь сюда», адресованное к определенному человеку. Но ведь мы в первом разделе этой статьи показали, что косвенные контексты определяют художественные высказывания. Теперь же оказывается, что подавляющее большинство формально главных предложений в реальной бытовой речевой деятельности являются функционально придаточными.

Каждое высказывание, читаем ли мы его в книжке, произносит ли его с кафедры профессор или бормочет пьяный в канаве, является прежде всего речевым актом, то есть частью самой действительности, а не рефлексией над действительностью. И в этом плане можно сказать, что каждое высказывание представляет собой скрытый косвенный контекст, скрытое придаточное предложение. То есть в определенном смысле язык говорит только о себе самом, а не о реальности, ибо он сам является этой реальностью. Ведь кроме языка никакой реальности по сути дела у нас нет. Иначе не пришлось бы Муру захищать своей рукой и доказывать, что он знает, что это она. И это означает также, что по сути дела каждое высказывание потенциально является художественным высказыванием, и это только дело наших установок воспринимать его как истинное. Мы уже показали, что эта истинность не многого стоит. В любую минуту любой диалог можно свести на шутку. («Ты говоришь серьезно? — Да нет, я пошутил»), а шутка — это же нечто близкое к эстетической речевой деятельности.

Теория речевых актов «декавалифицировала» истинностные высказывания при помощи так называемой перформативной гипотезы, в соответствии с которой любому индикативу «Дело обстоит так-то и так-то» на уровне глубинной

структуры предшествует перформативный глагол говорения. То есть эта фраза на глубинном уровне звучит так: «Я говорю тебе, чтобы ты слышал и понял, что дело обстоит так-то и так-то». Таким образом, еще до того как быть высказанным, предложение теряет свою логическую валентность.

Что же все это значит? По-видимому, то, что классическая логика не подходит для описания языковых процессов. В начале XX века наряду с неклассической физикой образовалась и неклассическая логика, одной из разновидностей которой является модальная логика, оперирующая понятиями необходимости, возможности и случая. Эти основные понятия модальной логики, разработанные еще Аристотелем, во многом соотносятся с лингвистическими модальностями, соответственно индикативом, императивом и конъюнктивом. В послевоенное время было разработано большое количество разновидностей модальных логик, из которых определены срезы естественного языка — так называемые интенциональные логики: логика норм и запретов (деонтическая), логика приказов и вообще императивов, логика речевых актов (иллокутивная). Одним из наиболее общих понятий модальной логики является понятие возможных миров, то есть возможных состояний, положений вещей, которые могла бы принимать действительность, тех параллельных путей, по которым могли бы протекать события. При этом наш действительный мир является лишь одним из возможных. Вот как интерпретирует это понятие один из ведущих современных логиков финский ученый Яакко Хинтика:

Одним из наиболее старых и наиболее полезных понятий логической и философской теории модальностей является понятие возможного мира. Оно восходит к Лейбницу и позволяет нам очень просто истолковать основные модальные понятия.

При этом необходимость приравнивается к истинности в каждом возможном мире и возможность к истинности в одном из возможных миров.

Представим себе, что два человека общаются между собой. В этом случае миры каждого из них будут пересекаться. В чем-то они согласны друг с другом, в чем-то понять друг друга не могут. При этом некая фраза будет ими обоими восприниматься как истинная в том случае, когда они понимают одну и ту же вещь одинаково, а ложность будет означать только то, что один из них не согласен с мнением другого. Но представим себе, что существует возможный мир третьего человека, который в ответ на фразу, воспринимающуюся как истинная в возможных мирах первых двух собеседников, скажет: «Нет, это неправда». Это будет означать просто, что в данной точке их миры не пересекаются. То есть суждения не могут быть истинными или ложными сами по себе. Таковыми их делают человеческие мнения. Например, муж говорит жене, что он был в кино, в то время как на самом деле он, предположим, играл в покер. Означает ли это, что он хочет сказать: «Истинно, что я был в кино, но я знаю, что это неправда»? Информацию всегда передают кому-нибудь. То есть когда он говорит, что он был в кино, в то время, как он сам знает, что он там не был, он тем самым хочет внушить собеседнику, что их миры соприкасаются, в то время как это не так. Вообще говоря, в возможном мире жены нашего героя и в ее модели возможного мира ее мужа эта фраза будет истинной (до тех пор, пока ее кто-нибудь не опровергнет). Предположим, что имеется приятель, который знает «истинное» (истинное для него и для его друга) положение дел, а именно то, что он не был в кино. Тогда в его дальнейшем поведении относительно данного факта будет несколько возможных вариантов (несколько возможных миров). Он может общаться со своим приятелем так, как будто ему ничего не известно; он может сказать ПРАВДУ жене приятеля; наконец он может сказать приятелю, что сказал его жене правду, но на самом деле этого не сделать. В каждом из этих поворотов событий, фраза «Я был в кино тогда-то и тогда-то» будет менять свою логическую валентность, то есть становиться то истинной, то ложной.

Но мы можем спросить: *Ведь на самом деле известно, был ли этот человек в кино или нет? Не придется признать, что, заданный таким образом, вопрос не имеет смысла. Конечно, сам этот человек знает, что он не был в кино, но ведь он также знает, что «это его рука». Просто если мы ему скажем (в духе фильма Бююэля): Ты думаешь, что ты играл в покер, а на самом деле ты был в кино и видел себя играющим в покер, но потом забыл об этом, — то, чтобы не сойти с ума, наш приятель вынужден будет все-таки придерживаться своей версии. Именно в этом смысле Витгенштейн говорит, что мы обречены на знание. Подобным образом интерпретируемая прагматическая, модально окрашенная теория истины тесно связана с этическими проблемами, потому что, когда кто-то говорит, что это добро, а это зло, или это правильно, а это нет, то он*

высказывает суждение, имеющее определенную логическую валентность, а мы уже убедились, что истинность или ложность высказывания может быть приложена только к конкретному положению вещей (возможному миру). И это соответствует тому положению Витгенштейна, согласно которому этическое суждение вообще не может быть высказано — этика может быть выражена только в поступке человека.

Но при этом надо сказать, что если бы все это было не так, если бы все истинные суждения были бы истинными во всех возможных мирах, то есть если бы все истины были бы необходимыми истинами, то это было бы равносильно тому, что никаких возможных миров, никаких вариантов поведения не существует, а существует только нечто одно. А одно — это значит ничего, потому что для того, чтобы сказать, что есть нечто одно, нужно уже при этом быть другим. То есть все наши рассуждения имеют оптимистическое зерно. Да, говорим мы, мы не можем всего понять до конца, но если бы можно было бы все понять до конца, то это было бы равносильно тому, что нас самих не было бы. Мы не сможем общаться с человеком, с которым мы абсолютно во всем согласны, потому что общение в этом случае потеряло бы смысл. Именно нечто подобное происходит между героями лермонтовского романа Печорин и доктором Вернером, которые настолько хорошо понимают друг друга, что им остается только молчать или говорить вздор (пример проф. Ю. М. Лотмана).

Но ведь существуют же так называемые логические истины, необходимые, истинные во всех возможных мирах! Так называемые законы логики — закон рефлексивности ($A=A$), закон исключенного третьего «Либо А, либо не А». Но это не совсем так. Если бы логические законы были абсолютно истинными, то человек имел бы возможность на основании их предсказывать с достоверностью будущее. Если существует такой объект А, а котором известно, что он тождествен объекту Б, то в силу того, что А необходимо тождественно самому себе, из этого следует, что А тождественно Б тоже с необходимостью (это доказательство взято нами из работы американского логика Сола Крипке). Но если любое тождество является необходимым тождеством, то тогда из необходимых посылок всегда можно создать необходимые выводы. То есть если из А с необходимостью следует Б, то человек всегда может из неких исходных данных в настоящем с необходимостью знать будущее. Но это не соответствует действительности.

Человек может просто не знать о необходимом тождестве А и Б. Он может думать, что это разные вещи. Происходит это в так называемых «референтно непрозрачных» контекстах, то есть в таких ситуациях, когда истинное значение выражения затемнено. Например, имена Цицерон и Туллий означают одного и того же человека (пример американского логика Уилларда Куайна). То есть Цицерон = Туллий. При этом предложение «Цицерон не является Туллием» необходимо ложно. Но в контексте мнения, когда мы говорим: «Х думает, что Цицерон не является Туллием» — эта ложность исчезает, так как мы имеем дело все с тем же фрегевским косвенным контекстом, в данном случае контекстом мнения, который Куайн называет референтно непрозрачным. Другой пример. Француз, никогда не бывавший в Лондоне привык иметь мнение, которое он высказывает французской фразой «Londres est joli» («Лондон — красивый»). После долгих странствий он оказывается в Англии и живет в одном из самых некрасивых районов Лондона, причем он обучается английскому языку постепенно, никогда в центре города не бывает и не отождествляет город, в котором он живет и который называет London, с тем городом, который он называл, живя во Франции, Londres, поэтому для него одинаково истинными оказываются обе фразы «Londres est joli» («Лондон красивый») и «London is not pretty» («Лондон некрасивый»).

Для того, чтобы снять противоречие между существованием необходимых истин и одновременно существованием выводов, которые эти необходимые истины опровергает, Я. Хинтикка вводит понятие логически невозможного возможного мира. Именно в подобном мире, который возможен с точки зрения познания (эпистемически), но невозможен логически, и живет француз, который думает, что «Londres est joli», а «London is not pretty» (пример взят из статьи С. Крипке «Загадки контекстов мнения»). С точки зрения концепции Хинтикки, необходимая истина это такая истина, которая необходима во всех логических, но не эпистемически возможных мирах.

Исходя из всего сказанного, можно дать следующие два определения эстетической речевой деятельности.

(1) Будем говорить, что искусство слова, или поэзия, определяется возможностью в языке говорить по-разному об одном и том же, или, точнее, приписывать одному денотату различ-

ные смыслы. Именно возможность говорить по-разному об одном определяет с т и л ь как ключевую категорию поэтического языка.

(2) Будем говорить, что искусство предложения, или проза, определяет возможность в языке говорить об одном и том же как о разном, или, точнее, приписывать различные (а тем самым противоположные, т. к. их всего два) истинностные значения одному и тому же денотату (индивидуальному концепту). Возможность говорить об одном и том же как о разном определяет с ю ж е т.

Второе определение, как видим, гораздо более сильное, т. к. в нем речь идет о нарушении тождества экстенционалов, т. е. о несоблюдении фундаментального логического закона рефлексивности ($A=A$). Поэтому мы вводим здесь впервые употребленное Р. Карнапом понятие *и н д и в и д н о г о к о н ц е п т а*, т. е. денотата, экстенционала, «существующего» в возможном мире не-первопорядкового языка. Так в контексте референтной непрозрачности («Х думает, что Цицерон не является Туллием»), «Туллий» и «Цицерон» являются а з н ы м и индивидуальными концептами, тогда как в первопорядковом языке эти два слова необходимо тождественны одному индивиду. (Марку Туллию Цицерону). Именно возможность существования в языке непрозрачных контекстов обеспечивает возникновение сюжета, т. к. в чистом виде сюжет всегда построен на том, что одно принимается за другое. В комедии ошибок такой сюжет строится либо на сходстве близнецов, либо на том, что человек до неузнаваемости изменяет свою внешность. Примерно то же самое происходит в детективах, где одного за другим всех персонажей по очереди принимают за преступника. Но и более сложные сюжеты, не относящиеся к массовой литературе, сводимы к схеме неадекватной дескрипции. Так сюжет «Гамлета» построен на том, что Гамлет узнает, что король Клавдий является убийцей его отца. То есть понятие «убийца моего отца» (Бертран Рассел называл такие понятия определенными дескрипциями) он приписывает в качестве предиката имени «Клавдий». То есть сюжет построен на опровержении изначального референтно непрозрачного контекста: «Гамлет думает, что убийца его отца и король Клавдий — различные люди». Когда Гамлет узнает, что у б и й ц е й е г о о т ц а является м у ж е г о м а т е р и, то соотношение истинных значений в его актуальном мире резко изменяется. Эту ситуацию можно описать как необходимо сюжетопорождающую (ср. миф об Эдипе: Эдип узнает, что он убил своего отца и женился на своей матери). То же относится и к ключевым сюжетным ходам. Гамлет думает, что за портьерой стоит Клавдий. Думая, что он убивает Клавдия, он убивает Полония.

Таким образом, поэзия и проза возникают в языках принципиально разных уровней сложности. Для возникновения поэзии необходим язык с развитой семантикой, то есть возможность приписывать одному денотату различные смыслы. Для возникновения прозы необходим язык с развитой прагматикой, то есть язык, моделирующий возможность ошибочного отождествления разных денотатов (индивидуальных концептов) или наоборот принятия одного денотата за разные.

В бытовой речевой деятельности, условно говоря, поэзии соответствует ситуация, когда человек остроумно шутит, а прозе — ситуация, когда он рассказывает анекдот.

Логика истинного и ложного есть логика языка и логика разделения. Пока мы говорим, мы обречены на истину и ложь. Пока мы разделяем художественный и научный дискурс, мы не приходим к чему-то абсолютному. Абсолютная истина всегда мистична, то есть молчалива. Поэтому, как пишет Витгенштейн, люди, которым после долгих сомнений стал ясен смысл жизни, все же не могут сказать, в чем этот смысл состоит. Поэтому и религиозный текст не является ни научным, ни художественным. Когда христианин читает или слушает евангельскую притчу, для него абсолютно не важно, происходили или нет на самом деле события, о которых там рассказывается. Религиозное мышление не апеллирует к логической истине, ибо доказать ничего невозможно, оно обращается к невербальной интуиции человека. В этом смысле характерна практика дзен-буддизма, вообще отрицающего все логическое и провозглашающее намеренно абсурдные высказывания, которые не сообщают нечто истинное или ложное человеку, но просто переворачивают его сознание, если, конечно, сознание готово к этому перевороту.

Один монах спросил Дзесю: «Что ты скажешь, если я приду к тебе с ничем? Дзесю ответил: «Брось его на землю». Монах возразил: «Я же сказал, что у меня ничего нет, что же мне тогда остается бросить?». «Если так, то унеси его», — ответил Дзесю.

ДЖЕММА СКУЛМЕ, художница

Надо готовиться к выборам. Все прочее нужно отложить. Надо серьезно подумать о лидерах. Сейчас они меняются, ситуация благоприятная. Я оптимистка. Но работа будет сложная. Начиная с первичных партийных организаций. Надо оценить соотношение сил, подумать, как добиться, чтобы новые светлые силы могли взять перевес в условиях нашей укоренившейся бюрократии. И я считаю, что хватит с нас косметики, сколько можно разукрашивать покойников! Когда речь идет о требованиях своего народа, надо быть максималистами. Я очень надеюсь, что отпадут старые формы, регламентирующие «постепенное избрание». Меня угнетают все эти рекомендации, эти лавины бумаг, за которыми нет никакого реального содержания, нет живого человека. Я не могу признать нормальным это формулирование человеческой сути «по определенным образцам», я даже не могу написать без ошибок эти «бюрократические шедевры». Уж лучше взять кисть и посадить на эти бумаги пятно поярче! Поскольку мне отвратительно, когда мной пытаются манипулировать. Если все будет продолжаться по-старому и будет стимулироваться «сверху», я, чего доброго, в конце концов положу на стол свой партбилет.

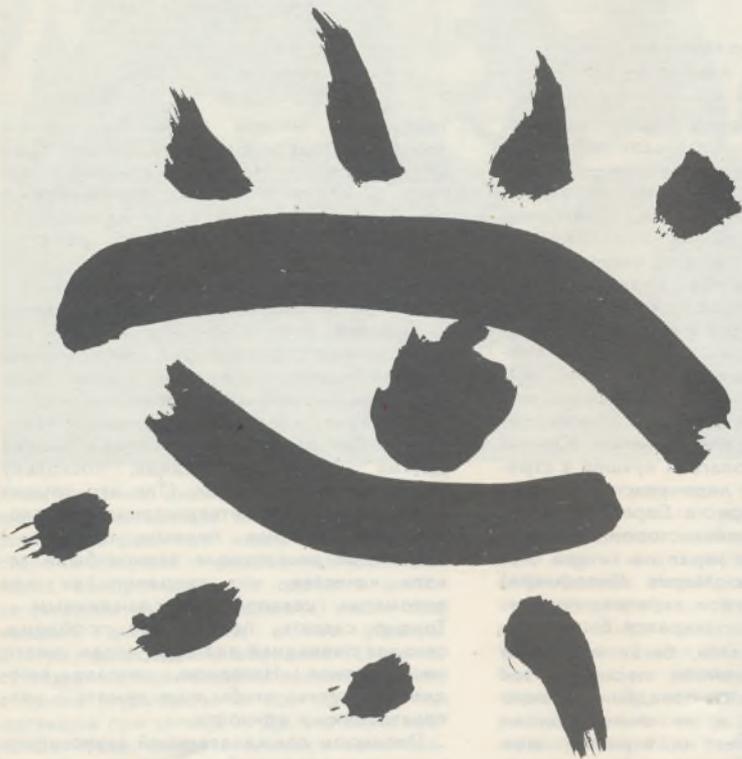
Выборы на всех уровнях должны быть радикальны. Очень радикальны. Поскольку наше правительство еще не «укомплектовано». Народ стал очень активен, и нельзя загонять его еще в одну антисоциалистическую апатию. Но я думаю, что это уже невозможно. Боже, храни нас!



ПЕТЕРИС ПЕТЕРСОНС, драматург и режиссер

После всех кардинальных событий 1988 года в Латвии кое-что нам придется начать с нуля. Что? Кажется, вскоре должны появиться произведения искусства, отмеченные качественно новыми признаками. Внешние приметы нового у нас появлялись и раньше, но это только первая половина дела. Я не надеюсь, что все будет сразу и в большом количестве, но думаю, что появятся произведения с иным внутренним духом, душой, с большим ощущением внутренней свободы, с самоуважением, с новыми открытиями человеческой сути. Все события нашей жизни будут в генетической памяти то, что дремало, — жажду личной свободы, которая является главным условием всех прочих свобод.





ВИКТОРС ЛОРЕНЦС, кинодраматург

Может быть, это прозвучит очень банально, но я считаю, что нашему народу недостает демократических традиций. Их нужно воспитывать. Мне за шестьдесят, а когда Ульманис ликвидировал демократию в Латвии, мне было семь. И все мы — начиная с седовласых — по сути, выросли в условиях диктатуры. Я почти во всех сферах жизни ощущаю абсолютное непонимание демократии. С того, что провозгласили плюрализм мнений, демократия еще не началась. Ген авторитарности засел в нас глубоко. Но если демократия не будет в нас воспитана и гарантирована как единственно возможная норма существования, не будут иметь смысла ни песни, ни знамена. И демократия — это прежде всего вопрос культуры. Без приоритета культуры в человеческой жизни не будет ни пшеницы, ни ржи, ни мудрого правительства. И потому нужно всерьез подумать о такой культурной норме, как **НРАВСТВЕННОСТЬ**, — нравственность в труде и в жизни.

ЯНИС СТРЕЙЧС, кинорежиссер

Важнее всего для нас теперь — выработать общую рабочую тактику, ибо должны же мы разумным путем достичь тех целей, которые теперь известны каждому латышу. Во-первых, Народному фронту необходимо свое свободное печатное издание, чтобы идеи, которые рождаются в центре, нашли путь во все уголки Латвии. Во-вторых, и это, может быть, важнее всего, — объяснить, наконец, нелатышам проблемы нашего народа. Может быть, начинать надо с детского сада. Должны же они понять, что латышам приходится решать проблемы существования своей нации. И, насколько мне известно, мы никогда не были агрессорами. Так зачем же приписывать эту роль латышскому народу именно тогда, когда мы хотим единственного, о чем мечтает и чего жаждет каждый народ, каждое живое создание, — свободы? Кому это выгодно? В-третьих, мы должны быть реалистами, чтобы суметь подготовить демократические выборы. Мы должны создать атмосферу, исключающую все иные возможности. А это возможно только при реалистическом мышлении.

В области культуры моя задача, причем очень дорогая мне задача, такова — создать общество содействия латгальской культуре под девизом «Все вместе — для Латвии», чтобы сделать Латвию ярче и богаче. И пусть у жителей Латгалии будет термин ученым, а в быту будем употреблять это уважительное слово **ЯЗЫК**, ибо каждый человек почувствует себя задетым, если ему будут внушать, что он говорит не на языке, а на каком-то там диалекте.

Многие теперь недоумевают, что им **ДЕЛАТЬ** в их творческой деятельности, ведь немало таких, кто, занявшись общественной деятельностью, сошел с дистанции своей конкретной творческой работы. На меня как наркотик действует ожидание газет и журналов, чтение, что мне годы назад и во сне не снилось, также, как богослужение по Латвийскому телевидению сегодня. И ничего другого не остается, как призвать вернуться к своей творческой работе, — хотя это и будет довольно трудно.

АРТЕМ ТРОИЦКИЙ ROCK IN THE USSR

(Продолжение.
Начало см. в №№ 5—11)

ГЛАВА 7

«Детки, детки —
Мы за вас боимся что-то...
Это что?
Это что?»

[Группа «Центр», «Фотолаборатория»]

Все произошло как-то незаметно и постепенно, но ситуация в роке 83-го года совершенно разительно отличалась от того, что было в 78-ом... Начать с того, что западный рок стал гораздо менее популярным. Он приелся и начисто утратил статус культурного откровения и образца стиля жизни. Только в лексиконе редких реликтовых хиппи сохранились словечки типа «мэн», «герла», «шузы» или «кантровый», утих ажиотаж вокруг «контрабандных» пластинок, исчезли самодельные значки и «просветительские» дискотеки. Более того, и в чисто потребительском смысле западный рок сдал свои позиции: относительно успешом пользовалась музыка «ветеранов» — «Beatles», «Queen», «Pink Floyd», «Rainbow», а популярность новых групп, даже таких, как «Dive Straits», «Police», или «Duran Duran» была минимальной. Живых рок-ансамблей, поющих по-английски, не осталось совсем.

Таким образом, в музыкальном сознании нашей молодежи образовались вакансии. Их заполнили, с одной стороны, диско и, чуть позднее, сладкая итальянская поп-музыка, с другой стороны — рок отечественного производства.

Профессиональная рок-сцена процветала. Слава «Машины времени» несколько померкла — тинзиджеры находили их старомодными, а поклонники со стажем справедливо сетовали на то, что новые песни слишком беззубы и приглажены. «Автограф» и «Диалог» взяли на вооружение лазеры, **секвенсоры** и прочую «высокую технологию» и вполне удовлетворяли запросам любителей «артрока». «Хэви метал» представляли «Magnetic Band» и новая группа «Крузиз» во главе с сенсационным гитаристом Валерием Гаиной. Сюда же можно отнести ужасающую группу «Земляне», соединившую героинку «НМ» с помпезностью официальной эстрады и создавшую главный ХИТ того периода — песню о космонавтах под названием «Трава у дома» (к сожалению, у них не хватало китча, чтобы это все выглядело совсем смешно...). «Карнавал» долго блуждал по московским ресторанам*, но, в конце концов, тоже выбрался на профессиональ-

ную концертную сцену. Аромат варьете, однако, остался: «Карнавал» исполнял красивую танцевальную музыку — от ослабленного реггей до жеманных баллад а-ля Брайан Ферри, а певец Александр Барыкин был одной из немногих советских рок-звезд с очень, очень скромным! — намеком на «Sex appeal».

Самой многообещающей группой был «Динамик», созданный в начале 1982 года бывшим гитаристом «Карнавала» Владимиром Кузьминым. Они играли действительно динамичный современный рок с хитроумными электронными аранжировками, сделанными клавишником Юрием Чернавским и располагали лучшей в стране ритм-секцией в лице ударника Юрия Китаева и бас-гитариста Сергея Рыжова. Сам Кузьмин был многосторонним лидером: он прекрасно играл на гитаре (немного похоже на Марка Кнопфлера) и иногда на флейте и скрипке, пронзительно пел и очень старался быть шоуменом — переодевался, бегал по сцене во время «спортивной» песни и так далее. Его сценическое поведение и пение выглядели наивно и не очень компетентно, но это, как ни странно, шло только на пользу общему мальчишескому образу. Кузьмину удавалась роль «своего парня»; он был гораздо доступнее прочих героев и «умников» рока. Тексты не были ни острыми, ни претенциозными, но имели некий несложный смысл и «личную» окраску. Особый успех у публики имела песня, где герой жаловался на любимую девушку за то, что та предпала ему иностранца, подарившего ей «фирменные» джинсы... Даже такая безобидная сатира выглядела довольно смелой на сценах Дворцов спорта. Вообще в каком-то смысле «Динамик» заполнял пустоту между стерильными филармоническими группами и «уличным» роком. Это было свежо, и многие видели в них преемников «Машины времени» в качестве лидеров жанра.

В конце 1983 года газета «Московский комсомолец»* провела первый в советской практике поп-полл критиков. Мы опросили примерно тридцать журналистов и всяческих рок-деятелей из Москвы, Ленинграда и Таллина. В категории «Ансамбли» первая десятка получилась такой:

1. «Динамик». 2. «Машина времени». 3. «Аквариум». 4. «Автограф». 5. «Диалог». 6. «Ruj». 7. «Rock Hotel». 8. «Magnetic Band». 9. «Крузиз». 10. «Земляне»**.

Третье место «Аквариума», который полностью игнорировали все средства массовой информации (не говоря уже о

гастролях), можно было бы считать крупным сюрпризом, если бы не одно обстоятельство. Начало 80-х ознаменовалось рождением нового феномена — и это было, наверное, самым важным событием в истории советского рока со времени его появления. Речь идет о самодельных кассетных альбомах.

Как ни печально, но все, что осталось от нашего рока 60-х—70-х годов, — это воспоминания, фотографии и немногочисленные газетные заметки. Более весомых «вещественных доказательств» не существует. Музыка «Скоморохов», «Санкт-Петербурга» и многих, многих других исчезла без следа, поскольку никто ее не записывал. (Так что трудно теперь проверить утверждения Градского, что он был первым панком...!) Случайные концертные записи были такого качества, что сохранять их для потомства казалось бессмысленным... Трудно сказать, почему эта проблема, сегодня очевидная для всех, тогда никого не заботила. Наверное, хватало ежедневной суеты, чтобы еще думать о «запечатлении» в вечности.

Пионером самодельной звукозаписи стал ленинградский хиппи по имени Юрий Морозов. Он никогда не выступал «живьем», работал техником в студии звукозаписи и по ночам творил там бесконечные альбомы (хард-рок и «космическая» музыка с глупо-мистическими текстами). Он занялся этим еще в начале 70-х и записал, по слухам, порядка пятидесяти альбомов, но примером для подражания не стал: даже немногие, знавшие его работы, считали Морозова эксцентриком-одиночкой.

Первый* настоящий современный самодельный альбом, явившийся, по формату и дизайну, прототипом всего, что последовало за ним, — это «Сладкая N и другие» Майка Науменко. Фактически, это обычная, фабричного производства катушка, рассчитанная на время звучания 45 минут (при скорости 19 см/сек), на картонную коробку которой с обеих сторон нежно и аккуратно (как правило, этим занимались сами музыканты) наклеены соответствующего размера фотографии. Здесь все было всерьез, с гордым соблюдением всех условностей и деталей «настоящего» продукта, вплоть до надписи «Стерео» и значков © и Р.

* Конечно, это спорный момент. В конце 70-х годов у коллекционеров появились первые приличные звучащие пленки «Машины времени» («Солнечный остров»), «Високосного лета» («Прометей»), «Воскресения». Однако, на мой взгляд, это были, скорее, компиляции относительно удачных концертных и случайных студийных записей, чем полноценные альбомы. И фаны имели к ним большее отношение, чем музыканты — они даже придумывали названия. Макаревич считает, что первый «ленточный» альбом «Машины времени» («Чужие среди чужих») вышел в 1984 году.

* Кстати, и в ресторанах все стало по-другому: произошла смена поколений и места засыпающих джаз-бандов заняли современные поп-группы с синтезаторами и световым шоу. В ресторанах нашли свое призвание многие «англизязычные» рок-певцы.

* К тому времени почти во всех молодежных газетах существовали постоянные поп-рубрики. Небольшой объем и копеечные гонорары компенсировались возможностью давать «горячую» информацию — репортажи с концертов, рецензии на новые диски и т. п.

** Мой персональный «топ-3» выглядел так: 1. «Аквариум». 2. «Turist». 3. «Центр».



Хотя, конечно, никакого реального отношения к авторским и прочим правам этот арте-факт не имел. На лицевой стороне обложки — рисованная картинка: некая оборвожительная особа в шляпке (сладкая N, надо полагать) несет под мышкой диск Майка, а тот угрюмо смотрит ей вслед. На оборотной стороне, естественно, перечислены названия песен, а также музыканты и все прочие, помогавшие при записи. . . Да, это была настоящая вещь, очаровательная и законченная. Стоила эта прелесть всего десять рублей — что примерно соответствовало стоимости катушки плюс фоторасходцы плюс ручная работа с клеем и ножницами. . . Это называлось альбом «с оформлением», и таких циркулировало очень немного, порядка двадцати-тридцати экземпляров. Музыканты дарили (или продавали, что не имело большого значения) их близким друзьям, а те, в свою очередь, давали их переписать разным знакомым — и дальше в геометрической прогрессии, от магнитофона к магнитофону, росло количество альбомов «без оформления».

«Сладкая N» прошла почти незамеченной — из-за недостаточной рекламы, по-видимому. В 1981-ом вышло две пленки «Аквариума» — «Синий альбом» и «Треугольник». Если первый из них только качеством звука отличался от нормальной «акустической» концертной программы, то «Треугольник» уже имел все признаки специальной студийной работы: «концептуальная» последовательность песен, «приглашенные музыканты» (джазовый виртуоз Сергей Курехин играл соло на рояле), масса звуковых эффектов — обратная запись, конкретные шумы. . . Здесь необходимо назвать человека, который несет за это ответственность: Андрей Тропилло, звукоинженер одного из Домов пионеров, продюсер всех альбомов «Аквариума» и множества прочих ленинградских рок-записей. Человек фанатического склада, он шел путем праведника: никогда не брал с музыкантов денег и стойко отбивал набег милиции и начальства на свою двухдорожечную студию. Сейчас у него уже восемь дорожек, он страдает манией величия в легкой форме и требует от групп безусловного подчинения — но в его

фразе «Я изменил судьбу советского рока» есть немалая доля истины.

Самодельные альбомы открывали новый мир — и для музыкантов, и для их поклонников. Наши рокеры увидели преимущество работы со звуком, они могли сделать свою музыку такой (или почти такой), какой они ее хотели слышать — без скидок на ужасную концертную аппаратуру. Далее, они получили прекрасную возможность распространять эту музыку повсюду, и без всяких муторных и проблематичных гастролой. Они ощутили себя в некотором подобии шоу-бизнеса, и пусть это была скорее игра — как эти значки © и P на самодельных обложках — но какая приятная и увлекательная игра! (И вместе с тем, куда

более реальная, чем «Monopoly» . . .). Наконец, приватные записи не подлежали никакой цензуре. . . Совсем недавно я был свидетелем беседы Майка с корреспондентом журнала «Роллинг Стоун»; американец настойчиво спрашивал об ущемлениях свободы творчества, ссылаясь на жалобы неких музыкантов, которым «не разрешали делать, что они хотят. . .». «Пусть не врут, — ответил Майк. — Если им есть, что сказать, то на своих альбомах они могут записать абсолютно все, включая то, что не прошло цензуру. И люди эти песни услышат*». Парадокс, но истинная правда.

Идея, конечно же, носилась в воздухе. Хотя альбомы «Аквариума» были самыми популярными и влиятельными, справедливости ради необходимо заметить, что одновременно и независимо аналогичные артефакты появились в Свердловске («Путешествие» «Урфина Джуса», «Шагреневая кожа» и «Кто ты есть» «Трека»**) и Риге (дебют «Желтых почталыонов» под названием «Болдерайская железная дорога»).

В 1982—1983 годах пленочная эпидемия охватила все рок-центры, за исключением Эстонии — единственного места, где оперативной работой государственная фирма «Мелодия». . . Вкус к новому трюку

* У самого Майка богатая практика в этом смысле: «Вперед, Бодисатва, вперед», «Гопники» и некоторые другие песни никогда не звучали со сцены, но миллионы знают их назусть благодаря альбому.

** Обе группы — остатки развалившегося «Сонанса». Александр Пантыкин разочаровался в авангарде и теперь руководил хард-роковым «Урфин Джусом». «Трек» играл очень своеобразную, хотя и монотонную «новую волну», чем-то напоминающую «Devo». К сожалению, записав три альбома, они распались в 1983-ем.



неожиданно обнаружили и профессионалы: на катушках распространялись «неофициальные» альбомы «Динамика», «Диалог», «Земля» и даже некоторых ВИА! Они совершенно обоснованно не надеялись на «Мелодию» и предпочли простейший путь пропаганды своих бесконечно далеких от цензурных проблем песенок.

Реклама оказалась не только простой и неподвластной вездесущей бюрократии, но и исключительно эффективной: не ограничиваясь частными квартирами, все изобилие самодельной музыкальной продукции зазвучало в дискотеках. А их в стране были десятки тысяч, и все страдали от одного — интенсивной борьбы с «вливанием Запада». Конкретно эта борьба выражалась в установлении неких репертуарных лимитов и процентных соотношений, например: «не менее 50% советских произведений, не менее 30% произведений авторов из социалистических стран, не более 20% произведений западных авторов»*. . . (Цифры варьировались в различных городах, областях и республиках в зависимости от либерализма местных органов культуры). В результате абсурдной «борьбы» некогда модное и процветавшее диско-движение утратило популярность: публика не хотела, или просто не могла, танцевать под плохо записанные и лишенные всякого «драйва» советские эстрадные пластинки, в то время как реальные хиты выдавались измученными диск-жокеями лишь под занавес мизерными порциями.

Бум самодельных записей оказался для тонущих дискотек спасательным кругом и буквально вдохнул в них новую жизнь. Наконец-то диско-аудитория получила советский музыкальный материал, который, если не по сочности звука, то, по крайней мере, по стилю и характеру удовлетворял ее запросы.

Песни из «катушечных альбомов» сразу же составили львиную долю репертуара. Зимой 1984-го, готовя статью о «пленочной лихорадке» (которая никогда не была напечатана), я провел опрос ведущих диск-жокеев Москвы и Ленинграда, на основании которого получился следующий «топ тэн» советских танцевальных хитов:

1. «Здравствуй, мальчик Бананан», Юрий Чернавский.
2. «Кара-кум», «Круг».
3. «Сладкая жизнь», «Примус».
4. «Я робот», Юрий Чернавский.
5. «Бумажный змей», Алла Пугачева.
6. «Глупый скворец», «Машина времени».
7. «Московский гуляка», «Альфа».
8. «Когда нам было по семнадцать лет», «Динамик».
9. «Квадратный человек», «Диалог».
10. «Кукла», «Альянс».

Только одна из этих песен («Бумажный змей») звучала по центральному ТВ, и еще одна («Глупый скворец») — вышла на «сборной» пластинке. Прочие записи были стихийными. Список интересен и с

другой точки зрения: в нем (и даже во «втором десятке») нет никого из лидеров андерграунда — инициаторов всего «пленочного движения». Дело в том, что из простого потребителя записей дискотеки превратились в активных заказчиков. Поскольку музыка «Аквариума», «Кино» или «Центра» не очень годилась для танцев, мафия диск-жокеев нашла более «гибкие» группы для выпуска нужной ей продукции. Возникла настоящая внегосударственная индустрия звукозаписи и тиражирования, подчинявшаяся не столько творческим, сколько коммерческим законам. Законы были странные: музыканты не получали ничего, кроме «славы», а все деньги расходились между продюсерами и дистрибуторами. Последним было несложно поддерживать монополию, так как студий звукозаписи* было очень немного, и почти все они концентрировались в Москве. Оригинал каждой новой записи тиражировался сразу в сотнях экземпляров и одновременно рассылался провинциальной клиентуре за солидные деньги. Те окупали расходы, дела вторую копию. . .

Большая часть дискотечного рока была явным барахлом: так же, как танцевальные хиты во всем мире, эти песенки держались «в топе» по нескольким месяцам и затем исчезали без следа. Исключение составили альбом «Примуса» «Путешествие в рок-н-ролл» и «Банановые острова» Юрия Чернавского. «Примус» — точнее, бывший гитарист-вокалист «Интеграла» Юрий Лоза с ритм-боксом и севенсором — это электронный рокабилли с текстами, в которых банальность лексикона и образов странно сочеталась с «запретностью» тем (пьянство, прожигание жизни и даже намеки на гомосексуализм. . .). Я помню, услышав «Примус», моей первой догадкой было: это какой-то ВИА, получивший государственное задание «записать панк-рок» — так, как они его себе представляли. Фактически, это был «Зоопарк» «для бедных» — поверхностный и упрощенный, лишенный достоверности и изысканной самоиронии, столь характерной для Майка. Однако «бедных» оказалось невероятно много, и альбом Лозы имел огромный успех, а песня «Сладкая жизнь» стала просто легендарной и нарицательной:

«Девочка сегодня в баре,
Девочке пятнадцать лет,
Рядом худосочный парень,
На двоих один билет**.
Завтраки за всю неделю,
Невзирая на запрет,
Уместились в два коктейля
И полпачки сигарет.
Девочка, конечно, рада,
Что на ней крутые штаны,
Девочке щечкочут взгляды,
Те, что пониже спины.
Девочка глядит устало,
Ей как будто все равно,
Мол, узнала, испытала
Все уже давным-давно.

* Часто это были даже не студии, а просто предприимчивые «мобильные» продюсеры с «Ревоксом» или переделанной в «4-track» квадро-декой.

** В популярные бары у нас продают билеты — притом довольно дорогие — по 3—5 рублей. В стоимость билета входит цена коктейля и минимальной закуски. Этим достигается сразу две цели: ограничить толпу посетителей и «отсесть» тех, кто хотел бы поразвлекаться «задешево» — выпить кофе и потанцевать. . .

Вот это жизнь! Живи не тужи.

Жалко, что не каждый вечер

такая жизнь.

Мама, держись! Папа, дрожи! —

Если будет каждый вечер

такая жизнь! . . .

«Банановые острова» были не менее популярны и гораздо более заняты. Это один из самых веселых советских рок-альбомов, записанный одним из самых мрачно выглядящих людей. Юрий Чернавский тощ, как спица, и угловат в движениях, он носит огромные очки, говорит скрипучим «индустриальным» голосом и вообще похож на персонажа из видео-клипа — не то гуманоида, не то «безумного профессора». Он был немолод (родился в 1947 году) и успел переиграть на саксофоне и клавишных в десятках джаз-ансамблей, ВИА и рок-групп (последней был «Динамик»), где создал себе репутацию одного из лучших аранжировщиков в стране и главного эксперта по электронике. Если большинство наших хорошо образованных клавишников подходило к синтезаторам почти так же, как и к роялю, играя с фантастической беглостью в стандартных регистрах, то Чернавский исследовал именно тембровые возможности и старался извлекать из инструментов звуки неслыханные. Обычно он указывает Питера Гэбриэля, как наиболее повлиявшего на него музыканта, но работы его ближе по духу к Томасу Долби и «Yellow» — в них много юмора. «Банановые острова» — первый сольный проект Чернавского, записанный с помощью экс-члена «Удачно-го приобретения» Владимира Матецкого и ритм-секции Рыжов — Китаев. Это коллаж стилей, от рок-н-ролла до компьютерной робот-музыки, пронизанный ритмическим «задомом» и по качеству записи стоящий на голову выше любого другого советского диска — официального или «самодельного». Трудно поверить, что это удалось сделать на двух дорожках. . . До-тошный аккуратист, Чернавский так и не смог найти подходящего вокалиста («они все поют фальшиво») и вынужден был исполнить все песни собственным странным голосом, который в чистом виде звучит почти как «Вокодер». Он не тянул нот, скорее декламировал, и великолепно по-актерски передавал интонации — вся манера напоминала какой-то смешной русский рэп. Тексты не вызвали больших споров: и жрецы «подпольной» лирики и официальные поэты-песенники дружно сочли их забавной ерундой. Да, это была смесь детских стихов и абсурдных парадоксов, песни про крошечного мальчика, живущего в телефонной трубке и всю жизнь говорящего «ту-ту-ту», про робота, сошедшего с ума после того, как его включили в не ту розетку, про зебру, которая не то белая в черную полоску, не то черная в белую. . . Это было неглупо и со вкусом придумано. Но в одной песне впрямую прорвалась боль и горечь, обычно закамуфлированная у Чернавского в юмористический нонсенс:

«Я открываю дверь свою
И выхожу наружу на закат
Чтоб с ним исчезнуть
И провалиться прямо в ад.
Но не успел я сделать шаг,
Как прибежали тысячи людей
С бумагами в руках. . .
Когда я один —
Не надо за мной следить
Я сам! . . .»



Нет уж, дорогие товарищи. Чиновники вовсе не собирались оставлять музыкантов в покое. Прямо наоборот. Эра беспечной коммерческой эксплуатации рока вдруг подошла к концу. Во второй половине 1983 года мы вступили в новую фазу рок-конфронтации и «холодной войны». Все началось с подготовленной кампании в прессе; газеты обрушились на поп-ансамбли за их «серость», «безвкусицу» и «безыдейность». Как пример посредственности приводились действительно тошнотворные ВИА, поэтому критика выглядела убедительной. Однако резолюция, принятая Министерством культуры после публикации статей, была не столько по «серым ВИА», сколько по рок-группам. Потому что главный пункт ее гласил: отныне в репертуаре каждого профессионального ансамбля должно быть не менее восьмидесяти процентов песен, написанных членами Союза композиторов...

Тут сразу стали видны уши реальных вдохновителей кампании. Союз композиторов — элитарная и очень влиятельная организация, объединяющая в своих сплоченных рядах как авторов академической музыки, так и официальных «песенников». Члены Союза (их всего около трех тысяч в СССР, включая массу классических музыкантов) имеют значительные привилегии в плане выпуска пластинок, пропаганды через «mass media», получения заказов на киномузыку. Государство закупает у них в неограниченных количествах оперы, балеты и песни, которые (к счастью) никто потом не слышит. Короче, все специально устроено так, чтобы композиторы получали как можно больше денег.

И все-таки они негодовали! Да, до семидесятых годов их монополия была абсолютной. Затем откуда-то стали появляться сомнительного вида молодые люди с электроинструментами, и они смели утверждать, что тоже могут писать песни... Союз композиторов встал на защиту своих привилегий; чужакам там не было места. В 1973 году Давид Тухманов вступил в Песенную секцию московского отделения Союза — и после этого в

течение десяти с лишним лет не было принято ни одного нового члена. Не удивительно, что их средний возраст — около шестидесяти лет. Время от времени сердитые композиторы совершали вылазки из своего бункера слоновой кости, и клеймили позором в прессе, на ТВ и конференциях рок, бит, поп-арт (они думали, это один из стилей рока) и вообще, непричесанную молодежь. Главная линия обвинения: они безграмотны, они шарлатаны; люди без специального образования не могут (некоторые говорили даже «не имеют права»...) писать музыку. Коронным и «смертельным» аргументом, после которого должна была воцариться полная тишина, было: «Некоторые из них даже не знают нот!...». Но несмотря на свою неправомочность, музыка молодых авторов завоевывала все больше симпатий, а песни членов Союза все больше воспринимались народом как анахронизм.

В начале восьмидесятых, с появлением «филармонического» рока, это стало совершенно очевидным. При всех своих почетных званиях, привилегиях и непоколебимой лояльности ТВ и радио, «образованные» композиторы теряли популярность, престиж и — самое неприятное — деньги*. Они старались конкурировать с молодыми авторами, но не очень успешно: даже искусные аранжировщики были не в силах сотворить нечто современное из их допотопных песен. Рокеры, несмотря на заведомо невыгодное положение, выигрывали битву за публику. И, отказавшись от честной игры, Союз композиторов воспользовался своими широкими связями, чтобы буквально заставить поп-группы исполнять старческие сочинения его членов.

Менее влиятельной, но громкой фрак-

* Авторские гонорары у нас начисляются с теле- и радиопередач, публичных концертов и исполнения песен в ресторанах и кафе. Только в первом из этих пунктов члены Союза сохранили свои позиции.

цией «антирокового» лобби были так называемые «почвенники». Это русофильски настроенные деятели культуры, в основном, литераторы, идеалом которых является патриархальный деревенский уклад. Соответственно, у них принципиальная аллергия на все «нерусское» и урбанистическое. Фактически, это хрестоматийно-реакционное движение, с сильными монархическими и шовинистическими тенденциями и излюбленным тезисом о том, что «Ленин был немец, а революция сделали евреи». Однако в своих публикациях они мудро воздерживались от изложения подобных соображений и вместо этого с легким сердцем громили рок, дискотеки и майки с нерусскими надписями. Все это, по мнению «почвенников», отрывало нашу молодежь от «русских корней», заставляло ее забывать о «национальной гордости» и «великом наследии прошлого», и ввергало ее в пучину бессовестности и разврата. Очень похожие мнения о роке я читал, кажется, у известного критика Ронни Рейгана.

Зима 1984-го. Профессиональные группы — в полном смятении. Каждая должна была выступить перед комиссией Министерства культуры с новой программой, состоящей на 80% из «не своего» материала... «Карнавал» дважды «не прошел» прослушивание и распался. «Машина времени» с трудом наскребла несколько чужих песен и третпено ждала своей участи, сидя в Москве без права на гастроль. «Автограф» отрепетировал программу камерной инструментальной музыки... «надеемся, что для нас сделают исключение». Владимир Кузьмин нашел единичный, но остроумный выход: он объявил себя солистом, а «Динамик» сделал безымянной аккомпанирующей группой. Все, таким образом, оставалось по-прежнему, за исключением одного: драконовское постановление Министерства его, как «солиста», уже не касалось!

(Продолжение следует)



МЕРСЕДЕ САЛНАЯ БЕЗ ИМЕНИ

Для страховки я позвонила с улицы. Был шестьдесят восьмой год. Он только что вернулся из ссылки во Владимир. Теперь, вспоминая, краснею: надо же, из телефонной будки звонила.

68-й. Казарменный сталинский социализм, в гробу выдавший народ, давно разоблачен, но нет уже и Хрущева на политической арене, а главное, упрятан в подполье дух XX съезда. Пахнет реставрацией Сталина.

У нас в Латвии еще при Хрущеве, в 1959-м, на июльском пленуме ЦК КПЛ разгромлены и сняты с руководящих постов так называемые буржуазные националисты. Потом целых три года повсюду вылавливали «буржуазно-националистические группы», провинившихся (а точнее без вины виноватых) клеймили с твердокаменных, сверхпринципиальных позиций и громче всех фарисеи неосталинисты, которые недаром драли глотку на собраниях — наживали политический капитал. Любому было ясно, что где-где, а уж в нашей республике духа XX съезда и в помине нет. Снова разгулялся страх. Лагеря, конечно, мало кому грозили, за решетку упрятать без суда и следствия тоже было невозможно, кровавые страницы остались в прошлом, а поди ж ты, синдром страха не отпускал, только лишь усилился. Люди опасались за свое будущее. И пыльным цветом расцвел нигилизм — этот всегдашний спутник страха.

Кое-кто из самых пронизательных, а скорее, знавших закулисную сторону дела, догадывался о подлинных причинах охоты на ведьм: вычистить лишних, освободить места на трибунах для новоявленных прокуроров-держателей истины, ну и «старших товарищей», конечно. Приехавшие, как у нас говорят, из Союза пользовались уважением, к ним прислуши-

вались, им внимали — вот где была, пожалуй, крупнейшая ошибка, поскольку эти «наставники» активно насаждали самый настоящий идейный догматизм.

Я думаю, акция 59-го, нацеленная на неуклонное и планомерное изъятие отовсюду испытанных коммунистов, дельных, честных, скромных, работающих, творчески мыслящих, и проходившая под овации, на ура (Иосиф Виссарионович тоже осуществлял экзекуции под непрерывный «одобрямс»), имела сверхзадачу — потихоньку выпихнуть, вытолкнуть настоящих ленинцев. Многим из них пришлось туго — долго сидели без работы и средств к существованию. Высочайшей милостью им стали раздавать третьестепенные посты, подальше от Риги, где-нибудь в Мадоне, а то уж совсем во Владимире. Целью этих кадровых чисток была долговременная и надежная изоляция опальных. Лишить их слова! Вдоволь поизмывавшись над ними на собраниях, вытравить всяческие упоминания о них! А речь шла о людях, не щадивших себя никогда, немало сделавших для народа, в годы буржуазной Латвии работавших в революционном подполье, самоотверженно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Перечеркнули жирным крестом.

И не только их судьбы. Умолчание коснулось подпольщиков вообще, их мужественной борьбы с буржуазным строем; искажена была и послевоенная история латвийского комсомола. Мелькали одни и те же фамилии, все больше второстепенные. Такой же выверт проделали с историей 201-й (впоследствии 43-й гвардейской) латышской стрелковой дивизии — приглушить, затушевать, «не выпячивать». Разве можно предать забвению героизм наших стрелков в боях под Москвой? В дивизии сражалось девять

десятих наличного состава Компартии Латвии, девять десятых комсомольцев, множество добровольцев из числа советских активистов. Под Наро-Фоминском, под Старой Руссой шли в атаку в полный рост, не думая о себе. Сколько погибло тогда лучших наших товарищей! Какой кровью оплачена победа в этих сражениях! И как невнятно обо всем этом говорится...

Берусь утверждать: не коснись ржа нигилизма в конце пятидесятих нашего славного революционного прошлого, будь оно в почете как живой урок молодежи, сохрани мы повсеместно уважение к латышскому языку, обычаям, празднику Лиго, культуре, то все интернациональное воспитание, все межнациональные отношения развивались бы своим чередом, естественно, нефальшиво и давали людям чувство удовлетворения, защищенности, были бы замешены на неподдельной доброте. Вместо этого — кнут, насилие и, как следствие, разочарование, депрессия.

— Тут одна чувашка говорит, — произнесла я в телефонную трубку и запнулась. Бросило в жар. Что я себе вообразила? Вряд ли Эдуардс Берклавс меня вспомнит, да еще с «кликухой» времен эвакуации (жила тогда в Чувашии). В 1940 году, недолго правда, я работала с ним в ЦК комсомола, но он секретарем, а я всего-навсего кассиром-бухгалтером. Разве что те руководители еще не были закованы в броню недоступности. Особенно в комсомоле. Мол, кто я, а кто ты. Это потом вельможное начальство стало жить по заведенному стандарту, а прочие — через пень-колоду.

Для нас, комсомольцев той поры, Берклавс был не просто секретарем. Бери выше. Он был нашим идеалом. И в гвардейской дивизии для многих тоже. Простой, горячий, искренний,

открытый парень. Всегда он оставался самим собой, не пытаясь кому-то угождать. И это в нем нравилось больше всего. Вот уж кто не бесхребетный человек.

Быть всегда правдивым, нравственно чистым — как это вяжется с образом политика?

Но если взять настоящий, народный социализм (термин Яниса Петерса), он что же — нуждается в безразличной политике? Двуликой? Один лик — благостно-лживый, для общечеловечности, другой... Ставший было у нас табу 59-й с его лозунгом «политика должна быть честной» в конце концов оказался со щитом. Проиграли же — приспособленцы.

Да, герои 59-го были разбиты. Досталось им основательно. И ему больше других. Его били первым.

Кто ответит за исковерканные судьбы коммунистов, за остановленное время? Идеи, которые они тогда выдвигали, были хлебом насущным. Сегодня многие из их предложений реализуются даже полнее и глубже, чем они могли себе представить тридцать лет назад. Эдуардс Берклавс ударил во все колокола, и его за это — во Владимир, с глаз долой, из сердца вон. И не пустили бы назад к жене, коли бы сам не прорвался.

Стоя в будке телефона-автомата, я знала — позвонить надо. По-человечески надо. Ободрить, напроситься в гости, чтобы пожать руку. Только бы не заподозрил меня в чем-нибудь нехорошем. Дай бог чтоб вспомнил. Мы ведь переписывались во время войны. Из Чебоксар в дивизию летели весточки от работавших в тылу латышских парней и девушек — коллективные послания, которые сочинялись мною.

Он был секретарем комсомольской организации 122-го полка. Часть этой переписки вошла в книгу «Об одномobeliske». Листаю — и мне становится стыдно. Нет, не за его письмо. За другое.

«23 ноября 1942 г.

Жестокие бои, овеянные дыханием смерти поля сражений нас так изменяют! Делают совершенно другими людьми. Жизнь теперь нам в тысячу раз дороже, и мы знаем, как будем строить ее после войны, и потому не сложим оружия, пока победа не будет за нами».

В письмах с фронта, помещенных в этой книге, выпущенной в 1972 году издательством «Лиесма», нет главного. Подписи. Анонимные письма. Читала их не раз в молодежных аудиториях — слушали затаив дыхание, даже со слезами на глазах, а меня не покидало ощущение, что я в долгу перед ним, перед правдой. Автор оставался безымянным. Объяви я тогда, чьи это письма, книга не увидела бы света. В секторе печати ЦК работали бдительные товарищи.

Помню, как умирал тяжелой смер-

тью Павелс Пизанс, тоже один из «буржуазных националистов» образца 1959-го года; его, редактора газеты «Циня» (органа ЦК), выпихнули заведовать Центральным книжным магазином. Эти массовые «передвижки» часто бывали многоступенчатыми, иезуитски ловкими. Сначала происходило понижение внутри непотопляемой номенклатуры: секретаря или другое ответственное лицо делали министром, человека рангом пониже — начальником управления или заведующим отделом в Совмине. Никто и не догадывался, что расправа еще впереди, с «доказательствами» непригодности к руководящей работе.

Кадровые перемещения продолжались года три. Не до всех доходил их глубинный смысл, думалось — драют непокорных. Их фамилии склонялись во всех аудиториях. Больше всего, конечно, шерстили Берклавса. «Группа» разрасталась (никакой группы не было), резво принялись за тех, кто почему-либо не нравился новым вождям. Вымели 11 членов ЦК, 20 депутатов Верховного Совета, 10 бывших секретарей ЦК комсомола. Некоторые из них впали в такую депрессию, что готовы были расстаться с жизнью, нажав на спусковой крючок. Спасли их жены. И они выжили, остались в строю.

Пизанс долго болел, тяжело. Смелый партизан, командир третьего отряда в бригаде Лайвиньша. О смерти его газеты не обмолвились ни полсловом. Что так? «Циню» в тот день подписывала в печать я. Позвонили сверху: «Не вздумайте давать что-либо о Пизансе в завтрашнем номере!» Перестраховывались. Кто в редакции не знал, что некрологи положено утверждать в ЦК. Еще и бывшего члена ЦК. «Да, и вот что: проследите, чтобы траурного объявления не появилось!» Никому из близких Пизанса и в голову не приходило заявиться в бывшую его редакцию, которую он возглавлял не один год, с подобной просьбой. Его боевые товарищи и коллеги и так знали, где состоится панихида и на каком кладбище похороны. Уж там-то звучали искренние речи. Ничего, что на кладбище, зато вслух.

... Он подал мне стул и оставил открытой дверь в небольшую прихожую. Мы говорили о трагических событиях 1959 года, и каждое слово, я думаю, было слышно даже на лестнице. Может, он и хотел, чтобы имеющий уши да слышал?

Вернулся из Владимира в Ригу спустя восемь с половиной лет. Сам. Как вернулся — об этом ниже. А по Риге ползли самые невероятные слухи. На улице знакомые на всякий случай обходили его стороной. В театре не подавали руки и с ним не заговаривали. Не все конечно — некоторые. Печально, что так вели себя даже друзья прежних лет, причем ближай-

шие. Словно имели дело с живым мертвецом. Они с женой Маргой, научным сотрудником (теперь оба на пенсии), тихо жили в своей квартире на четвертом этаже, и никто их не беспокоил. Никто? Не совсем так. Беспокоили, вызывали, особенно в первое время по приезде в Ригу. Подозрения, недоверие — все это роилось вокруг него. Жив курилка! Значит, глаз не спускать.

Пешками не интересуются, что за ними следить!

Как-то Берклавсу дали разрешение построить садовый домик где-то на Видземском взморье, по соседству с двадцатью совершенно неизвестными ему семьями. В инстанциях, узнав, что Берклавс копается в земле, сажает яблоньки, ставит фундамент для будущего строения, тотчас разрешение аннулировали. И остальным заодно, всех до одного прогнали. А тому, кто землю выделил, всыпали по первое число. Вот как бдили.

Сегодня ему за семьдесят, после инфаркта, нелады с легкими, шалят почки. А юношеское упрямство, а былая гордость — все те же, при нем. Чем-то должен человек себя поддерживать. Чтобы одолеть время.

Погромщики 59-го многого добились. Выросли поколения, которые ничего о том времени не знают. Распространение политического манкуртизма — как иначе прикажете это величать? Жестокосердная программа запудривания мозгов общественности. Вытравить малейший намек на то, что были у нас такие облеченные властью люди, которые ратовали за собственную экономическую модель для Советской Латвии, за социальную справедливость не для горстки избранных — всего народа; хотели возрождения культурного наследия нации; заявляли, что национальная культура и язык — свободное изъяснение и составная часть подлинного интернационализма, что обычаи и праздники коренной нации должно чтить и признавать официально. И выступали за охрану реки Даугавы с национальными святынями — Стабурагом, Лиепавотом, Персе, а ГЭС — что ж, продуманное строительство гидроэлектростанции в месте, избранном с учетом всех обстоятельств, урона им не причинит.

Замалчивание многое стерло из памяти. Время бежит быстро.

1959-й год, в моем представлении, был типичной борьбой за власть. Проиграли те, кто уже тогда был заражен новым мышлением. Потерпели поражение, хотя и стояли на ленинских позициях. А победил, в сущности, социализм нерассуждающий, догматического сталинского покроя.

Сегодня в стране царит дух XXVII съезда, восстанавливаются «белые пятна» истории, соскребаются позднейшие наслоения, правда предстает перед нами пусть и в недоска-

занным пока, но в более полном виде. Это уже не та кривда, которую творили в Латвии по указке Арвида Пельше, Роберта Кисиса и иже с ними. Робко еще, с опаской да оглядкой, вырывают все же из забвения и «правых бухаринцев» и «латышских буржуазных националистов». Кое-кого воскресили раньше других — Карлиса Озолиньша, бывшего председателя Президиума Верховного Совета Латвийской ССР, или, скажем, ныне здравствующего президента ВАСХНИЛ Александра Никонова, угонившего в националисты на посту министра сельского хозяйства республики. Придет черед и остальных, всех тех, кто в черных списках состоял, но в открытой печати числился в хвосте — «и др.».

Во Владимире Берклавс работал начальником областного управления кинофикации. Сколько сил и выдумки понадобилось ему, чтобы улизнуть с этой «высокой» должности, оборвать цепи, которые не пускали домой. Ему говорили — жену во Владимир, и навсегда. Это означало — прощай, Рига, кто же даст потом жилье! Вот и наезжал к семье в летний отпуск, по болезни. Друзей, правда, поубавилось. Остерегались.

Поначалу в обкоме к нему относились с нескрываемым недоверием, но с годами отношение переменилось — стали уважать. Работал он добросовестно, выполнял общественные поручения и получал намеки: мол, высокомерно себя ведете, коли, бывая в Риге, не заходите в ЦК. «Пожалуйста, — отвечал, — командируйте меня, сейчас явлюсь в ЦК, если там хотят со мной говорить».

Может, и хотели. Из Владимира Берклавс несчетное число раз писал в ЦК КПСС, добивался пересмотра своего дела, просил о возвращении в Ригу. Не о должности хлопотал, просто о том, чтобы вернуться домой, хоть маляром, хоть кем.

Но А. Я. Пельше уже сделал головокружительную карьеру — член Политбюро ЦК КПСС, председатель Комитета партийного контроля. Пиши в Москву не пиши — глухо. Да и что мог ему ответить Пельше?

Перечитала газеты тех лет, особенно статьи после июльского пленума 1959 года, на котором «линия Берклавса признана политически ошибочной». Лето, осень — хула не унимается. Сам Пельше выступает то тут, то там и поносит Берклавса за грехи. 12 октября на республиканском комсомольском активе заявляет: надо учиться давать отпор любой диверсии империалистической (!) идеологии и враждебным вылазкам, не допускать проникновения в нашу республику отвратительной заразы — буржуазного национализма. Кто же мешает давать отпор? Оказывается, сползание некоторых бывших руководителей работников республики с

партийных позиций, что и привело к искажению ленинской национальной политики. Видите ли, специфика республики искусственно раздувалась и преувеличивалась, верх брали местнические тенденции. Хотели, понимае, замкнуть хозяйство тут завести, скатились на позиции буржуазной ограниченности.

И, разумеется, все шишки достались бывшему зампреду Совмина Берклавсу — он, знаете, выступал против развития в республике тяжелой индустрии, вагоно- и дизелестроения и требовал переориентации капиталовложений на легкую и пищевую промышленность.

Берклавс был глубоко убежден, что экономика пошла вкривь и вкось, не по органичному для Латвии пути, что курс на раздувание группы «А», то есть отраслей тяжелой промышленности, республике противопоказан. И высказал свои мысли при обсуждении проекта семилетнего плана. И не он один. Паулс Дзерве, в то время директор Института экономики АН Латвийской ССР, мыслил точно так же, это была его экономическая модель. Берклавс выступал против разветвления в Риге новых заводов тяжелой индустрии, так как это было чревато диспропорцией в народном хозяйстве республики, необеспеченностью социальной сферы и грозило обострением межнациональных отношений ввиду неизбежного массового притока рабочей силы извне.

Промышленность в Риге, вообще в Латвии, считал он, должна развиваться не экстенсивно, путем привлечения рабочих рук, а на принципах повышения производительности труда и модернизации производства, и развивать следует те отрасли, где у нас есть сырье, опыт и головы специалистов, профессиональные рабочие высокой квалификации. То есть с перевесом группы «Б» — производства товаров широкого потребления: электротехнической, электромеханической отраслей, точной механики, деревообработки, бытовой химии, переработки сельскохозяйственного сырья и, разумеется, легкой промышленности. Коль скоро мы входим в единый народнохозяйственный комплекс, то каждая республика должна заниматься тем, в чем может достичь быстрейших результатов, в чем у нее есть хорошие возможности и перспективы. При таком пути развития не было бы нужды ввозить рабочую силу из других республик, обкрадывая соседей, создавая им сложности в экономике, опустошая у них крестьянские дворы, чтобы бахвалиться собственными показателями. В награду получили межнациональные трения, неизбежные, когда приезжие попадают в непривычную им этнокультурную среду.

И еще (может, главное) — допускались ошибки в обучении языкам.

Принцип строжайшей добровольности был подменен администрированием. Пельше, правда, заявил молодежи, что живя в республике надо изучать язык «местного населения». Так с легкой руки первого секретаря ЦК коренная нация, латыши, превратилась в каких-то «туземцев». Не по-ленински, и ни грана уважения к собственному народу.

Писаниям такого рода нечего было удивляться. Особого возмущения у владимирского отшельника они и не вызывали. Слабость и приспособленчество всегда идут рядом. Берклавса это не поразило. Огорчился он всерьез подпалам из числа бывших единомышленников. Понимал — стараются обелить себя, спасают шкуру. Но все равно было горько и обидно. Одна статейка во всесоюзном журнале буквально обожгла. Прежний соратник рассуждал о «политическом ошибочной линии». Словно оплеухой оглушил. В тот же день написал автору письмо, назвав его Каином, хотел, конечно, сказать — Иуда.

В бою так бывает — не все способны пройти крестный путь до конца, выстоять, не сломиться.

Историкам еще предстоит многое выяснить о том времени — кому невтерпех было взбить такую пену, чего в действительности стоили приклеванные ярлыки, что за этим скрывалось. До истины еще надо докопаться. Это все впереди.

А у меня не выходит из головы рассказ Марианны Озолини, жены Карлиса Озолиньша, участницы революционного движения в буржуазной Латвии. В 50-е годы, когда на политическом горизонте возникла фигура Арвида Пельше и многое стало ясно, как трудно будет осуществить что-то новое, созвучное времени, разумное, об этом попытались проинформировать Хрущева. Надо ведь было претворять в жизнь решения XX съезда. На благо народа. И Берклавс написал о гордиевых узлах, о том, что Пельше любой трудный вопрос старается отодвинуть в сторону, боится нового и ставит палки в колеса всему прогрессивному, причем не для того, чтобы уцелеть, но — ради собственной карьеры. И у него есть сторонники, из того же теста вылепленные — алчущие власти. Карлис Озолиньш отвез это письмо в Москву Хрущеву. К несчастью, о письме кто-то пронюхал. Дошло и до Пельше. Некто обещал себя, дав Пельше в руки «главный козырь». В нужный момент тот и выложил карты на стол. И не только против Берклавса.

Заседание бюро ЦК КПЛ было невозможным. Следствие визита Хрущева в Ригу. В начале июня 1959 года он приехал сюда на встречу с руководителями ГДР Вальтером Ульбрихтом и Отто Гротеволем. Никто не предполагал, что события примут такой оборот. Роковой.

Хрущев посетил ряд заводов, присутствовал и выступал на митингах, встречался с партийными и советскими руководителями республики, обсуждая с ними наиболее важные вопросы. Высокий гость пригласил наших руководителей на ужин в свою юрмальскую резиденцию. По отзывам очевидцев, он быстро и легко сходился с людьми. Языки развязались, в непринужденной обстановке многие высказывали все, что у них на душе. А поговорить было о чем. О праздновании Лиго, например. Некоторым «старшим товарищам» этот праздник был не очень-то по вкусу, то они заявляли, что это отрывка религии, а в другой раз — что чистой воды национализм.

— У Лиго ничего общего с религией нет. Это настоящий народный праздник летнего солнцестояния, — заметил Карлис Озолиньш. Предсовмина Вилис Лацис — это уже потом, на бюро, — тоже защищал Лиго. И не он один. Только Хрущев всего этого не «расслышал». Он решил не подводить черту в тот же вечер.

— Праздновать или нет — дело ваше, а вот выходной? Надо обдумать, переговорить на Политбюро. Если у вас будет выходной, то в других республиках тоже захотят праздников с выходными днями, — сказал он под конец.

(В 1959-м, да и до того, Лиго отмечалось широко и славно, как подобает народному празднику. В 60—70-е — полный запрет, безобразные сцены милицейских облав на гуляющих.)

Ужин у Хрущева, кажется, удался. Берклавс решил воспользоваться случаем, чтобы решить вопрос о покупке на валюту музыкальных инструментов для декады в Чехословакии.

— Не проблема, — сказал Никита Сергеевич. — Подготовьте бумагу, завтра в аэропорту отдадите мне.

Но на завтра эта бумага уже не понадобилась. Берклаву пришлось писать другую — касательно своей дальнейшей судьбы, которая так круто и внезапно переменялась в ту ночь. Начальник охраны Хрущева получил пакет от генерал-майора Демина — для передачи Никите Сергеевичу...

Что у Берклавса могло быть против армии — сам сражался в ее рядах, к тому же был опытным политиком. Может, разгневал строгими правилами прописки в Риге? Но душа болела при виде неограниченного наплыва людей, бросивших хозяйство у себя дома и приехавших на поиски счастья в город, принимавший любого и всякого, без разбору и счету. А может, раздражил гусей стойкой защитой двузвучия?

Хрущев не стал разбираться. Настроение вчерашнего дня куда-то улетучилось. У трапа самолета Пер-

вый стоял мрачнее тучи. Обронил: — Берклавс тут?

Берклавс выступил вперед — по ранжиру он стоял во втором ряду провожающих.

— Берклавс, вы враг или честный человек? Если честный, то вам придется это доказать, а если враг... пеняйте на себя, сотрем в порошок.

Обвиняемый за словом в карман не полез.

— Я, товарищ Хрущев, вступил в партию, когда мне большую зарплату за это не платили, а вот каторга грозила...

— Это ничего не значит! — отрезал Никита Сергеевич.

Это и впрямь ничего не значило. Партийный стаж не главное. Важно понимание вопроса, путей его решения, нравственность деяний политика важна. Недаром это не устает подчеркивать М. С. Горбачев. Но сегодня время другое, иные критерии, мышление, подходы: всех нельзя стричь под одну гребенку, инакомыслящих надо убеждать в своей правоте, необходим открытый и честный диалог, плюрализм мнений.

Прежде чем сесть в самолет, Хрущев повернулся к тогдашнему первому секретарю ЦК КПЛ Яну Калнберзиню: «А ты тоже, старый большевик, не видишь, что у тебя под носом творится». Этим было сказано главное.

Самолет взмыл в голубое небо, а провожающие еще стояли какое-то время неподвижно. Немая сцена. Вокруг Берклавса образовалась пустота. Только один человек осмелился подойти, да и тот — взглянул на него и тяжело вздохнул...

Направились к машинам. Молча уселись — каждый в свою. Вернувшись в Совмин, Берклавс написал заявление об уходе. Мартышкой за письменным столом он быть не собирався. Отвез заявлению Калнберзиню. Не тут-то было. Хозяин прочел и швырнул бумагу на стол.

— Нет, Эдуард, дешево не отделаешься. Будем выгонять!

Хрущеву не терпелось. Не дожидаясь, пока Калнберзинь, не видящий дальше собственного носа, расследует «провинности» Берклавса, он прислал в Ригу своего эмиссара — секретаря ЦК КПСС Н. Мухитдинова. Составили комиссию, выдвинули и сформулировали обвинения против бывшего зампреда Совмина Латвийской ССР. Ему оставалось только признаться во всех смертных грехах, покаяться. «Скажешь, что ошибся, все будет хорошо. Сможешь работать. Если нет — считайся с тем, что делу дадут ход, и вряд ли в твою пользу».

Берклавс отчетливо понял — не время и не место выкладывать начистоту всю правду, безбоязненно, не кривя душой. Не поймут. Это по Уставу все члены партии имеют равные права.

На деле существовали «два права» и «две правды». Берклавс видел, что Рига перенаселяется, катастрофически не хватает жилья, детсадов, яслей, школ, поликлиник, больниц, торговых точек, коммунально-бытовых предприятий. Лечебные учреждения — те вообще в критическом состоянии. Больниц не строят, а для увеличения коечного фонда перегружают палаты, кладут людей в коридорах. В поликлиниках невозможные очереди. Он знал о них не по наслышке — бывал там, беседовал с измученными ожиданием пациентами. Тогда он поставил эти вопросы в Москве перед министром здравоохранения Ковригиной, и не просто поставил, а внес, казалось бы, конструктивные предложения: пусть пациент сам выбирает себе врача, пусть доплачивает копеек пятьдесят за визит (вспомним нынешние цены в медицинских кооперативах!), чтобы можно было обеспечить людям лучшее медицинское обслуживание. Министр вытаращила глаза:

— Вы навязываете мне буржуазные порядки, Эдуард Карлович?

— Нет, я хочу, чтобы пациенту было лучше, пока мы так бедны.

— Не согласна. Как было до меня, так будет и впредь.

Серьезные конфликты вызвало распределение юрмальских дач. Он полагал, что половину дачного фонда надо отдать в наем рижским рабочим. В нем говорил коммунист-подпольщик, с юных лет боровшийся за рабочее дело. А ему в ответ — это неправильно! Пятьдесят процентов дач — армии, тридцать процентов — ответработникам, десять — творческой и технической интеллигенции, что останется — то рабочим...

На бюро все складывалось неважно. Заседание затянулось. По рассказам свидетелей, твердых антиберклавцев было три, от силы четыре человека. А прочие? Хотя и старались быть объективными, хорошо говорили о нем, как о человеке, борце, но именно здесь, на бюро, некоторые впервые произнесли — «допускал политические ошибки», «линия была не совсем правильной». Может, думали, что тут диспут, чтобы впрямь товарищ Берклавс был критичнее к себе? Никому и в голову не пришло, что откровенность — это бумеранг, который не только по Берклавсу ударит, по остальным тоже. И что они сами дают возможность с собой расправиться, растоптать каблуком — уже с помощью иных сил. Причем на долгие-долгие годы. Ков-кто умер, не дожидавшись реабилитации.

Нет, жизнь, конечно, не остановилась. Экономика худо-бедно развивалась, в магазинах еще не все смело с полок, было и что поесть и что надеть. Веселились. Каждый урывал что мог и где мог, и в этом общем порыве мы и не заметили, как определенная

часть функционеров, возвысившись над остальными, разжирела на особых, обеспечиваемых и охраняемых государственной бюрократической системой харчах. И вот теперь только пробудились мы от спячки, словно кто-то встряхнул нас, и задумались, а каким же должен быть демократический социализм, а как же обществу жить-то по совести, да поскорее очиститься от грехов.

Однажды во Владимире Берклавсу выписали командировку в Ригу для встречи с ответственными работниками ЦК КПЛ. Приехал, позвонил первому секретарю — А. Э. Воссу. Занят. Пожалуйте ко второму — Н. А. Белухе. И председатель парткомиссии Р. Кисис тоже будет. Характер предстоящей беседы стал Берклавсу ясен. Как всегда, потребуют покаяния в трех вопросах: ошибался в подборе кадров, ошибался в языковой политике, ошибался с ограничением рижской прописки. Это и были обнаруженные июльским пленумом три страшных кита берклавского «буржуазного национализма». Положите на стол письменное признание, оно будет распечатано в прессе, включая всесоюзные издания, и только так можно смыть позорное пятно, и вернуться в Ригу, и получить хорошую работу, и гарантировать себе персональную пенсию.

Он отказался беседовать в присутствии Кисиса, встал и пошел на вокзал.

Постепенно картина прояснялась: жить ему во Владимире до окончания дней своих, и ничто уже никогда не изменится. И тут как-то сама собой возникла мысль: да к чертям эту номенклатуру, в рабочие надо податься — и путь домой открыт. И он сговаривается насчет места на тракторном, чернорабочим. Человек с такой биографией — и в рабочие?! Не пройдет, дорогой товарищ. Заместителем заведующего отделом научно-технической информации — это еще куда ни шло. На заводе нашлись понимающие люди. Не один ведь он в областном центре отверженный, непонятый, не сдающийся, ни на йоту не поступившийся нравственными принципами. Таких уважают и ценят.

— Знаете, Эдуард Карлович, мы передадим, пожалуй, ваше дело на парткомиссию. Как-никак более восьми лет честно трудитесь, вот и на заводе о вас хорошего мнения. Попробуем написать объективную характеристику, пошлем наверх по инстанциям, — сказал через какое-то время секретарь обкома Пономарев. — И наказание могут с вас снять.

— Товарищ секретарь, мы же пытались, и не раз. Всюду проходит как по маслу, пока не застревает в Москве. У Пельше.

Секретарь развел руками.

Доработаю до отпуска, сказал Берклавс, потом в Ригу подамся. Секретарь не возражал. Сказал только, что

он, Берклавс, не вправе сам подыскивать себе работу. По прибытии в Ригу — без проволочек явиться в орготдел ЦК.

— Счастливого пути в Латвию. Удачи вам!

Доброе напутствие. Но не успел он приехать в Ригу, как раздался звонок из орготдела. Там тогда сидел отменный «кадр» — П. Вилкс. Важный, надутый как индюк, большой дока по части сладкой жизни. Такой дока, что из ЦК пришлось его потом перевести управделами Совмина, а дальше сделать замминистра — словом, живи как хочешь, из номенклатуры никуда. Этому-то человеку на пару с Кисисом и поручили «устроить» Берклавса в Риге.

Кисис — лицо как маска, немигающий взгляд — повышает голос:

— У вас, Берклав, только два выхода — работать на Рижском электромашиностроительном заводе или письменно во всем признаться.

— Только два, — подтвердил Вилкс.

Берклавс выбрал первое. В отдел технической информации завода. С приближением пенсионного возраста понял, что пенсия выходит жидкая. Попросился маляром в городскую ремконтору. Не разрешили. Вам, сказали, будут начислять премии для пенсии. И что вы думаете — начисляли.

Оглядываясь теперь на этот мрачный период своей жизни, семидесяти-четырехлетний старик говорит, вздыхая:

— Да, неумно я прожил свою жизнь.

В тридцатые годы он хотел поступить в морское училище, а еще раньше мечтал выучиться играть на скрипке.

Я смотрю на его натруженные руки. Пенсионер Берклавс не один год проработал маляром. Ремонтировал квартиры. Физической работы он никогда не чурался. Эти руки — за штурвалом, со смычком? Диссонанс. А может, абсолютное попадание? За штурвалом или со скрипкой не солжешь.

... При обмене партдокументов в 1973 году подвернулся подходящий случай окончательно перечеркнуть его жизнь революционера. Поставить крест на всем, что он сделал. Некоторым членам бюро Октябрьского райкома партии города Риги не понравилось, что Берклавс разясняет на теоретических занятиях в своем коллективе ленинское учение по национальному вопросу. Там ведь русский по преимуществу коллектив! Они-то все понимают, претензий нет, а все же... И старый должок таким путем ликвидируется. И те, кто занимается его вопросом, ничегошеньки не знают о его революционной биографии. С 16 лет он побратался с риском. Комсомольцем стал в Кулдиге в 33-м.

Превентивные аресты на майские и октябрьские праздники. Провал в 1936 в Риге, тюрьма. За плечами узника — три года выпуска нелегальной газеты «Брива яунатне» («Свободная молодежь») в подпольной типографии (наша молодежка, празднует свой юбилей, об этой типографии, существовавшей в течение всех лет ульманисовского режима, конечно ни гугу — еще бы, ведь ее Берклавс организовал!).

Когда он рассказывает о своей революционной молодости, лицо его светлеет. Утро жизни, пусть и далекое уже, все равно прекрасно. Его молодость — это не шальные приключения, а логичные, осмысленные будни. Он знал, что делает и зачем. Не слепой фанатик, не витающий в облаках романтик — только необходимость, глубокая закономерность, чувство ответственности, требующее особого таланта. Что ни ситуация, то свое, нестандартное, подчас необычное, решение. Не всякий революционер на это способен — остро чувствовать момент, кожей ощущать ситуацию, избирать наиболее подходящую тактику реализации стратегического курса. И потом, уже в легальное время, будучи секретарем ЦК комсомола или Рижского горкома партии, он всегда стремился прояснить самое главное, во всем дойти до сути.

В 1936-м его выследили ищейки охраны и схватили на углу Миера и Майзницас, с уликами. Три с половиной года тюремного заключения, из них 2 года и 2 месяца в тяжелейших, унижительных для человеческого достоинства условиях Калнциемской каторги. Единственными из руководителей латвийского комсомола, Эдуард Берклавс и Паулс Балиньш (погиб на войне) встретили на свободе события 17 июня 1940 года. Многие легло на их плечи, и они действовали, хотя в учебниках, публикациях об этом не найти ни слова. А было всякое: и разоблачение провокатора охраны в роли не больше не меньше первого секретаря ЦК комсомола, и работа в качестве второго секретаря этого комитета, а затем лидером коммунистов Пролетарского района столицы, и годы войны... Да что там говорить! Но в 1973-м бюро Октябрьского райкома знать ничего не желало. Решение об исключении Берклавса из партии было единогласно утверждено ЦК КПЛ, во главе которого стоял А. Э. Восс.

Нет, Берклавс не сломлен. Человек не может отказаться от самого себя. Он хочет быть на стороне правды, на стороне народа.

Тридцать лет он был лишен имени. Мне хотелось вернуть это имя моему поколению, по крайней мере некоторой его части. Так я понимаю свой долг публициста.

Если не сегодня, то завтра полную правду узнают все.

ФИЛОСОФИЯ ГРАБИТЕЛЕЙ

КУЛЬТ ВОЖДЯ

Принцип вождизма и культ отдельных личностей в Германии отнюдь не были национал-социалистическим изобретением. Всюду, где существует антагонистическое классовое общество, этот принцип и этот культ постоянно находятся в арсенале средств борьбы реакционных политических сил, особенно усиливаясь в периоды войн или иных общественных потрясений. Субъектами культа в Германии были как монархи — Фридрих I Барбаросса, Фридрих II, Иосиф II, так и полководцы — Валленштейн, Мольтке, Гинденбург, как политические деятели, прежде всего Бисмарк, так и отдельные мятежники — Гец фон Берлихинген, Андреас Хофер (Гофер), были среди них и некоторые деятели культуры, правда чаще всего посмертно. Национал-социализм только довел до гротеска культ вождя, притом живого вождя, и подчас до абсурда — в теоретических обоснованиях и построениях.

Пеструю толпу участников немецкого фашистского движения, крайне неоднородную в классовом отношении, по жизненному уровню, образованности, религиозной убежденности, укореившимся политическим традициям и симпатиям, цементировало слепое повиновение лично Адольфу Гитлеру и, пожалуй, ничто другое. В идеологии национал-социализма вождь как бы олицетворял организованность, дисциплину, единство воли и целей и прочие объективные силы и факторы, имевшие существенное значение для успеха движения, но не находившие рационального объяснения, так как руководители его не хотели или не могли дать таковое.

Чем надежнее организация следует указанию сделать шаг короче или шире, тем увереннее вождь может шаг за шагом создать предпосылки для осуществления национал-социалистической программы.

Культ Гитлера в нацистском движении существовал с самого начала, он возник задолго до захвата власти. Личность Гитлера и его воля были единственной реальной программой национал-социалистов, всё остальное — утопия либо демагогия. Еще в апреле 1923 года по случаю 34-й годовщины со дня рождения Гитлера Альфред Розенберг писал о таинственной связи между вождем и его последователями, о том, что надежды и чаяния многих тысяч людей воплощаются в одном человеке. Сравнивая Гитлера с Фридрихом II и Бисмарком, он указывал: «... Но уже сегодня можно сказать, что имя Гитлер не только для нас приобрело мистическое звучание. С этим именем немецкий народ отделяет зерна от плевел. Это имя уже распространяется по всему миру как символ. Его ненавидят и любят, как всё великое».

Теоретическое обоснование культа вождя в национал-социалистической идеологии носило биологический харак-

тер — как выдвигание сильнейшего, то есть способнейшего индивида в результате естественного отбора. Согласно концепции национал-социалистов, народы надо оценивать по-разному, в зависимости от их расовой принадлежности, есть высшие и низшие народы, и точно так же внутри одной нации, по выражению Гитлера, голова голове рознь. И правильно и нормально, если миром правит лучший народ и лучшие люди. Наиболее ценным в том, что создано в материальной сфере или области идей, является «изобретатель как личность». Всё в мире открыто и организовано выдающимися людьми со светлыми головами, а не массами и не большинством. Правильная организация общества состоит в том, чтобы поставить головы над массой, а массу подчинить головам. «Личность», — писал Гитлер в книге «Моя борьба», — незаменима, в особенности тогда, когда она воплощает не механическое, а культурное и творческое начало. Так же как нельзя заменить знаменитого мастера и передать другому завершения незавершенной картины, нельзя заменить великого поэта, мыслителя, великого государственного деятеля и великого полководца. Ибо их деятельность относится к области искусства, она не усвоена механически и является врожденной по милости Божьей...» В политике такие люди не могут обрести влияние демократическим путем, так как их очень мало — обычно в одной нации имеется только один настоящий государственный деятель — и к выдающимся гениям широкие массы инстинктивно настроены враждебно; вот почему, указывал Гитлер, «легче верблуду пройти сквозь игольное ушко, чем «обнаружить» великого человека при помощи выборов».

Такое утверждение почти буквально повторяло взгляды о сильной личности и толпе, состоящей из посредственностей, провозглашенные еще в восьмидесятые годы XIX века Фридрихом Ницше в его книге «Воля к власти». Подобная позиция — это толкование закономерностей развития общества «с ног на голову». Действительно, для решения больших задач нужны выдающиеся и талантливые личности, но их нет нигде в готовом виде, зато они вырастают везде и всюду, где создаются благоприятные условия для развития талантов. К тому же значимость общественных явлений чаще всего зависит от того, в какой мере — сознательно или неосознанно — участвуют в них народные массы.

В статьях нацистских идеологов мы не найдем прямых указаний на то, каким образом «прирожденные руководители» должны придти к власти, но путь 1923 года ставит точки над «i». Впоследствии, когда у гитлеровцев появилась перспектива прийти к власти путем выборов, они внесли соответствующие изменения в свои идеологические установки. Но и после прихода к власти

нацисты считали ее источником не выборы или какую-либо иную конституционную процедуру, а волю вождя: «кто хотя бы приблизительно знаком с нашими условиями, — писал в 1934 году Герман Геринг, — знает, что каждый из нас обладает властью как раз в той мере, в какой ему желает предоставить ее вождь. Быть по-настоящему могущественным, а также распоряжаться мощными средствами государственной власти можно только находясь рядом с ним и следуя ему, а действия против его воли или даже его желания в тот же миг лишают человека какой бы то ни было власти».

К необходимым качествам вождя, по мнению Гитлера, относятся не только воля, но и способности, «причем следует придавать большее значение силе воли и действительности, чем гениальности самой по себе, но ценнее всего сочетание одаренности, способности принимать решения и упорства...» («Моя борьба», с. 384). В том же труде автор заявлял, что великие теоретики крайне редко оказываются великими организаторами и еще реже — великими вождями, так как не знакомы с психологией масс, а вот агитаторы и даже демагоги более пригодны направлять массы. Способность быть руководителем, считал он, это врожденное качество, у него нет ничего общего с богатством знаний.

Говоря о недавней истории, Гитлер замечал, что для немецкого народа большим несчастьем было правление философствующего слабого рейхсканцлера Бетмана-Гольвега. Будь вместо него у руля в Германии в годы первой мировой войны более крепкий человек из народа, наделенный здоровыми инстинктами, энергией и отвагой, «героическая кровь простого пренадера не проливалась бы даром» (там же, с. 481).

В нацистской идеологии не было никаких критериев или эталонов, по которым можно было бы судить о пригодности того или иного человека к выполнению функций руководителя. (Это лишний раз доказывает поверхностный, чисто фасадный характер рассматриваемой идеологии.) Конечно, способностью быть организатором или руководителем, как и иными талантами, люди наделены в неравной мере, что кому отпущено, но, подобно всем другим способностям, и эти могут быть развиты и отшлифованы. Выдвигаемые нацистами требования к руководителям ограничивались в основном волевой сферой и игнорировали ум, знания, умение руководить людьми. Массовое выдвигание к руководству в годы нацизма энергичных, деспотичных, но малообразованных, некультурных людей, и прежде всего в рядах немецкой фашистской партии, на несколько лет в конкретных условиях обеспечило, впрочем, национал-социалистическому движе-

нию определенные преимущества, прежде всего потому, что среди таких выдвиженцев не могло появиться возмущение преступлениями режима, они не колеблясь участвовали в этих преступлениях. Но в отдаленной перспективе именно перечисленные выше качества руководящих работников способствовали международной изоляции фашистской Германии, а также породили беспощадную борьбу отдельных личностей, организаций и ведомств за власть и влияние в самой Германии. Руководители фашистского типа своими действиями поставили страну на грань гораздо более тяжелой катастрофы, чем деятели монархистского толка.

Идеологи нацизма, полагая, что руководящие способности передаются по наследству и иначе не возникают, призывали искать только готовых, врожденных руководителей. К тому же они предостерегали от шаблона в подборе руководящих кадров, так как во многих областях может не найтись ни одного подходящего человека, в то время как в других — два или три одинаково одаренных.

Согласно нацистской концепции, качества, присущие вождю, в наибольшей мере имелись у Адольфа Гитлера, отсюда вытекает естественное основание его господства в Германии, а следовательно, и его сторонников. Гитлер должен был править страной потому, что он вождь по природе, а вовсе не потому, что провозглашаемая им программа лучше других. Вот практически и весь круг доказательств в трудах национал-социалистских идеологов в пользу правления Гитлера. Были и иные аргументы, но отрывочные и неубедительные, после захвата нацистами власти они вообще больше не упоминались.

Сам Гитлер в «Моей борьбе» толковал о праве на приоритет основоположников нового движения, и это проявляется в том, что движение не объединяется с группами и союзами, борющимися за ту же цель, а наоборот, в конкурентных битвах наиболее способный руководитель и наилучшим образом организованный движение добиваются победы, выдвигаются на первый план, отстраняя или подчиняя себе других.

Намного шире перепевалась на все лады идея о Гитлере-спасителе, который вызволил народ из беды. По словам Геринга, «... когда нужда достигла предела, Господь даровал немецкому народу спасителя, неизвестного солдата мировой войны, человека из народа: без имени, имущества или связей, скромного, простого и все же обладающего могучим величием характера и наделенного гениальностью. Адольф Гитлер вышел из глубин народа и взял немецкую судьбу в свои чистые и сильные руки».

Мысль о Гитлере-спасителе, посланном Богом, Геринг повторил в своей речи 18 марта 1938 года на заседании рейхстага и др.

О Гитлере как избавителе немецкого народа от позора и унижений говорил Роберт Лей, выступая в Мюнхене 25 февраля 1934 года. Р. Гесс в радиоречи 25 июня 1934 года назвал Гитлера орудием Высочайшей Воли, который пошел по верному пути сознательно или бессознательно.

Нацисты всю рекламировали выдумку, что в результате их деятельности

в Германии, мол, не осталось враждебных классов, народ един, и это особая заслуга Гитлера.

Обращаясь к работникам банков и страховых обществ в Берлине 15 октября 1936 года, Роберт Лей заявил, что благодаря Гитлеру рабочие, обыватели и разные прочие силы уже не борются друг с другом и все счастливы.

Г. Геринг тоже утверждал, что Гитлер осуществил вековую мечту немецкого народа — «из многогранности и раздробленности народа, из его классов и партий он создал один-единственный народ».

Излишне говорить о лицемерном характере подобных заявлений. Даже не принимая в расчет заметного усиления эксплуатации трудящихся, о каком единстве народа можно было говорить, если многие тысячи лучших его сынов томились в подвалах пыток гестапо и концлагерях, а для тысяч других единственной возможностью не погибнуть и сохранить свое человеческое достоинство стала эмиграция.

Нацисты пытались внушить народу, что Гитлер руководит им и формирует его судьбу по воле провидения, независимо от влияния земных властей. Правда, эти слова Гесса вступали в резкое противоречие с рассуждениями Розенберга о таинственных токах между вождем и его последователями, однако дисциплина мысли в национал-социалистской идеологии и не ночевала. Гитлер, провозгласил Геринг, выступая 28 октября 1936 года в берлинском Дворце спорта, один несет тяжесть судьбы нации на своих плечах. Еще раньше, в ноябре 1934 года, тот же Геринг заявил в интервью для херстовской печати: «Пройдите по фабрикам, пройдите по нашим конторам, поговорите с собственником имущества или с его работниками и повсюду задавайте вопрос о вожде. Куда бы вы ни пришли, вы получите всюду один и тот же ответ: один вождь, один народ! Нет другого государственного деятеля, который пользовался бы большим доверием, чем Адольф Гитлер». А Йозеф Геббельс в радиоречи 19 апреля 1943 года напыщенно провозгласил: «Народ, который называет такого вождя своим собственным и следует за ним с такой безраздельной преданностью, призван стать великим» (...ist zu Grossen berufen).

До покорения соседних с Германией народов власть Гитлера можно было еще обосновывать логической необходимостью — «один народ, один рейх, один фюрер» (фраза Геринга из речи 1 мая 1938 года, изобиловавшей цветистыми оборотами вроде «Германия вновь прекрасна, Германия вновь едина»). Позднее эта ставшая знаменитой формула послужила аргументом для уничтожения или ассимиляции других народов. Высшим авторитетом, ссылками на который немецкие фашисты могли подтвердить свое право управлять страной, было для них дарованное им доверие вождя. «Воля одного единственного человека определяет марш наших колонн, — восклицал назначенный Гитлером вождь немецкой молодежи Вальдур фон Ширах, выступая с речью 25 февраля 1934 года в Мюнхене. — Наш вождь и наш долг — вот движущие силы наших поступков и мышления...»

Вождь, указывал министр внутренних дел доктор Фрик 31 января 1934 года,

единственный, кто определяет содержание германской политики.

По нацистской концепции, роли Гитлера в государстве соответствовали его субъективные качества. «... Если христианин-католик убежден, что римский папа во всех религиозных и нравственных делах непогрешим, то национал-социалисты заявляют с той же внутренней убежденностью, что и для нас вождь во всех политических и иных вопросах, затрагивающих национальные и социальные интересы народа, абсолютно непогрешим», — писал Геринг. В области теории, замечал он в своей речи по случаю дня Силезии 26 октября 1935 года, национал-социалисты признают лишь один авторитет — книгу Гитлера «Моя борьба». Возможно, этим самым Геринг как бы открещивался от взглядов Розенберга, подвергавшихся в ту пору, особенно за пределами Германии, жестокой критике со стороны кругов католической церкви.

«Лишь одно лицо исключается из какой-либо критики, — заметил Р. Гесс в радиоречи 25 июня 1934 года в Кельне, — это вождь. Это потому, что каждый чувствует и знает: он всегда был прав и всегда будет прав. На исключающей критику верности, преданности вождю, которая не допытывается «почему?» в каждом отдельном случае, на беспрекословном исполнении его приказаний всеми нами и зиждется национал-социализм».

Народу Гитлера представляли как универсального гения, и все его поступки были выверены в соответствии с этой ролью. Архитекторам он советовал, что и как строить, поэтам — как сочинять стихи, генералам — как воевать, ученым — как вести исследования, администраторам и экономистам — как управлять государством... В этической концепции национал-социалистов вождь был высшим абсолютном добра, мерилом и критерием всех ценностей.

Разве что А. Розенберг позволял себе иногда ссылаться еще и на другую наивысшую ценность — национальную честь (см. «Миф XX века», с. 514).

Наиболее характерное качество Гитлера отметил в радиоречи по случаю дня рождения вождя 20 апреля 1935 года Йозеф Геббельс: «Сей муж фанатически поглощен своим призванием» (Dieser Mann ist fanatisch von seiner Sache besessen), ради него он пожертвовал личным счастьем и личной жизнью. В подобных обстоятельствах служение Германии означало служение Вождю. А величайшим достоинством народа (Das höchste Gut) согласно этой концепции является вера в свои силы и преданность вождю. И германская армия не заставляла себя ждать — со 2 августа 1934 года она присягала на верность лично Гитлеру.

Вопрос о слепой вере вождю, руководителю разработан нацистскими идеологами очень детально. Рудольф Гесс, обращаясь с речью к участникам молодежного национал-социалистского движения 26 февраля 1934 года в Мюнхене, указывал: «Герой германской закваски предан самоотверженно. Осознайте же это, когда вы присягаете на верность в день поминовения героев. От вас требуется не только преданность в поступках, но и преданность в помыслах. Преданность в помыслах часто требует не менее героической самодисциплины, чем преданность в

поступках. Преданность в помыслах означает нерушимую верность, не знающую никаких «но» и «если», никаких оговорок. Преданность в помыслах означает безусловное повиновение, не требующее от приказавшего быть целесообразным, то есть повиновение ради повиновения. Повиновение становится выражением героических помыслов тогда, когда следование приказанию ощущается повинующимся как лично невыгодное или противоречащее его наиболее сокровенным убеждениям».

Теоретики нацизма ничего не говорили о пределах компетенции и полномочий вождя. Таких границ просто не существовало. Как пояснял Геринг в интервью для херстовской печати в ноябре 1934 года, в юридических вопросах «право и воля вождя едины». Это давало в руки Гитлеру юридическое обоснование для убийства любого человека без суда и следствия, что неоднократно практиковалось в гитлеровской Германии. 13 июля 1934 года Гитлер произнес в рейхстаге речь, в которой прокомментировал свое участие в «ночи длинных ножей» 30 июня, в убийстве своих бывших боевых товарищей: «Если кто-нибудь ставит мне в упрек, что мы не привлекли обычные суды для вынесения приговоров, то на это я могу лишь ответить: в этот час я отвечал за судьбу немецкой нации, и этим самым я был высшим судьей немецкого народа (des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr). (Подчеркнуто в тексте, опубликованном 15—16 июля в газете «Фелькишер Beobachter» — В. 3.).

Зная, как национал-социалисты относятся к фактам, нетрудно понять, почему они именовали Гитлера, который, выполняя волю монополистов, беспощадно душил и преследовал все революционные и демократические силы, «великим стратегом революции» и «революционером самого высокого полета» (выражения из речи Г. Гесса 25 июня 1934 г.). Человека, чьим именем и под чьим руководством Германия была превращена в гигантский концентрационный лагерь и людскую живодерню, не стеснялись величать (Г. Геринг, речь в рейхстаге 18 марта 1938 г.) «горячо любимым вождем», «самым любимым среди смертных» и не краснея заявляли, что он «сделал нашу жизнь достойной того, чтобы жить!»

Наци стремились достичь и во многих случаях достигали (с помощью культа вождя) массового психоза. Вот как Геринг описывает поведение толпы вблизи Гитлера. Всюду, где появляется Гитлер, «лякование, гигантские толпы народа, все хотят видеть его — вождя. Как сияют глаза, особенно молодежи, как в беспредельной благодарности люди приходят в наивысший экстаз, и, подобно горящей искре, проносится сквозь толщу сгрудившихся масс эта весть: «Вождь идет!»» (см. «Строительство нации», Берлин, 1934, с. 58).

«Не ищите Адольфа Гитлера раскуском, — наставляла «Фелькишер Beobachter» своих читателей в номере от 27 февраля 1934 года, — вы все его найдете силой ваших сердец. Адольф Гитлер — это Германия, и Германия — это Адольф Гитлер. Кто присягает Гитлеру — присягает Германии».

Сам вождь чрезвычайно заботился о преумножении своей популярности и

при случае снисходил до рядовых членов НСДАП и СА. Прост был, прост. Если последним желанием какого-нибудь умирающего ветерана национал-социалистского движения было увидеть еще раз своего вождя, Гитлер, случалось, откладывал в сторону все дела и сидел у смертного одра (о чем умиленно поведал миру Геббельс в радиоречи 20 апреля 1933 г.). В сентябре 1940 года лично шоферу Гитлера исполнилось 30 лет — Гитлер приказал торжественно отметить день рождения, причем усадил шофера по правую руку от себя (об этом повествуется на 147-й странице политического дневника Альфреда Розенберга).

Геббельс особо выделял умение Гитлера радовать простых людей, и прежде всего во время предвыборной кампании. В своей книге «Немецкая революция» он писал о вожде так: «Он приступает к поездке с полными портсигарами и в каждый портсигар положены монеты — одна или две марки. Ни один подмастерье не останется без подарка. Для каждой матери найдется дружеское слово и для каждого ребенка — теплое рукопожатие». (1933 г., с. 227). Автор забыл только указать, откуда взялись эти марки и портсигары, ведь с начала первой мировой войны Гитлер никакой продуктивной работой не занимался.

Принимая славословия в свой адрес как должное, Гитлер со своей стороны признавался, что ему весьма-таки по вкусу обязанности вождя. «Я как вождь не мыслю бы для себя более величественной и возвышенной задачи на этом свете, чем служить сему народу», — сообщил он 1 мая 1935 года в речи на поле Темпельгофа. Исходя из этого, он очень внимательно следил за всеми реальными и вымышленными опасностями, грозившими его исключительному положению. Пропагандируя принципы правления, близкие к традициям абсолютных монархий или даже восточных деспотий, Гитлер яростно нападал на любые конституционные ограничения единоличной диктатуры. Возражения против возвеличивания отдельных личностей он старался представить как чрезвычайно коварную и опасную еврейскую выдумку. Еврей, утверждал автор «Моей борьбы» на 387-й странице своего труда, «чье величие значительно лишь в разрушении человечества и его культуры... хочет изобразить как нечто недостойное лишь поклонение народов своим собственным гигантам духа и клеймит их за это «культом личности».

С крайней опаской относился Гитлер и к своим ближайшим соратникам, боясь — и не без оснований — конкуренции и оппозиции. Еще задолго до захвата власти его чрезвычайно занимала мысль о том, что мелкие и ничтожные людишки внимательно следят за успехами удачливого человека, ревностно преследуют его, «совсем как воробы, которые на вид беззаботны, а на деле напряжены до предела и долго держат под прицелом более счастливого товарища, нашедшего кусочек хлеба, для того чтобы внезапно улучшить момент и ограбить его» (там же, с. 574). Не случайно поэтому, что дистанция между Гитлером и его боевыми товарищами, существовавшая уже до захвата власти, в 1933 и первой половине 1934 года непрерывно увеличи-

валась. Большинство нацистских лидеров с тех пор в отношениях с Гитлером изображали слепое рабское повиновение, ну а непокорные и упрямые были уничтожены физически 30 июня 1934 года.

Только отдельные весьма влиятельные и широко известные люди, считанные единицы, позволяли себе не потакать всем прихотям Гитлера. Так, финансист Ялмар Шахт, по собственному признанию Гитлера, никогда не обращался к нему со словами «мой вождь», а неизменно — «глубокоуважаемый господин Гитлер» (Sehr geehrter Herr Hitler) — и письма заканчивал не положенной стандартной фразой «хайль Гитлер», а глубокими изъявлениями своего непререваемого уважения. Разрешал себе игнорировать желания Гитлера и фельдмаршал Людендорф, например, он отказался приспустить флаг по случаю кончины Гинденбурга (см. запись в дневнике Розенберга 6 августа 1934 г.).

Слой руководителей и организаторов в аппарате НСДАП Гитлер считал неизбежным злом, полагал, что эта прослойка мешает непосредственному общению вождя с его последователями. Он писал: «при растущем числе сторонников нового учения постепенно носителем идеи становится невозможно лично воздействовать на многочисленных последователей, вести их за собой и руководить ими. Как раз в той мере, в какой рост сообщений исключает прямой и наиболее короткий контакт, наступает необходимость иметь соединяющее звено: идеальное состояние на этом кончается и вместо него делается необходимым зло организации... Трудно переоценить при этом геополитическое значение центрального средоточия движения. Только лишь наличие такого места, овеянного магическим волшебством, подобно Мекке или Риму, может влить в движение на долгое время те силы, которые основаны на внутреннем единстве и признании верхов, это единство олицетворяющих» («Моя борьба», с. 318). На практике нацисты не успели создать такой центр, или место паломничества, если не считать такими зал мюнхенской пивнушки, могилу Гинденбурга, партийный дом в Нюрнберге и др. Но мистерия «знамени крови» (Blutfahne) и особенно личное присутствие Гитлера на массовых митингах или заменяющих эффект личного присутствия бесчисленные изображения, фотографии, фильмы, радиоголос, миллионные тиражи «Моей борьбы» — все это свидетельствует о том, что вождь уделял много внимания прямому контакту или иллюзии такого контакта между собой и массой. Важнейшими требованиями Гитлера в отношении руководителей низших рангов были требования слепого повиновения и беспрекословной дисциплины (см. приказ Гитлера отрядам СА 30 июня 1934 г., опубликованный в книге Герда Рюле «Третий рейх. Год второй, 1934. Берлин, 1935, с. 248). Только слепое повиновение давало возможность лидеру национал-социализма вовлечь широкие массы, вопреки их собственным классовым интересам, в процесс укрепления господства монополий и подготовку новой мировой войны. Только слепое повиновение могло помочь Гитлеру удерживать «в одной связке» неоднородную массу членов НСДАП и партийных штурмовых отрядов и дать вождю определен-

ную гарантию того, что в этих организациях не вызреет оппозиция его политике и его главенству.

Выдвинутое Гитлером требование слепого безоговорочного повиновения четко соблюдалось всеми руководящими работниками фашистской Германии. 3 января 1935 года высшие администраторы, офицеры, руководители НСДАП, ее штурмовых отрядов, гитлеровской молодежи и других организаций и ведомств, собравшись в берлинской опере, преподнесли Гитлеру поздравительный адрес, где, в частности, говорилось: «В слепом повиновении мы и в этом году последуем за Вами, как за своим вождем, исполненные непоколебимой веры, что все Ваши чувства и мысли, Ваш неустанный труд посвящены расцвету и развитию немецкого народа».

Держась на определенной дистанции и твердо ее соблюдая, Гитлер все же создавал, что ему удалось захватить власть и удержать ее лишь благодаря действиям фашистских организаций и низовых руководителей. Собрав ветеранов СА в третью годовщину захвата власти 30 января 1936 года, он констатировал: «Всем, чем вы являетесь, вы являетесь благодаря мне. Всем, чем я являюсь, я являюсь лишь благодаря вам.» Будь на этом собрании и представители германских монополий, слова Гитлера можно было бы принять за чистую монету.

Молодые национал-социалисты должны были присягать в нерушимой верности вождю и безоговорочно послушанию назначенным им руководителям. Правда, согласно взглядам Розенберга, изложенным в «Мифе XX века», требование слепого послушания, так называемого «повиновения трупа», — семитского происхождения. От мусульман оно было воспринято иезуитами (знаменитое письмо Игнатия Лойолы о послушании) и как явный вызов введено в германо-западную духовную жизнь в 1553 году. Однако, судя по записанным высказываниям Гитлера (доктором Г. Пикером в ставке фюрера в 1941—1942 гг., см. боннское издание 1952 г., с. 275), он только местами читал это сочинение Розенберга, так как, по его мнению, книга чересчур сложная; поэтому он мог ничего и не знать о позиции Розенберга в этом вопросе...

По мнению Гитлера, движение необходимо организовывать следующим образом: «Первый председатель ответственен за всё руководство движением. Он распределяет вверенные ему силы организации, а также остальных сотрудников для выполнения необходимой работы. Каждый из этих господ при этом целиком и полностью отвечает за порученное ему задание. Он подчиняется лишь первому председателю, который должен обеспечить взаимодействие всех лиц и соответственно выбор исполнителей, издание общих директив и согласованность всей работы» («Моя борьба», с. 661).

Этот принцип обязателен для всех национал-социалистских организаций снизу доверху. Каждый низший руководитель ответственен только перед высшим. В организациях возможен обмен мнениями, но голосование недопустимо, так как решение принимает назначенный руководитель. Рядом с руководителем могут быть и советники, но без права решения. Сила политической

партии, на взгляд нацистов, «ни в коем случае не заключается в большей, по возможности, самостоятельной духовности отдельных ее членов, а в дисциплинированном повиновении, с которым ее члены следуют за духовным вождем» (там же, с. 510).

Многие деятели второго ранга в национал-социалистской иерархии стремились охарактеризовать движение со своих позиций и обосновать свою роль в нем. До прихода к власти и в первые месяцы существования нацистского движения они делали это с известным достоинством. «Национал-социализм сейчас всего лишь настоящее, — писал Геббельс 16 ноября 1929 года в еженедельном приложении «Штурмовик» к газете «Фёлькишер беобахтер» в своей статье «Воспитание и руководящий слой». — Если ему суждено стать будущим, то он должен создать иерархию и традицию... Все великие исторические образования, которые существовали продолжительное время, были изобретением политического мозга, которые были восприняты, а также реализованы равноценной ему и достойной его наследия иерархией... Без этой иерархии политический гений оставляет лишь руины, каркас и незавершенный сбор...»

В то время как политические идеалы Гитлера были близки к абсолютному монархизму, многие его последователи симпатизировали иерархической форме организации общества.

А. Розенберг характеризовал немецкое фашистское движение как форму некоего «союза мужей, можно сказать, некоего Немецкого ордена, который состоит из личностей, принимающих руководящее участие в обновлении немецкого народа». Розенберг, Дарре, Гиммлер и некоторые другие лидеры НСДАП старались сформировать новую аристократию по принципу чистокровности нордикской расы и с этой целью создавали учебные заведения для руководящих кадров, так называемые орденские школы, куда принимали только отборных юношей; предпринимались также попытки образовать новую касту людей благородной крови. Все эти мероприятия не затрагивали единоличной власти Гитлера и представляли собой одно из проявлений уже отмечавшейся нами непосредственности теоретических постулатов нацизма.

Стремление высших руководителей германского фашизма к олигархии или по меньшей мере к аристократическим формам правления яснее всего сформулировал Геббельс в своей книге «Сущность и образ национал-социализма» (Берлин, 1935). Политическую жизнь в фашистской Германии он сравнил с театральным представлением. «... Речь идет не о том, чтобы каждый зритель в театре выходил на сцену, заменяя актеров. Это право нельзя приобрести даже прилежным посещением театра, доступа в малую иерархию художественных образов можно добиться лишь тяжелейшим трудом. Любой человек не может нарядиться в тогу героя или — говоря политическим языком — надеть партийный отличительный знак и заявить, что он подлинный национал-социалист. Как бы любитель ни рядился в тогу, ему еще далеко до великого трагического актера. Напротив, великого трагика можно узнать и без тоги, а дилетант надевает тогу лишь потому, что

у него отсутствует талант трагического актера. Так же и в партии всегда должна оставаться иерархия национал-социалистского руководства. (Подчеркнуто Геббельсом. — В. З.). Меньшинство в ней должно непрерывно и постоянно настаивать на привилегии руководства государством».

Г. Геринг весьма последовательно пропагандировал мнение, что единственной основой власти любого нациста является воля Гитлера. Верховику НСДАП Геринг (дело происходило до июня 1934 г.) сравнивал с рыцарями Круглого стола короля Артура, среди которых есть один вождь. Самым лестным для себя титулом он считает звание «наипреданнейшего палачина нашего вождя».

Р. Лей в своей речи в Мюнхене 25 февраля 1934 года заявил: «Нашему поколению дано быть современниками величайшей революции нашего народа. И мы, политическое руководство, призваны судьбой быть носителями политической воли нашего вождя.» Но впоследствии у Лей, как и большинства национал-социалистских лидеров, самоуважения заметно поубавилось, и 15 октября 1936 года на собрании сотрудников немецких банков и сберегательных касс он констатировал: «Сегодня вечером меня назвали создателем Немецкого Трудового фронта. Я хотел бы отвергнуть этот титул. Я лишь орудие и исполнитель воли Адольфа Гитлера».

Личным качествам и методам руководства Гитлера и его ближайших помощников посвящены горы литературы. Тысячи разнообразнейших эпитетов употреблялись для восхваления или, наоборот, принижения этих лиц.

Не выходя за рамки обозначенной темы при рассмотрении вопроса о личностях нацистских лидеров, мы должны заметить, что большинство этих эпитетов касается только социальной и политической роли упомянутых деятелей.

Каковы же были личные качества руководителей национал-социалистского движения? В первой части этой публикации мы уже указывали, что почти все они были выходцами из кругов мелкобуржуазной интеллигенции. Большинство обладало теми же нравами, что и та среда, которая их породила. Насыщенное до краев насилием и авантюризмом национал-социалистское движение, по-видимому, казалось привлекательным для многих психически неуравновешенных и морально разложившихся людей, некоторые из них добрались и до руководящих постов. Скандальную славу приобрели пьянство Лей, гомосексуализм Рема и ряда других руководителей СА, садизм Гейдриха, порнографические «изыски» Юлия Штрейхера. Для обществу не было тайной и приставание Геббельса к актрисам его ведомства и безудержное обогащение Геринга и других национал-социалистских лидеров.

Гитлер нередко высказывал недовольство моральным обликом своих сторонников, особенно после так называемой «ночи длинных ножей». Пытаясь найти хоть какой-нибудь предлог для оправдания убийства без суда и следствия многих своих бывших последователей, он заявил в рейхстаге 13 июля 1934 года: «Если от народа требуется, чтобы он слепо верил руководству, то руководство должно также доверие это

заслужить результатами и примерным поведением. Отдельные ошибки и заблуждения могут появляться, их можно устранить. Но плохая работа, обильные возмания, оскорбления мирных и порядочных людей недостойны вождя, националсоциалистичны и в высшей степени омерзительны».

Современники отмечали, правда, что в других случаях Гитлер более терпимо взирал на образ жизни своих ближайших соратников, пытаясь выделиться тем самым на их фоне. Шеф печати Отто Дитрих в 1934 году так писал о вожде: «Вождь избегает употребления алкоголя, табака и мяса не из доктринерских, жизнеотрицающих принципов, которые ему хотелось бы навязать другим, а просто потому, что эта воздержанность приносит радость творчества, его творческие силы. Распорядок дня вождя ориентирован исключительно на работу и выполнение избранных им самим обязанностей. Адольф Гитлер вообще не знает регулярного сна». Исходя из такого «имиджа» Гитлер тщательно скрывал свою личную жизнь и со своей гражданской женой Евой Браун обручился только перед самым самоубийством.

Объяснение преступлений, творимых нацистами, только лишь или главным образом их плохими моральными качествами не проясняет глубокие корни этих преступлений. К тому же надо иметь в виду, что среди ведущих национал-социалистов было немало порядочных отцов семейства, трезвенников, исправных плательщиков по финансовым счетам, безукоризненно выполнявших свои обязательства, однако объективные результаты деятельности и этих «ангелов» представляли не меньшую опасность для мира и жизни миллионов людей. Не преуменьшая персональной ответственности гитлеровцев за совершенные преступления, мы не должны забывать, что без прямой и косвенной поддержки германской монополистической буржуазии, а впоследствии и правящих кругов других империалистических держав нацисты так и остались бы горсткой скандалистов, авантюристов и фанатиков и благополучно растворились бы среди многих других подобных им групп и группочек, которыми кишмя кишела Германия после первой мировой войны. Без такой поддержки национал-социалисты не смогли бы прийти к власти, развязать войну и совершить немало других невероятных по своим масштабам преступлений.

Автор разделяет точку зрения тех историков национал-социализма, которые характеризуют Гитлера как малообразованного, капризного, но способного и энергичного политического деятеля, могущего разработать самостоятельную политическую линию, подключить к ее реализации талантливых сотрудников и помощников и добиться от них согласованных действий. Те же характеристики, в которых Гитлер предстает людоедом, антихристом, безумцем, марионеткой или обожаемым вождем, отражают всего лишь эмоции определенных общественных кругов по отношению к социальной роли, которую суждено было играть этой личности, но к самой персоне Гитлера имеют слабое отношение. Есть определенные основания говорить о некоторых психических нарушениях в последние месяцы жизни

Гитлера, особенно после покушения на него 20 июля 1944 года, но до того каждое слово, каждый жест и даже кажущиеся приступы истерии во время речей были заранее продуманы и в целом ряде случаев тщательно отрепетированы перед зеркалом.

Подбор квалифицированных сотрудников, среди которых наиболее способными профессионалами исследователи признают Йозефа Геббельса в области пропаганды и Ямара Шахта по хозяйственным и финансовым вопросам, не единственная заслуга Гитлера. Крупные германские монополии и банки представили в распоряжение Гитлера большое число высококвалифицированных сотрудников, которые, заботясь об интересах монополий вообще и интересах собственных предприятий в частности, следили за тем, чтобы волонтаризм и полнейшая некомпетентность Гитлера в административных и хозяйственных делах не привела к дезорганизации работы этих отраслей.

Еще задолго до захвата власти ближайшие сподвижники Гитлера специализировались в определенной области партийной работы или государственных дел и группировали вокруг себя приверженцев национал-социализма, компетентных в соответствующих вопросах. Геринг и Гесс занимались организационно-партийной работой, Федер и позднее Шахт — хозяйственными и финансовыми проблемами, Дарре — сельским хозяйством, Лей — социальными вопросами, Розенберг — делами религий и восточной экспансии, Чаммер-Остен — спортом, Руст — просвещением, Франк — юриспруденцией, Геббельс — пропагандой (см. А. Франсуа-Повсе. Послос в Берлине, Париж, 1946, с. 83, 84). Захватив власть в стране, верхушка национал-социалистического движения быстро овладела государственным аппаратом. С течением времени в иерархии произошли некоторые персональные перестановки, но распределение компетенций существенно не изменилось. Каждый руководитель отрасли обладал чрезвычайно большой свободой действий и каждый отвечал за результаты единственно перед Гитлером. Такой порядок способствовал оперативному решению всех вопросов, так как не требовал бесконечных согласований в инстанциях, но вместе с тем он же был причиной непрерывно возраставших трений и даже конфликтов между отдельными ведомствами и их руководителями. Так, например, отношения между министерством пропаганды и министерством иностранных дел, соответственно между Геббельсом и Риббентропом, обычно были очень натянутыми. В годы войны спор о праве на руководство заграничной пропагандой достиг такой остроты, что Гитлер счел самым разумным заточить обоих министров на три часа в одном из купе своего специального поезда, чтобы они там пришли к единому мнению. Согласие, однако, так и не было достигнуто.

Назначенного Гитлером шефа печати Отто Дитриха до глубины души ненавидели и его прямой начальник Геббельс, считавший, что пресса получила чересчур большую свободу и независимость от министерства пропаганды, и официальный идеолог нацистской партии Розенберг, упрекавший Дитриха в стремлении к философскому универ-

сализму! Сотрудник аппарата НСДАП Мартин Борман, воспользовавшись болезненностью и мягкостью своего прямого шефа Рудольфа Гесса, постепенно прибирал к рукам все нити партийного руководства и, оттесняя Гесса от практической организаторской работы, понемногу становился одним из влиятельнейших в стране людей. Начальник отдела государственной безопасности (гестапо) Мюллер упорно пытался добиться падения своего начальника Гимmlера, но успеха не добился. В свою очередь Гимmlер, прозван в конце 1942 года о готовящемся на Гитлера покушении, и пальцем не пошевелил, чтобы его предостеречь.

Гимmlер всячески мешал Гитлеру ознакомиться с реальной ситуацией в стране, специально следили за тем, чтобы вождю не попадались сообщения полиции безопасности — под тем, разумеется, предлогом, что не стоит беспокоить фюрера неприятными мелочами. В то же время на людях он называл Гитлера гением германской расы, какие являются раз в тысячелетие (речь в Харькове перед офицерами трех дивизий СС).

В подобных обстоятельствах Розенберг имел известные основания записать в своем политическом дневнике 24 сентября 1939 года, что единство национал-социалистического движения обеспечивается авторитетом Гитлера и без него начнутся бои диадохов.

То, что Гитлер не подчинялся никакому контролю ни одной инстанции, петлячка неожиданно легких успехов на внешнеполитической арене, а также атмосфера культа личности со временем породили у самого вождя веру в собственную гениальность и правоту всегда, во всем и везде. Если до захвата власти он еще допускал мысль, что иногда даже важные проблемы могут успешно решать и другие, не хуже него, а подчас и лучше (см. «Моя борьба», с. 555 и 556), то начиная с 1938 года, по свидетельству историков, он все меньше прислушивался к мнению специалистов, все упрежнее настаивал на своих ошибочных решениях. В конце войны он уже высказал возмущение немецким народом, который якобы недостаточно велик и героичен для того, чтобы реализовать его, Гитлера, планы и замыслы.

Причиной поражения Германии во второй мировой войне не были, конечно же, ошибки Гитлера или какого-либо иного государственного деятеля. Дело было в объективной расстановке сил.

Когда оцениваешь методы и итоги политики Адольфа Гитлера, невольно приходят на ум слова, сказанные Карлом Марксом о другом политическом авантюристе — Наполеоне III:

«Лишь после того, как он... принял всерьез свою императорскую роль, воображая себя под наполеоновской маской действительным Наполеоном, — лишь тогда он становится жертвой своего собственного мировоззрения, превращается в серьезного шута, теперь уже не всемирную историю считающего комедией, а свою комедию — всемирной историей».¹

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Сочинения, изд. 2-е, т. 8, с. 168—169.

АМЕРИКАНСКАЯ ЖИЗНЬ ТАМАРЫ ГАВРИЛЕНКО

Договорились сразу: беседовать будем откровенно — без пропагандистских штампов, дежурных фраз и обязательных комплиментов. И сама тема, и личность моей собеседницы вполне могли свернуть течение разговора на столь прото-ранный путь, чего оба мы не хотели хотя бы потому, что одолеть профессиональных международных нам все равно не удастся, а Тамара могла рассказать много интересного о том, что нам не так уж часто приходится слышать: из чего складывается обыкновенная жизнь обыкновенного человека там, в стране за океаном, в Америке.

Дело в том, что жизнь и судьба Тамары Гавриленко не совсем обычны (для нас, разумеется). Советская гражданка, родившаяся в Ленинграде и прожившая там до двадцати восьми лет, она уже десять лет живет в Америке, в штате Нью-Йорк, где в нескольких часах езды от города в небольшом, но престижном Хэмилтон-колледже работает ее муж, профессор Дональд Ван-Атта (беседа с ним напечатана в 8-м номере журнала «Даугава»). Ныне Дональд совершенно свободно говорит по-русски, лишь с небольшим акцентом, который в Новосибирске или Краснодаре вполне сходит за прибалтийский, а познакомился он с Тамарой, когда стажировался в Ленинградском университете. Тема его текущей научной работы — сельское хозяйство СССР, точнее внедрение бригадного подряда; он часто бывает в Союзе, много ездит по стране, а Тамара приехала с ним в первый раз за эти годы, потому что подросли дети: Сьюзен (Алисе, как называют ее дома) скоро десять лет, а Дону — пять; все четыре месяца пребывания в СССР Сьюзен ходила в школу.

Сама Тамара окончила Ленинградский институт киноинженеров, работала в НИИ в отделе акустики, но, попав в Америку, занимается не менее, по ее мнению, важной работой — немного подрабатывая, она главным образом ведет дом, воспитывает детей, ходит по магазинам, кормит семью. Но разговор наш начался с последних дней ее пребывания на родине.

— Тамара, я знаю, что вы познакомилась с Дональдом у общих друзей, и к тому времени, когда он собрался домой, вы уже были мужем и женой. Представляю, как непросто было оформить эту процедуру, готовиться к отъезду, собирать вещи и так далее; для эмоций, наверное, почти не было времени. И все же — какое чувство доминировало у вас, когда думали, что уезжаете, если и не навсегда — ведь вы сохранили советское подданство — то во всяком случае надолго, в совершенно незнакомую страну, о которой у нас десять лет назад говорилось не так уж много привлекательного? ..

— Я понимаю, что вас интересует, но не было ни страха, ни радости... ни других эмоций, не имевших отношения к делу. Тогда, десять лет назад, я, неся в себе напор и злость, бесконечно ходила из инстанции в инстанцию, собирая справки за справками. Я тогда уже ждала Сьюзен, и мне хотелось, чтобы, когда

ребенок появится на свет, рядом был отец. А у меня требовали справку, например, что я не должна за телефон. И все мои объяснения, что у нас нет телефона, и в этом легко удостовериться, подняв трубку, были тщетны — принесите справку, и все тут. К тому же долго не было писем от Дона... и порой, в самом деле меня охватывал страх: куда же я еду? А потом пришли письма, целая пачка, и все стало на свои места.

Самолет «Аэрофлота» перебросил меня в Лондон, а оттуда через Сизл я добралась в Сан-Франциско. Вот в самолете я впервые ощутила ту трудность, с которой справилась лишь через два года — незнание языка; к тому же, прилетев в Сизл, я решила, что мы уже на месте, и страшно взволновалась, не обнаружив мужа. Но тут уже побеспокоилась авиакомпания: она радировала в пункт посадки обо мне, и меня встретил один старый, еще предвоенный эмигрант, который и помог мне сориентироваться. Так что, как видите, для эмоций, так сказать, высокого порядка, не было ни места, ни времени...

— Говорят, что самое первое впечатление — от человека ли, от страны — не только самое острое, но самое верное...

— Мы ехали из аэропорта в сплошном летящем океане белых и красных огней: белые — огни машин, что шли нам навстречу, красные — тех, что ехали в нашем же направлении. И тут я впервые подумала: да, это не Шереметьево... На следующее утро я проснулась в Беркли, где мы тогда поселились.

Дон был аспирантом, много занимался, и в мое первое американское утро его уже не было рядом. Я подошла к окну. По зеленым улицам ходили люди в шортах, и я обратила внимание... как бы это поточнее выразиться, на их раскованность и непринужденность. Сама я этим еще, конечно, похвастаться не могла. Пошла в магазин. Стоял апрель, но было все — и овощи и фрукты всех видов и сортов. Мелькнула мысль: надо купить и послать маме посылочку... Да, первые два года, пока я более-менее удовлетворительно не овладела языком, были очень трудны. Я и сейчас ощущаю себя иностранкой в Америке, а тогда, приходя домой, я просто плакала, чувствуя себя измотанной, как от тяжелой физической работы, от необходимости все время усваивать не только языковые обороты, но и ритм, стиль, обычай чужой жизни. И это несмотря на то, что люди в большинстве своем в Америке доброжелательны и расположены к тебе. Здесь я все время ловлю себя на том, что то и дело невольно говорю «Извините» и на меня, случается, смотрят с некоторым удивлением, поскольку такая бытовая вежливость здесь не в ходу, чтобы не сказать больше...

— К какой социальной прослойке принадлежит ваша семья? К среднему классу?

— В строгом смысле слова такого понятия «социальная прослойка» в Америке нет. Место человека в обществе определяется его доходами, но люди с разными уровнями доходов отнюдь не отделены друг от друга какими-то непро-

ходимыми перегородками, хотя, конечно, скромный инженер вряд ли попадает в компанию Рокфеллера.

Мы же относимся, ну, скажем, к нижней части среднего класса.

Дон пока получает 29 тысяч долларов в год. Это немного. Приходится выплачивать долги за его образование, я не работала, и мы все это время жили достаточно скромно.

— Что это значит по американским стандартам? У вас есть свой дом?

— Дом есть, но не свой: арендуем у колледжа. Сколько квадратных метров? М-м-м... трудно сказать. Наверху четыре спальни, внизу, на первом этаже, столовая, гостиная, кабинет, кухня... Платим мы за него 420 долларов в месяц, плюс расходы за отопление и электричество. Треть доходов на жилье — это нормально. Будем обзаводиться своим домом — конечно, в долг. Платить придется примерно столько же, но деньги ведь уже будут идти в свой карман; платить придется лет тридцать. Так живет вся Америка — в долг, и знаете, с течением времени я стала понимать преимущества такого образа жизни: ведь далеко не всегда у тебя есть под рукой крупная сумма, чтобы сразу же приобрести машину, дом и так далее.

— Финансовое положение человека — влияет ли оно как-то на отношения между людьми?

— Вы знаете, совершенно нет. Во всяком случае, в том кругу, в котором я живу. Но все не так просто. Скажем так: в Америке стараются «разводить» человеческие отношения и финансовые. Это принято одалживать друг другу: для этого есть банк. Если идут в ресторан, каждый платит сам за себя, за исключением специально оговоренных случаев. Не принято устраивать — кроме особо торжественных случаев — наших званых обедов, когда стол ломится от снеди. Собираются гости, и каждый приносит что-нибудь с собой, на скорую руку собирают стол — и идет общение.

Сначала, признаюсь честно, меня корбили такие отношения. Казалось, что они пронизаны черствостью. Но потом я поняла и их удобства. Исчезает отягощенность ненужными обязательствами: тебя пригласили на обед, и ты должна реваншироваться тем же; не нужно мучительно долго ждать возврата долга и, краснея, напоминать о нем друзьям — и так далее.

— Все эти годы вы в основном ведете дом. Характерны ли вы для сегодняшней Америки?

— Уже не совсем. Работающая женщина в Америке стала нормой. Причины к этому самые разные, бывает, что мужчине не может содержать семью на том уровне, на котором бы ему хотелось, но чаще женщина идет работать, чтобы как-то утвердить себя, «выйти в люди». Тем не менее, как правило, основной «добытчик» в семье — это мужчина.

— Не подстерегает ли вас та опасность, о которой у нас в последнее время говорят достаточно часто — некоторая излишняя эмансипированность женщин далеко не лучшим образом сказывается на

здоровье семьи, на воспитании детей? . .

— Да, такая опасность есть, и за примерами далеко ходить не надо. Но, видите ли, Америка — очень прагматическая, очень практическая страна, и если эта опасность громко заявит о себе, то с ней, я думаю, сумеют справиться. Правда, уже сейчас уровень разводов в Америке достаточно высок — до 50 процентов; впрочем, мне кажется, что процесс этот, безотносительно к занятости женщин, характерен для всех развитых стран.

— Вернемся к вашей семье, к вашему быту. . .

— Дом, естественно, требует много хлопот, но не открою большого секрета, если скажу, что в Америке домашний труд женщины очень облегчен, в частности, прекрасными машинами и большой простотой в мелочах. . .

— Мелочи — это самое интересное. . .

— Приглашая гостей, я ставлю на стол изящную разноцветную пластмассовую посуду, и когда гости уходят, я не мою ее, а сворачиваю скатерть по углам и со всем содержимым выбрасываю: и столовое белье, и посуду — все одноразового пользования.

— Стирка. Я сейчас, простите, даже носовой платок не стираю руками. Зачем, если это время можно использовать куда продуктивнее? Кидаю все в стиральную машину, засыпаю порошок, включаю режимы, и с другого конца вынимаю уже отжатое белье; в сушилку — и все готово, гладить его не надо. В кухне у меня стоит посудомоечный «агрегат», так что и тут времени я не теряю. . .

— Питание. . .

— На него, включая расходы на покупку стиральных порошков, туалетной бумаги и прочих мелочей уходит до четверти доходов. Раз в неделю езжу в магазин, набиваю продуктами холодильник. Молоко может спокойно стоять неделю, не превращаясь в кефир.

О наличии тех или иных продуктов спрашивать не стоит. Есть все. Статья в «Литературной газете» «Месяц в деревне», где рассказывается, что американский магазинчик — даже самый маленький — не откроется, если в нем не будет, скажем, 12 видов растительного масла, совершенно точно отражает положение дел. Мясо дорогое, но единой цены нет. Говядина с костью стоит одну цену, без кости — другую; можете купить курицу целую, выпотрошенную, пол- или четверть курицы или индейки. Все зависит от наличия денег и от того, как ты хочешь спланировать свое время: в конце концов, сможешь позвонить в магазин и тебе все доставят на дом. Слова «достать» в Америке нет, и мои американские друзья долго не могли понять смысл этого выражения. . .

— С какими проблемами в быту, в общении вам пришлось столкнуться?

— О, они возникали с первого же дня и порой совершенно неожиданно для меня — даже в общении с Доном, который все понимает. Например, он мне вдруг с возмущением говорит: «Почему ты кричишь на меня?» Тут уж возмущаюсь я: «Как это кричу? Ты с ума сошел!» К счастью, недоразумение быстро выясняется: оказывается, просто я говорю с ним так, как привыкла говорить всю жизнь, а Дон считает, что я чем-то возмущена. С чисто бытовыми проблемами — например, в Америке вилку держат как ложку — я научилась справляться довольно быстро, но долго не могла

привыкнуть к стилю общения, который, в свою очередь, зависит от всего стиля жизни — быстрого, стремительного, до предела делового; в Америке не приняты долгие гостевания, столь характерные для нас, с долгими неторопливыми разговорами, девиз «Время — деньги!» пронизывает даже общение с друзьями, и к этому я долгое время не могла привыкнуть, пока сама не научилась ценить время так же, как американцы. Но и такой стиль общения имеет свои плюсы. Ты можешь испытать раздражение, прочитав строчку на приглашении в гости: «Ждем вас от 18.00 до 21.00», но с другой стороны, ты знаешь, что тебе никто и никогда не будет лезть в душу. Расскажешь сама о своих бедах — тебя внимательно выслушают, помогут, если надо, но твой внутренний мир принадлежит только тебе. . .

— У вас двое детей. Расскажите, Тамара, как они растут и воспитываются.

— Рождение Сьюзен обошлось нам в девять тысяч долларов, которые пришлось выплачивать самим: не было страховки. За Дана уже 80 процентов расходов платила страховая компания. И рождение и болезни детей в Америке дорогое удовольствие. Сьюзен как-то пришлось провести в больнице две с половиной недели — 14 тысяч долларов. Правда, больницы там такие, что, простите, уходить не хочется: палаты на одного-двух человек с телефоном и телевизором, меню на следующий день; никому не приходит в голову давать рубли нянечке или таскать в больницу сумки с супами — несут цветы, книги. Когда дети были маленькими, я сначала, как водится, стирала ползунки и пеленки дочки, а потом бросила это дело. Раз в три дня выставляла у порога дома мешок с грязным бельем и забирала чистый, который привозила специальная компания.

Дети в Америке воспитываются гораздо свободнее. Это, конечно, не значит, что им позволяют садиться на голову, но за проступки ребенка не ругают, не шлепают, а стараются объяснить, что к чему. Наверное, я от многого отвыкла. Не могу понять мать, которая, увидев, что ее двухлетний малыш выскочил на улицу, тут же, при людях, шлепает его — он же не виноват. Совершенно невозможной была бы сцена, которую мне недавно пришлось наблюдать на пляже, когда отец отлупил своего двенадцатилетнего сына. На детей нельзя кричать, их нельзя бить — они вырастают закомплексованными. Дети в Америке, даже в очень обеспеченных семьях, рано познают, что такое труд, заработанные деньги. Летом, во время каникул, почти все работают. Не знаю, правда, что делать, когда столкнешься с широко распространенным обычаем: принято, что детям платят за какие-то работы по дому — так они зарабатывают свои карманные деньги. Нет, все же не думаю, что это может привести к очерствлению, к привычке каждое движение души оценивать в центах и долларах: а вот привычка ценить заработанные деньги у детей появится — это точно; так что мне придется, скорее всего, смириться с этим обычаем.

Интересная деталь: когда родился Дан, я столкнулась со столь знакомой проблемой: трудно устроить ребенка в детский сад. Объясняя свое положение — надо же учить язык, мне очень трудно, устаю — я не выдержала и расплакалась. И — все мгновенно устроилось: в Америке

очень боятся женских слез, как ни смешно. Садиком своим Дан очень доволен, и это понятно: там один воспитатель на 3—5 детишек; они все время узнают что-то новое, практически никогда не болеют.

Неплохо пошла дела в советской школе и у Сьюзен, хотя она человек по натуре тихий, замкнутый, и ее несколько утомляло то внимание, которым она была постоянно окружена; но она понимала, что к ней относятся с совершенно добрыми чувствами.

— Приходилось ли вам сталкиваться с эмигрантами из СССР?

— Практически нет. Во-первых, как ни странно, они меня, особенно эмигранты так называемой третьей волны, не принимают: для них я, вышедшая замуж за американца, человек не их круга. Они продолжают жить в своем кругу, очень трудно и как бы нехотя вставая в новую жизнь — обсуждают все те же проблемы, перебирают старые обиды, общаются только между собой. . . нет, мне это не интересно.

— Я рад за вас, что в вашей семье так все хорошо складывается. . . но неужели нет ничего, что беспокоило бы вас, волновало бы?

— Что вы, конечно есть. Есть постоянное беспокойство за завтрашний день. Есть такое четкое понимание того, что, если потеряешь работу, то можешь оказаться на улице. Уровень социальной защищенности в Союзе все же выше. Из квартиры вас никто не выгонит. На прожиточный минимум и даже больше того всегда можно заработать. Как бы ни было низко качество медицинского обслуживания, оно все же бесплатное. Так же как образование — а я уже думаю, что для колледжа Сьюзен нужно 16 тысяч долларов в год, разве что она проявит особые способности, и ей помогут с оплатой. . . Говорю я вещи, конечно, для вас общеизвестные, но чтобы они представали во всей объемности, надо как-то отдалиться от них. Но Америка заставляет все время улыбаться, как бы ни было трудно, и в этом есть большой смысл: с улыбкой в самом деле легче жить. . .

— Тамара, я хочу задать вам непростой вопрос: как вы сами считаете — где сейчас ваш дом?

— Да, вопрос непростой, я вам отвечу с той же степенью откровенности, с которой он был задан. Здесь у меня родные, у меня советское подданство, я приезжала и буду приезжать в тот город, где я родилась и выросла. Но десять лет жизни в той стране, где родились твои дети, со счетов не скинешь. Как ни странно, меня заставила задуматься над этим жесткая до жесткости пропускная система в общегитити МГУ, где мы жили по приезду — ряды вахтеров, их дотошные распросы, кто к кому и зачем идет. Может, и мелочь, но я вдруг поняла, как отвыкла от таких мелочей, по ненужному отягачивающих жизнь. И мне захотелось домой, к себе. . .

Скоро мы уезжаем, оставляя вас в сложном переломном времени, которое переживает вся страна. И мне бы хотелось, чтобы все то хорошее, что есть в Америке и о чем я постаралась рассказать, стало нормой и здесь.

С Тамарой Гавриленко беседовал
ИЛАН ПОЛОЦК

ЭДУАРДС БЕРКЛАВС:

«...НЕ СЧИТАЮ. ЧТО ДОЛЖЕН МОЛЧАТЬ...»

— Как вы примкнули к революционному движению?

— Причин было несколько, но две главнейшие — во-первых, знакомство с комсомольцами-подпольщиками Кулдиги, где я жил в тридцатые годы, а во-вторых, пропаганда Московского радио. Я был очень удручен тем, что после начальной школы не мог поступить в гимназию из-за тяжелых материальных условий, поэтому все услышанное нашло путь к сердцу. Отец мой работал каменщиком, он умер, когда мне было четыре года, мать-батрачка не могла дать гимназическое и высшее образование пятерым детям. Пришлось нам зарабатывать себе на пропитание. Пока я учился в начальной школе, летом работал пастухом, но в гимназии учебный год длился дольше, и никому не был нужен такой пастух... Другая причина моего легковерия — низкий образовательный уровень и недостаток жизненного опыта. Я не знал о подлинном положении дел в Советском Союзе. Утверждения, будто латышская пресса занималась «клеветой на Советский Союз», лживы. К сожалению, о тамошней жизни писалось мало, и мы не были достаточно информированы.

После окончания начальной школы я поселился в Кулдиге, учился на наборщика, а по вечерам продолжал свое образование в Народном университете при гимназии, где можно было освоить полный гимназический курс. В свободное время я участвовал в социал-демократических молодежных организациях «Дарба яунатне» («Трудящаяся молодежь») и «Страдниеку спортс ун саргс» («Спорт и страж рабочих»). В них вступали и комсомольцы, под влиянием которых я и стал активным участником комсомольского подполья. У нас часто появлялись профессиональные подпольщики-коммунисты. Помню, из Риги несколько раз приезжал профессиональный комсомольский организатор Гибие-тис (после 1940 года он руководил профсоюзом какой-то отрасли промышленности, кажется, текстильщиками, приезжал в качестве профессионального пропагандиста Паэгле, позднее долгие годы проработавший в Валмиере ответственным редактором газеты «Лиесма», приезжал Дзервите, приезжали другие. Это были симпатичные люди, хорошо подготовленные к исполнению своих

обязанностей. Так я и стал комсомольцем-фанатиком, причем убежденность моя сохранялась довольно долго.

— Вы и сами были профессиональным участником революционного подполья — работали в нелегальной типографии, в 1940 году какое-то время замещали первого секретаря Центрального Комитета Союза трудящейся молодежи Латвии. Не расскажете ли об истоках коммунистического движения в Латвии с 1917 по 1940 год?

— Ответ будет краток: все началось и развивалось под руководством Латышской секции III Коминтерна. Попробую доказать свою точку зрения, поскольку она не совпадает с бытующим до сих пор среди историков и партийных работников мнением.

В Петрограде и Москве были организованы специальные школы, в которых готовили профессионалов для работы в некоммунистических государствах, в том числе и в Латвии. Среди латышских стрелков и других латышей, оказавшихся в те годы в России, было немало подходящих для такой деятельности — им предлагали поступать в эти школы, чтобы потом направить на нелегальную работу в Латвии. Их задачи были таковы: создать нелегальные партийную и комсомольскую организации, всеми средствами компрометировать государственный строй и наиболее известных деятелей, славить Советскую власть и жизнь в Советской России, позднее — в Советском Союзе.

Я упомяну лишь тех, кого знаю долгие годы: Фрицс Деглавс окончил высшую партшколу в Петрограде в 1923 году, потом нелегально работал в Латвии. Вернулся в Москву, в 1931 году окончил специально организованный университет западных народностей и опять был послан в Латвию — уже как секретарь ЦК Компартии. Примерно такова же была судьба Роберта Нейландса, Яниса Калнберзиньша, Жаниса Спуры, Петериса Плесумса, Андрейса Абеле и многих других. Средства, необходимые для нелегальной работы, и жалование они получали из Москвы.



Июль. Рига. Знамя.

Фото: Алдис Ермакс



Я не хочу этим сказать, что упомянутые мной люди, положительные во всех отношениях (кроме Калиберзиньша, о котором так отозваться не могу), пошли на нелегальную работу ради денег. Нет. Их, как и меня, опьянил в свое время чад сталинского коммунизма. Они жили с мыслью, что их труд — благороден.

— Какова была роль молодежных организаций — социал-демократических, студенческих, комсомола — в тридцатых и сороковых годах, каким было соотношение сил?

— До мая 1934 года социал-демократические молодежные организации были очень популярны, охватывали широкие массы молодежи, активно вели культурно-просветительную работу, спортивную работу. И влияние студенческих организаций тоже было немалым.

Но комсомол до 1940 года и не мог быть массовой организацией в условиях нелегальной работы. Он никогда не был особенно популярен и не мог существенно повлиять на настроения и жизнь латвийской молодежи.

— Какие цели ставил перед собой Союз трудящейся молодежи Латвии?

— Что касается внутренней политики, то у Союза трудящейся молодежи Латвии вообще не было никакой программы. Была критика существующего государственного строя, при котором власть не в руках у трудящихся, при котором существует эксплуатация. Главное политическое требование было — легализовать Союз демократической молодежи Латвии и Компартию, главное экономическое требование — повысить заработную плату и уменьшить рабочий день.

— В одном из номеров газеты «Советская культура» за этот год эстонские ученые писали, что социал-демократы, несомненно, были самой влиятельной рабочей партией в Западной Европе. Почему же они играли сравнительно небольшую роль в прибалтийских государствах? Я имею в виду переворот 1934 года и события 1940 года.

— Слабость социал-демократов Латвии объясняется, на мой взгляд, тем, что у них выделились две резко противоположные группировки: правая и левая. Левые были за сотрудничество с Советским Союзом и после переворота 1934 года часть из них ушла в подполье и сотрудничала с Коммунистической партией, а молодежная организация и вовсе объединилась с комсомолом, создав таким образом Союз трудящейся молодежи Латвии. Правая группировка до 1934 года была за коалицию с либеральными гражданскими партиями. После 1934 года эта группировка фактически перестала существовать, и потому в событиях 1940 года роли не играла.

— Вы, будучи секретарем ЦК Союза трудящейся молодежи Латвии и бывшим подпольщиком, участвовали в 1940 году в формировании нового состава правительства.

— Я был исполняющим обязанности первого секретаря, когда меня пригласили на заседание ведущих деятелей Компартии. Оно состоялось в июне 1940 года в квартире на улице Маза Яуниела, в Риге. Члены ЦК КПЛ Калиберзиньш, Нейландс и Спуре находились в Рижской центральной тюрьме. Потому и получилось, что так называемыми «избирателями» Народного правительства на упомянутом собрании были партийные работники среднего ранга — Кадикис, Валбакс, Густонс, Виндедзе, Скутельска, еще несколько человек, которых я поименно не помню, и я — представитель ЦК комсомола Латвии.

По сути все это было лишь декорацией, а действие развивалось по сценарию уполномоченного из Москвы Вышинского и посла СССР в Латвии Деревянского. На этом собрании даже не обсуждался весь состав свежизбранного правительства. Пришедший из посольства Ансис Кадикис сообщил, что главой нового правительства избран всемирно известный микробиолог профессор Аугустс Кирхенштейнс, он упомянул и других членов правительства. Еще не решили толком, кого назначить наркомом внутренних дел, — врача Куршинского (позднее он стал известен как писатель Курцийс) или писателя Вилиса Лациса. Но скорее уж Лациса, потому что посольство известно — Куршинский когда-то был склонен к троцкизму. Так и получилось.

Таково было участие латышского народа в составлении так называемого Народного правительства. О дальнейших событиях — кто отправился к президенту Ульманису сообщать о новом правительстве, кто его представил, как отреагировал Ульманис, — точно рассказать не могу.

— Когда перечитываешь газеты за июль 1940 года, многое непонятно. Например: на манифестации трудящихся Риги 5 июля заведующий профсоюзным отделом ЦК КПЛ Путниньш подчеркнул, что КПЛ не выдвигала лозунга о присоединении Латвии к Советскому Союзу. С этим лозунгом вышли враги, которые «вклялись в наши ряды» (см. «Яунакас зиняс», 6 июля 1940 года). Министр земледелия Ванас в речи на собрании агрономов обещал не повторять ошибок 1919 года, подчеркивая, что принадлежность к трудящемуся крестьянству было бы ошибочно определять количеством гектаров, а тем, кто был связан с Крестьянским союзом или с организацией айзсаргов, пообещал, что «счетов с ними сводить не будут» (см. «Яунакас Зиняс», 6 июля 1940 года). Как вы считаете — многие ли ораторы, выступавшие на митингах, не знали, что они — лишь марионетки? Может, это просто была такая тактика, до выборов говорить одно, а после них делать совсем другое?

— Я знал председателя республиканского совета профсоюзов Путниньша и министра земледелия Ванаса как честных людей, и думаю, что они не лгали; они представляли себе советский государственный строй лучшим, чем он был на деле.

Путниньш, вероятно, знал, что еще до выборов была разработана так называемая избирательная платформа Блока

трудящихся, и в ней не было пункта о включении Латвии в состав Советского Союза. Не народ решил — вступать или не вступать в Советский Союз. Это решили выбранные на несвободных и неконтролируемых выборах, подсказанные партийным руководством депутаты, и я не верю, что у кого-либо из них эта мысль возникла без указания «сверху».

— Латвия еще не вошла в состав СССР, когда Карлис Ульманис был выслан в СССР.

— Думаю, что даже такой опытный политик и государственный деятель, как Карлис Ульманис, не ожидал, что с ним так обойдутся, о чем свидетельствует и его последнее обращение к народу по радио: «Оставляйте вы на своих местах, я останусь на своем». О дальнейшей судьбе Ульманиса ни народ, ни мы — работники партии и комсомола — ничего не знали. Допускаю, что даже у вновь избранного главы Народного правительства Аугустса Кирхенштейнса не спросили, как быть с Ульманисом, что и его поставили перед свершившимся фактом. Ульманис пропал без вести. Люди шепотом расспрашивали друг друга, ходили разные слухи, но ни правительство, ни пресса ничего не сообщили. Высылка Ульманиса была актом насилия и беззакония.

Террор в Латвии начался еще до 18 ноября 1918 года, когда Латвия стала отдельным государством. С сожалением приходится признать, что всегда среди латышей находились люди, отдававшие себя в распоряжение чужой силы и власти, принимавшие участие в терроре. Это величайшее несчастье и вина латышей — то, что они участвовали в междоусобице и самоуничтожении.

— Какие посты вы занимали позднее, в сороковые и пятидесятые годы, вплоть до 1959 года?

— Какое-то время после образования нового правительства я так и оставался исполняющим обязанности первого секретаря ЦК комсомола Латвии, потому что, хотя первый секретарь Курлис и был одновременно с другими коммунистами освобожден из тюрьмы, но за сотрудничество с политуправлением Латвии его через несколько дней арестовали, и он пропал без вести. Мы остались без первого секретаря. Ставший первым секретарем ЦК КПЛ Янис Калиберзиньш предлагал этот пост и мне, и моему другу Петерису Садовскому, но мы отказались — ведь мы знали лишь, что нужно делать для свержения существовавшего строя, но не знали, как строить, и каковы задачи комсомола в новых условиях. Немного позднее мы сами нашли первого секретаря: в гарнизонах Красной Армии, размещенных в Латвии уже в 1939 году, было немало латышей, выполнявших в Латвии спецзадания. Одновременно с появлением в Латвии Вышинского, на советском военном корабле «Марат» прибыло еще какое-то количество латышей. Эти люди были распределены по организациям и учреждениям, как бы для помощи свеженазначенному руководству в выполнении поставленных Москвой задач.

К редакции нашей газеты «Брива Яунатне» тоже были прикомандированы три политработника. Они посидели несколько дней в редакции и убедились, что, не будучи ни журналистами, ни лингвистами, помочь тут ничем не могут. Тогда они пришли ко мне в ЦК и спросили, нельзя ли их использовать на какой-либо другой работе. Из разговора выяснилось, что один из них, Эдуардс Либертс, когда-то работал в Пскове по комсомольской линии. Я рассказал, что никто их нас не знает, как действовать дальше. И спросил прямо — согласится ли он, если ему предложат демобилизоваться и стать первым секретарем ЦК комсомола Латвии. Получив согласие, я немедленно повел его к Калиберзиньшу и сообщил, что нашел первого секретаря. Калиберзиньш не хотел тратить много времени на такой пустяк и, спросив, желает ли этого сам Либертс, обещал уладить все формальности, а Либертс пускай сразу берется за дело.

Итак, до 10 января 1941 года я сперва был вторым секретарем ЦК Союза демократической молодежи Латвии, а когда его реорганизовали в комсомол Латвии, позднее — в Ленинский комсомол, оставался на этом же посту.

10 января 1941 года меня пригласили на заседание бюро ЦК КПЛ. Когда я вошел в зал для заседаний, секретарь по работе с кадрами ЦК КПЛ Аугусте уже держала в руках мою анкету. Я услышал предложение утвердить меня первым секретарем вновь организованного Пролетарского райкома партии Риги. Пробовал возразить, что никогда не имел отношения к партийной работе, но это не помогло. И я работал в райкоме вплоть до начала войны, когда был вынужден покинуть Ригу.

С августа 1941 года до 1946 года я служил в Красной, позднее — Советской Армии. Сперва — солдатом в стрелковой роте, потом — солдатом в минометной роте, политруком в роте саперов, комсоргом полка — одновременно мне было присвоено офицерское звание. Потом был назначен помощником начальника политотдела дивизии по комсомольской работе, через какое-то время, когда латышские стрелковые полки слились в латышский стрелковый корпус, меня назначили помощником начальника политотдела корпуса по комсомольской работе, потом — старшим инспектором политотдела.

В 1946 году меня вызвали в Москву, предложили демобилизоваться и стать первым секретарем ЦК ЛКСМ Латвии. Когда я занимал этот пост, то и удостоился чести быть названным «латышским буржуазным националистом».

Я хотел уйти с комсомольской работы, и, не найдя другого способа, спешно сдал экстерном экзамены за среднюю школу (еще до восстановления Советской власти, работая в Риге, я учился и на курсах при ЛГУ, готовивших таких, как я, самоучек, к экзаменам за курс средней школы, и в Рижском ремесленном училище) и подал заявление о приеме в высшую партшколу.

Школу я закончил успешно, а вот преподавателем не стал. Когда учился на последнем курсе, меня заочно и без моего согласия избрали членом Рижского горкома партии, а когда вернулся из школы — членом бюро и секретарем горкома. Позже избрали секретарем комитета по пропаганде.

Если память мне не изменяет, именно в 1954 году я по требованию Вилиса Лациса был назначен заместителем председателя Совета Министров Латвийской ССР. На этой работе пробыл года два полтора. Тогда, опять не считаясь с моим мнением, меня избрали первым секретарем Рижского горкома партии, вместо скончавшегося Эдгарса Алпинса. Вскоре я стал также членом ЦК КПЛ и членом Бюро ЦК. А потом опять переместили на пост заместителя председателя Совета Министров. На нем и проработал до июля 1959 года.

— Когда вы впервые усомнились в «правильности» событий, свидетелем которых были? Когда и как возникли у вас разногласия с Коммунистической партией, в которой вы состояли?

— Трудно назвать конкретную дату, и даже год. Я весь пропитался фанатизмом и долго не мог прийти в себя. Первые трещинки в моей убежденности — дело случая. Например, когда я ехал с делегацией пионеров и комсомольцев в Москву в сентябре 1940 года, то видел в окне вагона неухоженную землю, захламленные дворы заводов, беспорядок и нищету.

Меня основательно встряхнула бесчеловечная акция 14 июня 1941 года. Я, первый секретарь Пролетарского райкома партии, Вецвагарс, первый секретарь Кировского райкома, и Нейкоферс, первый секретарь Сталинского райкома, только на следующий день узнали, для какого «спецзадания» нам накануне велели выделить определенное число коммунистов. Это задание мы получили от Карлиса Пуго, он был тогда секретарем Рижского горкома партии, но никаких подозрений не возникло, ведь похожие задания мы получали и раньше — например, когда национализировали аптеки, магазины и т. п. Теперь нам известно, что акцией 14 июня руководил присланный из Москвы комиссар Шустин. Это было таким потрясением, что заглушить его в какой-то мере смогла лишь война. На войне не думали о жалости, не думали о смерти, каждый день вокруг — сотни смертей. На войне — отношения, определенные приказом и безоговорочным повиновением.

В то время все были охвачены психозом сталинской мудрости, сталинского всемогущества.

Но когда я глядел на усеянные трупами поля, когда под Москвой мы наступали среди бела дня, по ровному полю, на горку, где укрепился враг (там погиб и мой брат Эрнест), — то не давала покоя мысль: неужели все это необходимо, неужели задание невозможно выполнить умнее, не губя поцем зря людей!

После второй мировой войны латышского крестьянина умышленно морочили выделением земельного участка, поскольку те, кто осуществлял этот план, отлично знали про незаμεдлительную организацию колхозов. Зачем же нужно было дурачить безземельных крестьян — выделять им землю, заставлять приобретать инвентарь, домашний скот, работать круглые сутки, если все это лишь способствовало рождению иллюзий! Разве это не аморально, не бесчеловечно! А потом — принудительная коллективизация, насильственная высылка в 1949 году! Я тогда учился в Москве и лишь позднее узнал об этой ужасной акции.

После войны во всех республиках, за исключением России и Грузии, были организованы так называемые оргбюро ВКП(б). Без их санкций в республике нельзя было издать ни одного постановления, принять ни одного решения. Создание таких оргбюро было грубым нарушением партийного устава. В Латвии руководителем оргбюро был Шаталин, после него — Рязанов. Только потом я понял, что задачей оргбюро было установление такого порядка, при котором фактически вершителями судеб республик были бы присланные из Москвы вторые секретари и секретари по кадровым вопросам. В Латвии вторым секретарем ЦК КПЛ был назначен, а потом и избран Иван Лебедев, секретарем по кадровым вопросам — Федор Титов. Когда это совершилось, оргбюро ликвидировали.

В Ригу тогда ежемесячно приезжало на постоянное жительство более двух тысяч человек. Всюду раструбили, что Латвия — отсталая аграрная страна, но теперь ей следует стать высоко-

развитым индустриальным регионом. Потому московские ведомства планировали расширение уже имеющихся в Латвии предприятий и строительство новых, не считаясь ни с экономическими, ни с научными доводами. Ничто не принималось в расчет. Главное было — наводнить республику приезжими. Руководство республики не противилось реализации этого замысла, в сущности не противится и теперь. Наоборот — оно всячески содействует осуществлению этого плана, что убедительно доказал на состоявшемся в июне сего года объединенном пленуме творческих союзов главный архитектор Риги Гунарс Асарис. Приведенные им примеры и цифры просто потрясают, они свидетельствуют о том, что эти сознательно проводимые мероприятия угрожают существованию самого латышского народа. Нужно ли удивляться тому, что латышский народ отчаянно сопротивляется этим замыслам!

Но вернемся к тем временам, когда латыши еще составляли большинство в населении республики. Хотя довольно много представителей других народов уже поселилось здесь, последовали и требования увеличить время передач на русском языке по Латвийскому радио и телевидению, тиражи газет, издаваемых на русском языке, строить для приезжих школы, в вузах организовывать русские потоки на факультетах. И дошло до того, что многим специальностям теперь обучают только по-русски. Было велено организовывать школы с двумя потоками — русским и латышским. Было велено обучать русскому языку еще с детского сада. Изобретались все новые и новые затеи — пропаганда смешанных браков, прохождение воинской службы молодыми латышами в России, пионерские лагеря, где латышские дети отдыхали вместе с детьми, не говорившими по-латышски, предъявляемое к коллективам художественной самодеятельности и профессиональным театрам, хорам, танцевальным ансамблям требование включать в репертуар произведения русских авторов. . .

Я видел все это, я знал, как происходят так называемые свободные выборы, как фабрикуются их результаты, и все это разрушало мою веру в партию и Советскую власть.

Я не был диктатором, как меня потом честили. Я собрал для серьезной беседы министров юстиции и внутренних дел, председателя Верховного суда, руководство горисполкома, прокурора и начальника управления милиции, секретарей райкомов и горкома партии, председателей райисполкомов и др.

Я рассказал о положении дел в городе и заявил, что не вижу другого способа нормализации жизни, кроме строжайшего ограничения притока новоселов в Латвию — естественно, не нарушая при этом всесоюзных директив. Я попросил всех высказаться, выдвинуть другие предложения. Было признано, что другого пути нет, и если бы тогда городским властям было позволено продолжать начатый курс, сегодня не пришлось бы спорить о метро, атомной электростанции и гидроэлектростанции, о спасении природы, о взаимоотношениях национальностей. Стоило бы вспомнить, что и до 1940 года в Риге жили представители других народов, но это не было результатом искусственной и форсированной миграции, просто таковы были исторические обстоятельства.

Тогда городские власти официальным письмом запросили через Совет Министров республики Совет Министров СССР, в праве ли они ограничивать приток жителей. Ответ был утвердительный.

Мы хотели, чтобы хорошо жилось всем, кто поселился в Риге, независимо от национальности и времени их прибытия. Было принято постановление о том, что всем работникам сферы обслуживания нужно знать и русский и латышский язык хотя бы на разговорном уровне. Сперва приезжие ворчали, но в конце концов взялись за учебу. Были организованы семинары на предприятиях, и учителя работали даже без материального вознаграждения.

Латыши не протестовали против того, что им, у себя дома, приходится изучать русский язык. Но нашлись люди, которые увидели во всем происходящем возрождение буржуазного национализма. . .

Возрождением национализма назвали и то, что мы не захотели в первом районе массовой жилой застройки, на Югле, строить дома по уже устаревшим типовым проектам, дома такого типа еще и теперь можно видеть в Шмерли, между улицами Ленина и Гагарина. Нас упрекнули, что мы ориентируем архитекторов на Запад.

Когда мы вместе с Карлисом Озолиньшем, Волдемаром Калпиньшем и самыми прогрессивными писателями вступились за латышское литературное наследие, когда боролись за публикацию произведений Рудолфса Блауманиса, Павилса Розитиса, Аспазии, Карлиса Скалбе, Яниса Акуратерса, Зенты Маурини, Александра Чака, за возвращение их книг в библиотеки, тогдашний секретарь ЦК КПЛ Арвидс Пельше категорически заявил, что вообще трудно говорить о существовании более или менее значительной культуры в Латвии до Советской власти.

Когда городские власти хотели сохранить Юрмалу как место отдыха рижан, не превращать ее в курорт всесоюзного значения, то и это сочли проявлением национализма. Но надо же понимать что ни один большой курорт всесоюзного значения не имеет под боком города с почти миллионным населением, которому тоже нужна зона отдыха.

Короче говоря — в каждой нашей попытке нормализовать жизнь республики видели национализм. Были организованы письма в Москву, подписанные латышскими фамилиями, без указания адреса. В письмах выражалась тревога насчет возрождения буржуазного национализма в Латвии и говорилось о необходимости вмешательства.

Организаторами были шовинистически настроенные переселенцы, имевшие уже опыт подобной деятельности. Они знали, что большое количество таких писем «в главный ЦК» вызовет соответствующее настроение в верхах и рано или поздно в Латвию приедет комиссия. Когда меня вызвали в Москву — была идея вернуть меня с поста первого секретаря Рижского горкома партии на место заместителя председателя Совета Министров — мне сказали, что вот, вчера получено 147 писем из Латвии. И во всех письмах местные жители сообщают, что в Латвии возрождается буржуазный национализм, а руководитель этого движения — якобы я. Веду я себя, как помещик в усадьбе: кто мне по нраву, тому разрешаю жить в Риге, кто не по нраву — того не прописываю. И подписи — чисто латышские: Озолиньш, Калниньш, Берзиньш... Они своего добились: скоро прибыла из Москвы в Ригу специальная комиссия, которая, не мудрствуя лукаво, составила грозный обвинительный акт всей республике, а строже всех обвинила меня. Арвидс Пельше все это одобрил, Калнберзиньш не возражал. Комиссия отбыла в Москву.

Я обратился к Янису Калиберзиньшу и Вилису Круминьшу, который тогда был вторым секретарем ЦК КПЛ, чтобы они, имея возможность встретиться с Хрущевым, поехали в Москву и честно, откровенно рассказали обо всем, что происходит в Латвии. Калнберзиньш ехать отказался, Круминьш пообещал, но не поехал.

Вот какая сложилась ситуация, когда в 1959 году в Ригу прибыл Никита Сергеевич Хрущев, чтобы встретиться с приехавшими из ГДР Ульбрихтом и Гротеволем. Недолго пробыв у нас, высокие гости отправились в Киев, а Хрущев еще на день задержался в Риге, чтобы, как он сам выразился, познакомиться с членами бюро ЦК КПЛ. Я считал, что этим случаем нужно воспользоваться, чтобы открыто сказать Хрущеву: положение в Латвии напряженное, национальные отношения обострились, корень всех бед — массовый приток представителей других народов в Латвию, который, кроме всего прочего, еще идет и во вред российским областям, откуда уплывает рабочая сила, что приезжие дезорганизуют нашу жизнь, что среди них немало таких, кто своим поведением компрометирует русский народ, русскую культуру, что государству невыгодно такое чрезмерное расширение производств в Латвии, особенно металлоемких, что есть немало и других проблем.

Вечером того дня, когда гости отбыли, я вошел к Вилису Лацису и сказал, что хочу говорить об этих вопросах на заседании бюро. Лацис ответил, что он не видит такой необходимости. Я позвонил членом бюро ЦК, председателю Президиума Верховного Совета Латвийской ССР Карлису Озолиньшу, кандидату в члены бюро редактору газеты «Циня» Пизансу и попросил, чтобы они до заседания зашли к Вилису Круминьшу. Там мы и собрались. Я сказал — нельзя допустить, чтобы Хрущев, так и не узнав о настоящем положении дел в Латвии, получил подготовленное комиссией обвинение, нужно говорить. У Круминьша были и другие члены бюро. Они согласились, что говорить надо, но из-за тактических соображений мне этого делать нельзя, приезжие и так считают меня главным врагом. Так что я помолчу, а говорить будут они... Но и они промолчали, испугались за свою шкуру. Меня провели. На заседании бюро никакого серьезного разговора не получилось.

О последующих событиях можно прочитать в статье М. Сална «Без имени». Незачем заставлять людей дважды перечитывать то же самое.

Вкратце — я был обвинен в искажении ленинской национальной политики, затем последовали заседание бюро ЦК КПЛ и пленум ЦК КПЛ, на котором я был освобожден от всех должностей.

Некоторое время спустя меня вызвали в Москву. ЦК считал нежелательным мое дальнейшее пребывание в Латвии, и я был переведен на работу во Владимир, где и провел восемь с половиной лет.

С 1959 по середину шестидесятых около двух тысяч человек было освобождено от занимаемых должностей.

Говорят, теперь опять сгруппировались силы «писателей», шлющих в Москву депешу о том, что в Латвии в очередной раз возрождается буржуазный национализм.

— Уже 8 сентября 1950 года «Циня» опубликовала доклад А. Пельше, в котором сказано: «ЦК констатирует, что особенно неблагоприятная ситуация сложилась в институте микробиологии, где при прямой поддержке его директора тов. Кирхенштейнса свили гнездо буржуазные националисты... коммунистов и русских товарищей на работу в институт не принимают. Никакой серьезной научно-исследовательской работы институт не ведет, это лишь кормушка для буржуазных националистов...» Каково ваше мнение об Аугусте Кирхенштейнсе, Янисе Калнберзиньше, Вилесе Лацисе, Жанисе Спуре, Андрее Куршинском-Курцийсе?

— Я, насколько это возможно, постараюсь не давать характеристик этим людям. Просто расскажу несколько эпизодов, а выводы пусть делают сами читатели.

Профессор Аугуст Кирхенштейнс еще до 1940 года был широко известен как выдающийся ученый-микробиолог, человек с демократическими взглядами, не проявлявший никакой политической активности. Именно такая фигура нужна была в 1940 году Вышинскому, чтобы создать впечатление, будто новое правительство Латвии — воистину демократическое и избранное латышским народом правительством. Сам профессор, видимо, не понял, для каких целей его используют. По личным беседам знаю — позднее он болезненно переживал, что взялся за это дело и ездил в Москву просить от имени Сейма о принятии Латвии в состав СССР. Высшее партийное руководство поняло, что профессору не по вкусу дальнейшие действия Советской власти, и потому уже в пятидесятые годы его старались «отодвинуть» в сторонку. Я не могу компетентно оценить научную работу, проводимую институтом микробиологии в то время, но нет сомнений, что нападение Арвидса Пельше на профессора Кирхенштейнса обусловлено вышеприведенными причинами. Пельше всюду мерещились «буржуазные националисты», точнее — ему было приятно выглядеть «буржуазных националистов».

С Янисом Калнберзиньшем мы сотрудничали много лет. Будучи секретарем ЦК КПЛ, он как-то принял меня, как сотрудничать с представителями из Москвы. Говорил он примерно следующее: «Я знаю, что у тебя бывают разногласия с товарищами из ВЛКСМ. Вот как действую я, чтобы ни с кем не сориться. Приезжает в командировку к нам кто-нибудь из «большого ЦК», пусть даже работник самого низшего ранга. Когда он входит, чтобы сообщить о своем задании, я с извинениями его прерываю и спрашиваю, удовлетворен ли он гостиничным номером, предоставленным ему кабинетом, доставкой газет и журналов, работой нашей столовой, нет ли каких особых пожеланий. И только если он всем доволен, я его слушаю. И никаких споров. Мне нередко звонят министры из Москвы, и мы всегда хорошо понимаем друг друга».

Другой случай: какое-то время Калиберзиньш был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Как-то он рассказывал нам, группе членов бюро ЦК КПЛ, как легко и приятно работать в Политбюро. Никита Сергеевич высказывает свое мнение по каждому вопросу, и оно настолько гениально, что ни прибавить, ни убавить. Остается только поднять руку и проголосовать.

Еще один характерный эпизод: национальные проблемы в Латвии уже порядком обострились, и мы, группа членов бюро, настояли, что в связи с одним из обсуждаемых вопросов Калиберзиньш должен немедленно позвонить Хрущеву. После долгого сопротивления он обещал, что вот утром позвонит. Когда мы в назначенное время пришли к нему, Калиберзиньш сказал, что звонить все же не будет, вчера он обо всем всем рассказал Шуре (так звали его жену), и она его отговорила, поскольку неизвестно, как к этому отнесется Хрущев. А если Калиберзиньш полетит с работы! Кем он тогда станет!

Известно, что многие приезжие пользовались любым случаем обратиться с просьбой к высокому начальству, и чаще всего с просьбой о жилье. Калиберзиньш на всех таких заявлениях писал соответствующую резолюцию и пересылал председателю Рижского горисполкома для исполнения. Понятно, что это дезорганизовало всю систему и носило разлад в определенный порядок распределения жилплощади. Я вынужден был поговорить об этом с Калиберзиньшем. Он ответил: если хотите, чтобы я не писал таких резолюций, то позаботьтесь, чтобы я не получал таких заявлений, я не хочу быть тем «плохим человеком», который вечно отказывает.

Характерными чертами Калиберзиньша были: недостаток принципиальности, отсутствие своего мнения и своей точки зрения, угодливость по отношению к сильнейшему. Его подпольная кличка «Заяц» выражала всю его сущность.

О Вилесе Лацисе как о писателе скажу немного. Его сочинения доступны всем, и каждый может сам судить о них. Мне нравятся те его произведения, что написаны еще до войны — о той жизни, которую он действительно знал и мог объективно осветить. Его послевоенные произведения — о жизни, которую он мог наблюдать разве что из окна легковой машины, и изучать по различным отчетам и планам, — мне кажутся менее значительными.

Его практическая деятельность ограничивалась формальным руководством заседаниями Совета Министров и бюро, участием в заседаниях бюро ЦК КПЛ, где он очень редко высказывал свое мнение. Не помню, чтобы Вилис Лацис в качестве председателя Совета Министров собрал своих заместителей и старших референтов, обсудил с ними задачи правительства на близкое или отдаленное будущее или сложившуюся ситуацию.

На заседании ЦК КПЛ в 1959 году он не мог молчать, потому что сам дважды просил в Москве, чтобы меня назначили его заместителем. Большую часть своей речи он посвятил восхвалению того, что сделано в подотчетных мне отраслях, но признал, что в политике я встал на неверную, националистическую точку зрения. Он написал во всесоюзном журнале «Партийная жизнь», № 16 за 1959 год, в статье «Благородные преобразования», что... у нас, к сожалению, нашлись такие руководящие работники, которые пытались отклониться от верного пути развития республики, направить его в сторону национальной ограниченности и замкнутости. Например, бывший заместитель председателя Совета Министров Латвии тов. Берклавс при обсуждении проекта семилетнего плана открыто выступил против генеральной линии партии, нацеленной на развитие тяжелой промышленности, упорно требовал отказаться от расширения вагоностроения и дизельостроения в Латвии и увеличить капиталовложения в легкую и пищевую промышленность, продукция которых должна была бы в основном обеспечивать потребности республики.

Эти предложения, по сути, не означают ничего иного, кроме стремления к автархии, национальной ограниченности и замкнутости, и в случае, если бы они были приняты, это принесло бы большой вред государственным интересам, а также и латышскому народу, привело бы к разрушению межреспубликанских экономических связей, задержало бы развитие производственных сил в Латвии. Но Центральный Комитет Коммунистической партии республики дал достойный отпор этому.

Надо добавить, что здесь Лацис тенденциозно исказил мою точку зрения на развитие промышленности. Я считаю, что в Латвии нужно развивать промышленность такого профиля, который здесь существовал издавна: электротехнику, точную механику, бытовую химию, то есть отрасли, требующие небольшой по количеству, но высококвалифицированной рабочей силы. Увеличения количества выпускаемой продукции следует добиваться только за счет повышения производительности труда.

Моя точка зрения полностью соответствовала концепции, разработанной двумя талантливыми экономистами Дзерве и Трейя. Но она противоречила планам союзных ведомств. Обоих вышеупомянутых экономистов также освободили от занимаемых должностей. Паулиса Дзерве даже лишили звания члена-корреспондента Академии наук. Об этом позаботился лидер поклонников противоположной точки зрения Арвидс Пельше и его друг Янис Бумбиерис, тоже горевший фатальной ненавистью ко всему латышскому.

Прочитав вышеупомянутую статью Вилиса Лациса, я написал ему из Владимира письмо:

«С удивлением прочитал в журнале «Партийная жизнь» Вашу канинскую статью. Она поразила меня. Я до сих пор не знал, что вы способны в корыстных целях сознательно оболгать другого человека. Бесконечно больно было пережить свою ошибку относительно Вас.

Поскольку теперь ясно видно, что от Вас нельзя ждать человеческой порядочности, и поскольку Вы все это дело в своей статье вынесли на всенародное обсуждение, я больше не считаю своим долгом молчать. Я вынужден сам защищать свою честь. И пусть народ знает, что у Вас два лица: одно — для народа и в литературе, другое — для начальства».

В. Лацис передал это письмо в соответствующие органы. Мне его показал приехавший во Владимир инспектор Центрального комитета по контролю партии.

О Жанисе Спуре трудно судить. Внешне он был этаким бойким защитником советской власти, иногда — авантюристом, но мне кажется, что он боролся со своей совестью, что ему не давала покоя какая-то внутренняя боль, и этим объясняется злоупотребление алкоголем и трагическая смерть на Валдае.

Андрейса Куршинского-Курциса я лично не знал, вместе работать не приходилось, потому о нем высказаться не могу.

— Как предприятия, работавшие по технологии европейского уровня того времени (ВЗФ, «Лайма», Броценский цементный завод, «Ригас аудумс» и др.) перешли в подчинение к союзным ведомствам?

— Точка зрения партии и правительства всегда была такая — максимальная централизация власти и экономики. Только Хрущев, охотник до экспериментов, произвел некоторую экономическую децентрализацию, создав в 1957 году так называемые народнохозяйственные управления во всех республиках и областях. Это

было прогрессивное начинание. В 1965 году управления народного хозяйства были ликвидированы. Мы вернулись к всесоюзным масштабам... Концентрация экономической власти после 1965 года увеличилась и привела к тому, что в прямом подчинении Совета Министров Латвии были оставлены только Министерства местной промышленности и коммунального хозяйства с подчиненными им предприятиями. Именно чрезмерной концентрацией руководства, на мой взгляд, объясняется упадок многих фабрик и заводов Латвии, приведший на грань краха.

— Как бы вы оценили сегодняшнюю политическую, социально-экономическую и культурную ситуацию в республике?

— На этот вопрос компетентно, честно и убедительно ответили специалисты, каждый — в своей области, в июне сего года на расширенном пленуме творческих союзов Латвии.

Я охотно процитировал бы их речи, но это займет слишком много места, и каждый может прочитать эти речи в июньских и июльских номерах «Литература ун Максла».

Скажу коротко.

Из-за ошибок в управлении деформирована промышленность и пришло в упадок сельское хозяйство. В людях сформировалось безответственное отношение ко всему окружающему. Природа Латвии пострадала от загрязнения, природные ресурсы выработаны. Народное здравоохранение отстало. Образование на очень низком уровне. Впервые за время своего существования латышский народ оказался в меньшинстве на собственной территории. Лежат в развалинах около 300 000 хуторов, раньше таких характерных для сельского пейзажа Латвии, примерно треть памятников архитектуры и искусства, находящихся под охраной государства, в плохом или аварийном положении. 400 памятников искусства нуждаются в неотложной консервации, в том числе ансамбль Братского кладбища в Риге. В очень плохом состоянии примерно 50 исторических органов, разорены кладбища. Эти цифры упомянула на пленуме художница Джемма Скулме.

В статье 74 Конституции Латвийской ССР предусмотрено право «вступать в контакты с зарубежными государствами» и «участвовать в деятельности международных организаций», но фактически все послевоенные годы у латышского народа не было и теперь все еще нет возможности свободно определять и реализовать суверенные государственные права своей республики и нации. Ограничение прав суверенной государственности у нас повсюду — в искусстве, в спорте. Латышским спортсменам, например, запрещено представлять цвета своей республики на межгосударственных и региональных соревнованиях, на Олимпийских играх. Систематически задерживается и затрудняется выход латышского искусства на мировую арену.

Считаю необходимым также отметить, что после июльского (1959 г.) пленума КПЛ, на котором была осуждена деятельность Рижского горкома партии по ограничению массового притока переселенцев, в шестидесятых годах, по сравнению с предыдущим десятилетием, количество приезжих удвоилось и достигло 147 тысяч, а объем капиталовложений в промышленность утроился. Чтобы охарактеризовать ситуацию, процитирую выводы из задания Госплана СССР «Прибалтийский экономический район»:

«Чрезмерная концентрация промышленности в Риге привела к серьезным трудностям в области обеспечения водой предприятий и населения, к сильному загрязнению воздушного бассейна города... Рабочей силы не хватает, хотя количество жителей города стремительно растет... Стабилизация города возможна только в том случае, если не связывать строительство предприятий с увеличением количества рабочих мест. Недостаток рабочей силы в Риге увеличивается и в связи с размещением новых крупных предприятий в пригородной зоне». Это было написано в 1970 году. С тех пор положение лишь ухудшилось.

Где же выход? Я согласен с предложениями секретаря правления Союза композиторов Латвии Арнолдса Клотиньша. Надо выработать такое законодательство, «которое полностью бы расшифровало и четко определило суверенные государственные права каждой республики, а также полную их реализацию в политическом, экономическом, национальном, социальном и культурном развитии, в соответствии с гуманными принципами социализма».

Известный и всеми уважаемый композитор Имантс Калниньш охарактеризовал положение в Латвии еще короче: «Ситуация действительно взрывоопасна... Я думаю, что просто чаша уже переполнена... и, чтобы перелом не был трагическим, надо действовать, надо что-то делать, и делать немедленно, моментально, потому что пока мы тут сидим, очередные 20 000 уже входят к нам».

Да, надо действовать. И действовать надо правительству. И всем нам. Нужно быть упорными в своих требованиях.

С ЭДУАРДСОМ БЕРКЛАВСОМ беседовал
АЛЕКСАНДРС КИРШТЕЙНС

ЭДВИНС ИНКЕНС, журналист

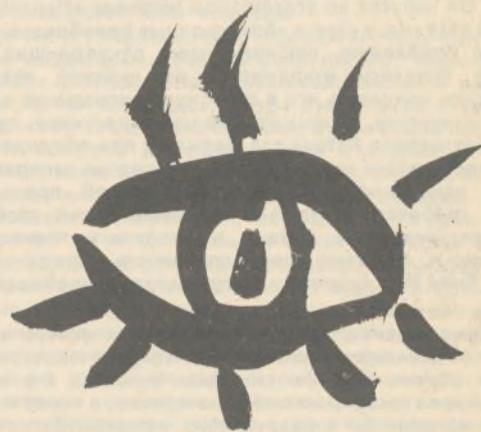
Зачастую мы не умеем отличить существенное от несущественного, поверхностное от подлинно важного. Прошло время, когда поднятие красно-бело-красного флага было вопросом личной отваги, а может, и существенной необходимостью. Почти одновременно решаются два вопроса: начался сбор подписей за то, чтобы признать красно-бело-красный флаг национальным флагом Латвии и за то, чтобы латышский язык получил статус государственного. Может, не хватает агитации, но о флаге пишут куда больше, чем о языке. Мы, к сожалению, не различаем, что важнее для завтрашнего дня. Пора избавляться от этой поверхностности. Надо бороться за существенные политические перемены, которые бы гарантировали нашему народу не только выживание, но и расцвет.

Думаю, что в 1989 году мы не сумеем ответить на все вопросы, потому что должны пройти реальный процесс политического развития. Этот процесс напоминает мне лестницу: долгое время из года в год, сами того не замечая, мы брели по этим ступеням вниз и дошли до национального пессимизма. Надеяться, что волшебная сила одним рывком вознесет нас ввысь — значит, хотеть переложить свои обязанности на плечи тех, кто ступит на эту лестницу после нас. Мы все должны делать сами, чтобы в 1989 году оказаться на ступеньку выше.

Важнейшая из всех проблем — понять свое место во вновь создаваемой системе ценностей. Этого, если говорить о политическом и экономическом аспекте, можно добиться только одним путем — получить свободу действия. Чтобы все ошибки и победы были нашими собственными. Тогда мы и узнаем себе цену. Запрет самостоятельности, при свободе духа, напоминает мне феодальную земельную реформу, при которой свободны были птицы в небесах.

АРМАНДС ГРИНБЕРГС, журналист

В 1989 году мы должны наконец добиться, чтобы были реализованы установленные Конституцией права и обязанности!



ИЛМАРС ЛАТКОВСКИС, журналист

Чтобы храмы не превращались в мещанские салоны!



МОДРИС ПЛАТЕ, священник

Проблема НАРОДА — как освоить понятия «Независимость» и «Свобода» не только в их внешнем проявлении? Как правильно воспитывать душу, где искать подлинную духовность? Как сделать, чтобы христианство влилось в жизненный процесс общества?

Как Вечную Идею облечь в современную форму?

Как переоценить свою прежнюю деятельность, чтобы опять стать мостом, стать указателем пути (но не ветра)?

Проблема МОЯ СОБСТВЕННАЯ — как собраться и сконцентрироваться? Для главного? Как не растратить себя на мелочи? Как, распространяясь вширь, не утратить критериев измерения глубины?

ФЕЛИКС ЗВАЙГЗНОНС, журналист

Все более четкие контуры обретает мнение, что правящие слои, к кому попала в руки Советская власть, куда более далеки от нее и чужды ей, чем те, кто эту власть критикует. Если мы действительно хотим перемен, то необходимо эту мысль провозгласить. Иного пути к социализму я не вижу. И к Латвии — тоже.



ДЗИНТРА КРИЕВАНЕ, журналист

Успокоиться. Осознать, что дано тебе и твоей Отчизне в году 1988 — году бескрайних возможностей (88 ведь похожи на два поставленных вертикально символа бесконечности), и, не поступаясь самоуважением, стоять на своей земле. Воспитывать разум и сердце, чтобы научиться ВЕРИТЬ без сомнений, укреплять НАДЕЖДУ на то, что мы дорастем до глубокой и мудрой ЛЮБВИ к своей Отчизне и: растить единство в себе и себя — в единстве.



МАВРИКС ВУЛФСОНС,
политический обозреватель

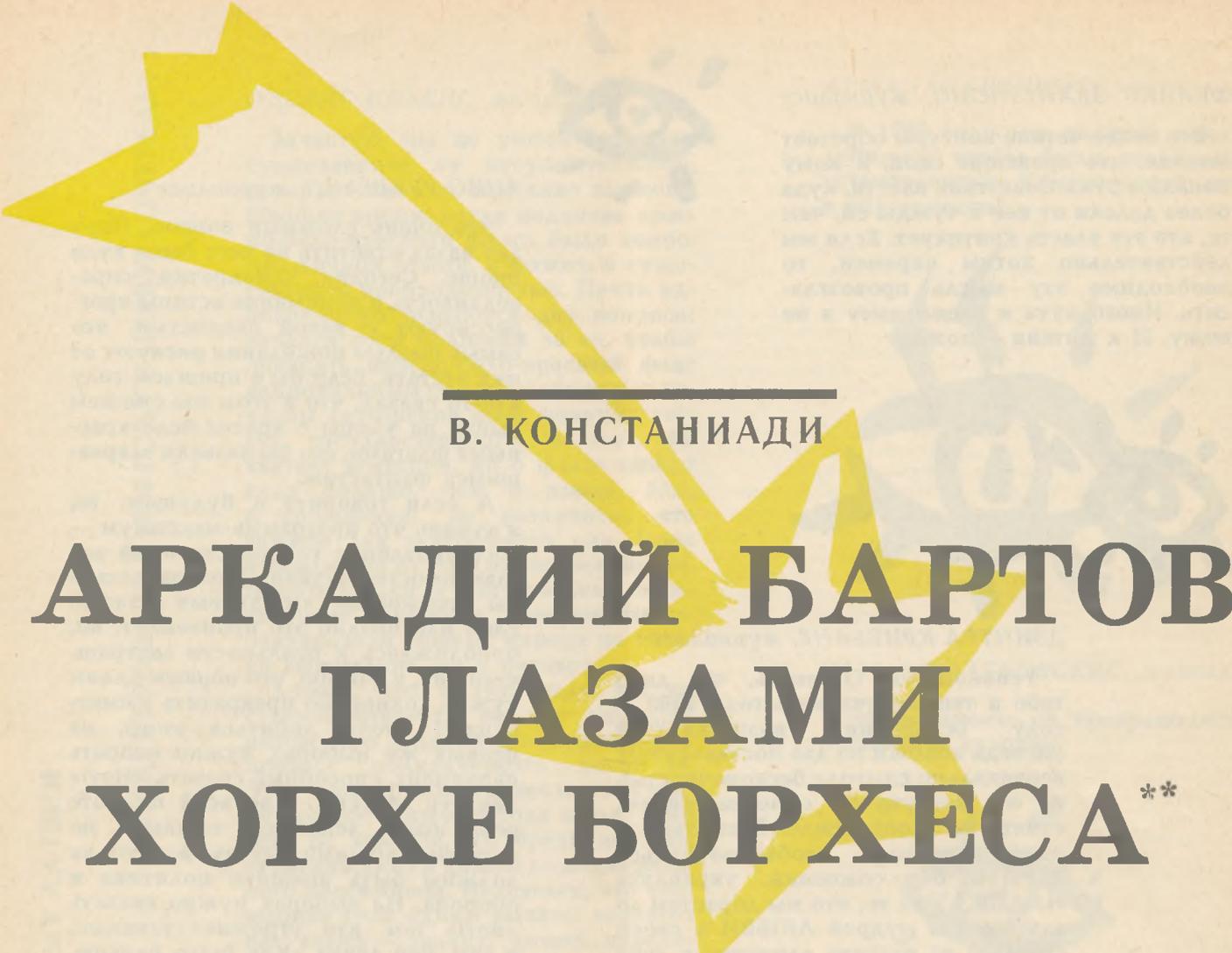
Выборы, которые должны стать манифестацией национального и гуманистического возрождения латышского народа.

ЯНИС РУКШАНС, журналист

Это очень сложный вопрос. Пару лет назад ответить на него было куда проще. Сегодня демократия, справедливость и понимание истины прогрессируют с такой скоростью, что самые смелые пожелания рискуют от них отстать. Если бы в прошлом году кто-то сказал, что в этом мы сможем выйти на улицы с красно-бело-красными флагами, его бы назвали завравшимся фантастом.

А если говорить о будущем, то, я думаю, что программа-максимум — восстановление государственной независимости Латвии. Это развязало бы множество «гордиевых узлов». Рано или поздно это произойдет, но, приближаясь к реальности завтрашнего дня, я считаю, что первым делом нужно полностью прекратить иммиграцию! Чтобы добиться этого, на первых же выборах нужно избрать парламент, способный сказать «Нет!» диктату Москвы и во всей полноте реализовать ленинский принцип, по которому общими у союза республик должны быть внешняя политика и оборона. На выборах нужно сказать «нет!» тем, кто угрожает танками, и тем, чей девиз «Как было раньше, так будет и дальше» («Лауку авизе», 1988, 27 августа, стр. 4). А это, в свою очередь, связано с определением гражданства, потому что нельзя считать нормальной ситуацией, когда на выборах равное право голоса имеют и представители коренного населения республики, и только что приехавшие «гастарбайтеры», и отдыхающие в санаториях, которые, опустив бюллетень, спокойно разъезжают по домам — мол, сами расхлебывайте эту кашу. И когда все эти вопросы будут решены, можно будет рассмотреть и вопрос о возможности осуществления гарантированного конституцией права республики на самоопределение.





В. КОНСТАНИАДИ

АРКАДИЙ БАРТОВ* ГЛАЗАМИ ХОРХЕ БОРХЕСА**

«Лицо, являющееся создателем произведения... опубликовало при помощи полиграфических средств произведение достаточно большого объема, оформленное в виде скрепленных между собой листов».

Бартов, «История написания и опубликования книги»

«Сами по себе книги ничего не означают».

Борхес, «Вавилонская библиотека»

Недавно издательство Random House выпустило двумя тиражами на английском и испанском языках — последний сборник эссе Хорхе Луиса Борхеса «Подобия». Готовится к печати русский перевод в издательстве Ardis (Ann Arbor). Рецензент сборника «Подобия» в литературном приложении к «New-York Times» (от 04.08.84) профессор Моррис Фридберг глухо упоминает о переписке по этому поводу между Борхесом с одной стороны и К. Кузьминским и Э. Проффер (женой покойного Карла Проффера) с другой. Из прочих эссе сборника профессор Фридберг обращает особое внимание на работу, посвященную ленинградскому прозаику Аркадию Бартову.

В этом эссе Борхеса 8 абзацев. 8 — остроумно замечает Моррис Фридберг — знак бесконечности, поставленный «на попа». 1-й и последний абзацы текста написаны без соблюдения пунктуации, причем начало первого и конец восьмого абзаца идентичны. 4-й и 5-й абзацы выделены курсивом. В каждом абзаце от одного до восьми пред-

ложений (1-й и 8-й можно считать за однофразовые).

Борхес сравнивает Бартова с писателями Джоном Бартом и Дональдом Бартелмом, а также с французским министром 20-х и 30-х годов, членом Академии «бессмертных», Луи Барту и не находит у них с ленинградцем ничего общего (даже в фамилии; Борхес знает или догадывается, что «Бартов» — литературный псевдоним).

По словам профессора Фридберга, Борхес проявляет ошеломляющую для западного писателя осведомленность в вопросах культуры Советов.

Фридберг называет слепого аргентинского классика «Гомером герметической словесности».

Борхес обращается только к двум известным ему (неизвестно откуда!) произведениям Бартова, это — «Взаимоотношения» и «В гостях у советской литературы». Борхес не ставит отметок. По словам рецензента, отношения Борхеса к упоминаемым им советским авторам приходится вычитывать между строк.

Борхес, как кажется Фридбергу, в целом иронически относится к т. н. концептуальной школе. Наличие у него скепсиса по отношению к Маяковскому, Цветаевой, боль-

* см. «Родник» № 6, 1988 г. (прим. ред.)

** см. «Родник» № 2, 1988 г. (прим. ред.)

шей части альманаха «Метрополь» и к Союзу советских писателей рецензент считает в принципе доказуемым и почти безусловным.

Борхес не упоминает, т. е. не знает или же игнорирует, Обэриу, Мандельштама, Георгия Маркова, Венедикта Ерофеева.

Рецензент практически не сомневается в добродушномприятии аргентинцем Леонида Добычина, Высоцкого, СМОГа, Варлама Шаламова, «Обводного Канала» и Виктора Ерофеева.

Используя методику «Взаимоотношений», Борхес дает свой лапидарный вариант (в двух с половиною фразах 3-го абзаца) взаимоотношений на различных социально-эстетических и морально-смысловых уровнях общего литературно-советского контекста.

Профессор Фридберг недоумевает по поводу отсутствия в эссе Борхеса имен советских писателей из разбираемого произведения Бартова, сетует, что из-за этого неясно его отношение к этим широко известным на Западе корифеям слова (напомню, речь идет о Горьком, Шолохове, Катаеве, Михалкове), предполагает, что названные вместо них Алексей Шельвах и Игорь Гарик суть мифо-поэтические персонажи, олицетворяющие, соответственно, Алексей Шельвах — Алексея Максимовича Горького и Шолохова, Гарик — Горького и Катаева, в ранней повести которого есть герой со схожим именем Гаврик. Как обычно, заключает из этого Моррис Фридберг, Борхес, склонный к парадоксам и мистификациям, играет образами экзотических культур, находящихся на окраинах интеллектуальной ойкумены.

Аргентинский писатель использует формальный метод Бартова как сырой материал, исследует его возможности и бесстрастно комментирует собственные операции (чему особо посвящена первая половина последнего абзаца).

В целом вопрос о взаимоотношениях Борхеса с представителями Совет-культуры остается открытым и требует дальнейшего изучения. Может быть переписка Борхеса с Кузьминским бросит на это дополнительный свет, т. к. последний прославился публикацией всего, что только попадает к нему в руки.

Впрочем, рецензент относит лично к Бартову 7-й абзац, где дан образ человека, который панически боится смерти и не совсем уверен в жизни; все, выходящее за пределы примитивных удовольствий, в том числе все соц-бытовые реалии, напоминает ему о распаде и возмущает пищеварение; этот человек (не знаю, м. б. правильнее сказать «фигура»?) ищет доказательства своего существования в чужой смерти, в еде, в вагине, в передвижении (неважно куда), в разговорах (неважно о чем), в написании слов, констатирующих самих себя и простейшие акты; тем самым вселенная, будучи редуцированной, принимает комфортабельно безопасный вид. Фридберг усматривает здесь иудаистскую подоплеку, скрытую инвективу, суггестивную агрессию автора, апеллируя при этом к Фрейду, Кафке и «Сефер Иецире».

Позволь себе не согласиться с мнением почтенного критика. Даже если бы Борхес прямо назвал Бартова по имени, то это могло означать очередную ловушку, отвлекающий маневр хитроумного мастера. Предлагаю иное толкование. Борхес не высказывает своего мнения о Бартове, но обнажает его творческий метод: это солидарность со-действия; со-участия; действие, пока оно длится, помогает не думать о смерти, акт позволяет освободиться от чувства тщеты, от рефлексии, от духовного вакуума. То, что по мнению Морриса Фридберга сказано об Аркадии Бартове, Борхес относит ко всему человечеству.

Но гораздо обиднее то, что рецензент не уловил более значимой мысли автора. Система бинарных оппозиций, подразумеваемая в эссе, — например, Запад — Восток,

история — современность, искусство — быт, официоз — нонконформистская литература — претворена в излюбленное Борхесом понятие симметрии. Оппозиции взаимно отражают друг друга, они друг без друга ничто. Разумеется, не бывает идеальных поверхностей, всякое зеркало имеет индивидуальные шероховатости, собственный коррелят искажения, но в общем подобие превышает различие (вспомните название сборника!). Едва ли не главным подобием является животное чувство своего превосходства: Я (Мы, Оно) выше (глубже, длиннее, нежнее, мощнее, полезнее, благодней) нежели Он (Они, Оно?) и, соответственно, также чувствуют (думают, знают) на их месте другие. Борхес ирреализует эту психофизику — *reductio ad absurdum* — простой математической формализацией: А В, потому что В А. Другими словами, привнесение ценностей ориентации парадоксально превращает реальность в иллюзию. Но еще убедительнее Борхес доказывает данную мысль не в произведении, но посредством самого или, правильнее, самих произведений (организованная система знаков сама является знаком!).

Сов-литература впитала в себя т. н. «теорию отражения», «реалистическим» стендалевским зеркалом отражает она нестендалевскую нашу жизнь. Бартов объективно, без пресловутого гротесков, «реалистически» отражает сов-литературу. Борхес отражает отражение Бартова. Но сей, «защитленный» на удвоениях, Дедал из Буэнос-Айреса прекрасно понимает, что его публикация не может остаться без своего отражения в рецензиях критики. Вполне вероятно и то, что он учитывал (и стимулировал) дальнейшие отражения: вряд ли друзья Бартова оставят без внимания реакцию критики, т. е. отразят отражения отражения и т. д.

Зеркала множатся и заполняют (заполняют!) культур-пространство, дурная бесконечность концептов обретает власть над действительностью. Выстраивается тотальный контекст, где реальность жизни (весьма проблематичная!)² растворяется в иллюзионистском универсуме, сигнификат пожирает свой денотат, знаки душат людей. Человеку только кажется, что он управляет знаковой системой, эта иллюзия внушена ему самой же этой системой; она обращает человека в голема, действующего в ее интересах.

Борхес видит в знаке, точнее, в некоем сверх-мета-знаке, Алефе-Бога, *causa formalis*, и подчиняется вышней его власти. Борхес молчаливо предлагает нам согласиться либо оспорить этот тезис. Я уже вижу усмешку слепого библиотекаря: приняв условия игры, войдя в тотальную знаковую систему, мы можем сколько угодно предаваться романтическому знаковорчеству, в результате неизбежно классическое знаковорчество.

Борхес — в данном контексте — оказался самым целенаправленным и изощренным игроком, он вступил в игру позже Бартова, но выиграл гораздо больше его.

С другой стороны, Бартов непосредственнее Борхеса и легче пройдет сквозь игольное ушко знакового мира...

А не к этой ли мысли и хотел подвести меня окольным путем Хорхе Луис Борхес, так и не высказавшийся прямо и до конца?³

P.S. Только на один вопрос, связанный с эссе, мне не удалось пока найти ответа: почему Борхес озаглавил его наподобие одной из книг Льва Шестова «Афины и Иерусалим»? М. б. читатель отыщет ответ?

² По А. Кожибскому — предмет это знак знака. См. А. Korrybski «Science and Sanity, Lakkeville», 1948, p. 379

³ Последнее, конечно же, не случайно. *Omnis determinatio est* — утверждал Барух Спиноза. Философия, как писал Витгенштейн, «оставляет все, как оно есть... В философии не делаются заключения» («Philosophical Investigations», Oxford, 1953, p. 103). Само название сборника «Подобия» перекликается с тезисом Витгенштейна о том, что структура языка «подобна» структуре фактов, а в 1-м абзаце эссе о Бартове встречается мысль, должная, по-видимому, напомнить нам об австрийском ученом: «Мудрый не настаивает на достоверности своего высказывания» (ср. с выражением из 1-го фрагмента работы Витгенштейна «О достоверности»: «любое высказывание может быть выведено из других. Но они могут быть не более достоверными, чем оно само»). Оригинал первой двуязычной публикации см. L. Wittgenstein «On Certainty» «Über Bewissheit» Oxford, 1969).

¹ Здесь явная описка: проф. хотел сказать «подразумевается»; текст Борхеса сознательно неясен.

О ПРОЗЕ ЛЕННОНА

Джона Леннона — композитора, автора песен, музыканта вряд ли стоит представлять. Но о Ленноне-писателе несколько слов сказать нужно. Ленноном написаны две книги небольших рассказов и стихов (впервые изданы в 1964 и 1965 годах, а позже — в одной книге под названием «Пингвин»), сцена для авангардистского спектакля Кеннета Тайнена «О Калькутта!», предисловие к книге Йоко Оно «Грейпфрут» — это не считая сборников интервью, журнальных статей и т. д.

Небольшие юмористические рассказы, часто пародийного склада, и веселые стихи Леннон стал писать еще в детстве. Обычно он их сопровождал смешными рисунками или вообще делал их в виде комиксов: серия картинок с небольшими подписями внизу.

Характерная черта рассказов и стихов Леннона, как впрочем и многих и его песен, — своеобразный юмор. Юмор — чисто английский, может даже чисто ливерпульский.

В одном из интервью Леннон очень верно вскрыл природу этого юмора: «Север — это где делали деньги в 1800-х годах. Там были солидные люди с деньгами, но там и презираемые люди были. Сейчас город (Ливерпуль — Н. К.) становится все беднее. Очень бедный город, но стойкий. И у людей там есть чувство юмора, потому что у них всегда столько боли! Вот почему они всегда шутят. Они очень остроумные...»

У Джона Леннона гибкий, прозрачный и вместе с тем простой слог. Он держится канонов «бессмыслицы», однако с точным чувством стихии своего родного языка. Поэтому, прежде всего, столь труден перевод его рассказов. Нелегко поддается передаче на другой язык вся стилистическая порода рассказов Леннона: она состоит из нарушений, присутствующих именно данному языку в его бытовом обиходе.

Главный прием Леннона — замена отдельных букв в словах. По началу, кажется, это не несет никакой смысловой нагрузки, постепенно читатель к этому привыкает, узнает за исковерканностью правильное слово. Но вдруг «ошибка» придает слову или фразе новую смысловую нагрузку, и у фразы — уже два значения.

Поэтому не всегда можно — хотя бы приблизительно — передать в переводе весь стиль его языка. Слово «саденли» («вдруг») у Леннона превращается в «сидни» (город Сидней) и так далее. А фраза Сидниза Аспинела «Она была хорошей женщиной» — благодаря использованию Ленноном омонимов или примерных омонимов, — может быть переведена и как «Она была хорошей потаскухой». Употребляет Леннон, обыгрывая их, и аллитерации и неправильные грамматические формы, принятые в разговорном языке, часто — сугубо ливерпульский говор и выражения.

Обыгрывание омонимов состоит в том, что автор употребляет омоним в первом его значении, но вставляет в текст, не создавая нового смысла — какое-нибудь слово, ассоциативно связанное со вторым значением этого омонима. Так и получается двойная трактовка. Примерно то же

мы находим в рассказах Леннона. Полные омонимы у него редки, больше — примерные омонимы, либо даже — замен на омонимичные частей слова. Вот и рождаются слова-гибриды. Возьмем, например, название рассказа — «Необыкновенное происшествие»: в слово «необыкновенное» вставлено слово «необытное». За названием «Уорми скэбз» (что дословно переводится как «червяк струль» или «червяк штрейкбрехер») в том же рассказе нетрудно увидеть название лондонской тюрьмы «Уормвуд скрабз». Однако слово «уорми» в значении «червивый» обыгрывается ниже: «Вошел знаменитый Оксо Уитни, совершенно не пострадавший от червей».

Аналог есть и в русской литературе — вспомним Н. С. Лескова. В его «Левше» мы найдем слова «мелкоскоп», «нимфузория» и даже такой блестящий неологизм, как «потная спираль» (от слова «спертый воздух»).

Пристрастие Леннона к использованию неологизмов и омонимов видно из заголовка его первой книги. Его можно перевести как «Джон Леннон в своем собственном праве», и в то же время как «Джон Леннон в своих собственных писаниях» (здесь же, во втором случае, обыгрываются стереотипные стандартизированные заголовки многих интервью: «Такой-то в своих собственных словах»). Те же приемы можно найти и в песнях Леннона: название одной из песен на пластинке «Умственные игры» можно перевести и как «Люди Фриды», и как «Дайте свободу народу», а «Утопия» Томаса Мора на той же пластинке превращается в собственную страну Леннона «Нутопию».

Любовь Леннона к неологизмам делает язык его рассказов — как и многих песен — неповторимым, и в то же время роднит его с языком Льюиса Кэрролла — «типично английского» писателя с «типично английским юмором». Влияние Кэрролла — любимого писателя детства Леннона — явно в его рассказах. Рассказам Леннона очень близка по духу и его песня «Продолжающаяся история Бунгало-Билла» — там тоже есть что-то от «Алисы в стране чудес». Кстати, в самом имени Бунгало-Билл нетрудно усмотреть намек на имена легендарных и полубогатых героев — Буффало-Билла, Элефант-Билла, Пекос-Билла. Точно так же в рассказе, предлагаемом вниманию читателей, знаменитый английский преступник Джек-Потрошитель превращается то в Джека-Потрошителя, то в Джека-Погубителя.

По большому числу приемов рассказы Леннона действительно ближе всего к Льюису Кэрролу. У Леннона мы встречаем такое же написание бессмыслицы на бессмыслицу — то же, что, например, происходит в разговоре Алисы с Комаром, где в итоге «бабочка» — «баттерфлай» — превращается в какое-то немислимое создание, в летающий «бутерброд» — «брэдэнд-баттерфлай». Однако у Леннона все перечисленные выше приемы доведены до апофеоза, порой до абсурда. Именно на абсурде во многом построен юмор Леннона.

Все это в полной мере относится и к рассказу «Необыкновенное происшествие с мисс Энн Даффилд», взятому

из второй книги Леннона «Испанец в мастерских», который мы и предлагаем вниманию читателей. Он представляет собой пародию на рассказы Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Рассказы о Холмсе, как и о многих других полубогатых читателям героях, породили множество стилизаций, подражаний, «продолжений», порой — откровенных подделок. И, конечно, пародий. В этом смысле знаменитый сыщик, вероятно, «рекордсмен». Но это — пародия особого рода.

В небольшом рассказе Леннон обыгрывает чуть ли не все штампы Конан Дойля и наиболее избитые и известные фразы Холмса и Уотсона. Некоторые из них вставляет в самых неподходящих местах. Иногда кажется, что рассказ весь составлен из наиболее типичных кусочков, собранных по разным историям о Шерлоке Холмсе. Первый абзац вообще почти дословно воспроизводит начало рассказа «В сиреневой сторожке», а в его названии нетрудно увидеть переименованный заголовок первой части этого же рассказа «Необыкновенное происшествие с мистером Джоном Скотт-Эклом».

Порой Леннон и явно смеется над приемами «работы» сыщика. Он берет довольно распространенные у Конан Дойля ситуации, но доводит их до абсурда. Логические построения Холмса с его «дедуктивным методом» сжимает до предела, оставляя лишь место для послышки и — готового ответа Холмса «Элементарно!». . . В этом смысле «Необыкновенное происшествие» представляет собой пародию вообще на весь детективный жанр. Многие детективы так запутаны и непонятны, что для читателя (или кинозрителя) так и остается неясным, почему именно такой-то оказался преступником, зачем то или иное лицо вообще введено в роман (фильм), какое отношение к сюжету вообще имеет тот или иной эпизод. Все это есть у Леннона — так и остается загадкой, например, кто же такая мисс Энн Даффилд и что же с ней произошло.

В соответствии с канонами пародии у Леннона изменены (но так, чтобы узнавались) имена пародируемых героев. В Шэрроке Уолмсе мы сразу узнаем Шерlock Холмса, а в Уоппере — Уотсона. Но у Леннона изменение имен особого рода. При стиле Леннона — с его постоянным искажением слов — и изменение имен кажется вполне естественным. А во вторых, имена героев у Леннона тоже несут определенную смысловую нагрузку: «Шэррок» дословно переводится как «трилистник», но первая часть слова — «шэм» — как «притворяющийся», «симулянт», «мошенник». «Уоппер» же вообще означает либо «громадина» (вспомним комплекцию Уотсона!), либо — «наглая ложь». Как и у Конан Дойля повествование ведется от имени Уоппера-Уотсона. Поэтому уже здесь заложены юмор и ирония.

Постоянно обыгрывая приемы Конан Дойля, используя без всякой связи штампованные фразы Холмса и Уотсона, Леннон волей-неволей выявляет слабости рассказов о Шерлоке Холмсе. Но юмор у Леннона не злой. Хотя это и юмор своеобразный. Какой — судить вам.

НИКИТА КРИВЦОВ

ДЖОН ЛЕННОН НЕОБЪЯТНОВЕННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С МИСС ЭНН ДАФФИЛД

Я нашел запись в своем блокноте, что было это в брачный и ветренный день в концерте марта 1892 года со дня Торжества Крестова в Мат-Блэддере, городе Северного Света. Шэмрок Уомлбс получил телеграмму, когда мы сидели за завтраком. Он ничего не сказал, но дело уже засело у него в голове, потому что он стоял с задымчатым лицом у огня, куря свою трубку и поглядывая иногда на послание. Совершенно неожиданно, без предупреждения он повернулся ко мне с луковой икоркой в глазах.

— Элементарно, мой дорогой Уоппер! — усмакнулся он потом резко. — Догадываетесь, кто бежал из тюрьмы, Уоппер!

В уме я стал мгновенно вспопыхать всех преступников, которые бежали недавно из «Уорми Скэбз».

— Эрик Морли! — сказал я наугад.

Он покачал голубой.

— Оксо Уитни! — с сомнением сказал я.

Он кивнул с неопредельным видом.

— Райго Харгрейвз! — прошептал я очередное вымя!

— Нет, мой другой Уоппер. Это ОКСО УИТНИ! — проревел он, будто я был в другой комнате, но на самом деле меня там не было.

— Как вам удалось узнать Уомлбс! — прошептал я эскриментально.

— Эллифидджерально, мой даровой Уоппер.

В тот же момент высокий, довольно костлявый художавый человек постучал в дверь.

— Судя по всему, это должен быть он, Уоппер.

Я изумился его пронизательности.

— Но откуда же вы знаете, Уомлбс! — спросил я.

— Гаррибеллафонтоально, мой дармовой Уоппер, — он начал выбивать трубку о свою широкую кожаную штанину. Вошел знамаститый Оксо Уитни, совершенно не пострадавший от червей.

— Я беглый папоржник, мистер Уомлбс, — грохотал он, неистово мечась по комнате.

— Успокойтесь, мистер Уитни! — интерполировал я. — Или у вас будет нервный припадок.

— Вы, должно быть, доктор Уоппер! — начал он. Мой друг внимательно смотрел на Уитни со странным ворошением на нетерпком лице: сжатые губы, дрожащие ноздри, нахмуренные тяжелые брови пучками — вырождение, которое я так хорошо знал.

— Горра сигги, Оксо, — сказал Уомлбс быстро. Я посмотрел на своего колледжу, надеясь найти ключ к объяснению этой неожиданной вспышки, но он не подал мне никакого знака кроме легкого движения ноги, которым он свалил Оксо Уитни на пол. — Горра сигги, Оксо. — повторил он почтительно истерично.

— Что же вы делаете, мой дорогой Уомлбс, — взмолился я. — Умоляю вас, прекратите, пока вы не поранили этого бреднягу!

— Закрой свое лицо, ты, вытик, — кричал Уомлбс как человек, находящийся в полном возбуждении, и обрушил на Уитни несколько мощных ударов. Это был не Шэмрок Уомлбс, которого я раньше знал. В замешательстве я задурился над этой нежножданной перменой в моем старом друге.

...

Мэри Эткинс прихорхоривалась перед зеркалом, проводя рукой через свои кустые светлые волосы. Ее узкое платье имело вольшой вырез, обнажающий три или четыре угря, тщетельно вычищенных на ее груди. Она добавила последние штрихи в своем макияже и прочно вставила зубы. «Он явно захочет быть со мной сегодня вечером», — подумала она и представила себе его крысвое лицо с чер-

ными кудрями. Она нетерпеливо посмотрела на часы и подошла к окну, затем прыгнула в свое любимое кресло. Подняв газету, она пробежала взглядом по заголовку. «Новые чернокошие в Конго» — гласил он. Так оно, наконец, действительно и было. Но глаз ее остановился на «Стоп-Пресс»: «Джек-Потравитель действует снова». Она аж вся похолодела, потому что вошел Сидниз и оставил дверь открытой.

— Привет, любовница! — сказал он, шлепая ее по заднему тесту.

— О, ты меня действительно напугал, Сидниз — прокричала она, смеясь отчасти искусственно.

— Я ведь всегда делаю так, моя любимая, — ответил он, прыгая на всех четырех. Она последовала его примеру и они помчались галлошем вниз к понятному кэбу.

— Следуй за этим кэбом, — твякнул Сидниз, показывая грубым пальцем.

— Это парень с Уайт-хора! — сказал кэбмэн.

— Зачем мы преследуем этот куб, Сидниз! — поинтересовалась Мэри светски.

— Он может знать, где находится склеент, — объяснил Сидниз.

— О, я понимаю, — сказала Мэри, глядя на него.

Поездка проходила довольно удачно, а Сидниз и Мэри показывали предводителю кэбы такие достопримелькательности, как Букингчертов Ларец, Знание Парламента, измену караула. Одним из наиболее интересных мест была статуя Эрика на Пиканнини-Серплас.²

— Говорят, что если постоять здесь достаточно долго, то встретишь друга, — сказал Сидниз со знанием дела. — Конечно, если тебя не задавят.

— Боже, храни королев! — проорал кубмэн, когда они проезжали мимо Ларца уже, вероятно, в четвертый раз.

...

— Джек-Потравитель, — сказал Уомлбс, глубоко дыша в свою трубку — не только порочный упийца, но и текстуальный маньяк самого нищего сорта, — потом мой увлажжаемый коллега вновь зажег трубку и подошел к окну своей знаменитой квартиры на Баггер-стрит³ в Лондоне, где все это происходило. Мормент я размышлял над его заявленью, а потом, резко повернувшись, сказал: «Но откуда вам известно, Уомлбс!»

— Алибально, мой дуракой Уоппер, я видел фильм.⁴ — Я знал, что он прав, так как сам я читал только комиксы.

В этот вечер у нас был неожиданный гость, инспектор Бэзил, я узнал его по выдающей его униформе.

— А, инспектор Бэзил, mon cher ami, — сказал Уомлбс, тут же его опознав. — Что привело вас в наше богатое шумное занудение!

— Я пришел сюда в интересах тысяч, — сказал инспектор спокойно, начиная свою операцию.

— Мне кажется, я знаю, почему вы здесь, Бэзил. — сказал Уомлбс, глядя себе на ногу. — Это по поводу Джока-Погубителя, не так ли?

Инспектор усмехнулся, улыбаясь.

— Как вы догадались! — спросил я в недоумении.

— Алекгинесально, мой домовый Уоппер. Грязь на левой ноге инспектора, и к тому же пуговица на его желете оторвана.

Инспектор выглядел ошеломленным и нервно ерзал из стороны в сторону.

— Вы никогда не перестанете удивлять меня, мистер Уомлбс.

— Выпивку, генитальмены! — осмелился спросить я. — Прежде, чем мы займемся делом рука об руку!

Оба кивнули головами в знак косогласия, и я пошел в гладовку.

— Что вы предпочитаете, Бэзил, миски 1883 года или! . . .

— Я бы предпочел бы предпочел бы предпочел . . . — ответил инспектор, который был дурманом.

После выпивки Уомлбс поднялся и стал прохаживаться туда-сюда, туда-сюда, прохаживаясь.

— Почему вы прохаживаетесь по полу туда-сюда, туда-сюда, прохаживаясь, милый Уомлбс! — поинтересовался я.

— Я размышляю вслух, мой дурной Уоппер. — Я посмотрел на инспектора и понял, что он тоже не слышит Уомлбса.

— Догадываетесь, кто бежал из тюрьмы, мистер Уомлбс, — неженевно сказал инспектор. Уомлбс посмотрел на меня взглядом, который говорил, что он знает.

— Эрик Морли! — спросил я. Они покачали головами. — Оксо Уитни! — высказал я бредположение, но они снова покачали головами. — Райго Харгрейвс! — прошептал я.

— Нет, мой доногой Уоппер, ОКСО УИТНИ! — закричал Уомлбс, подпрыгивая на одной ноге. Я смотрел на него, восхищаясь этим великим человеком все нүтро.

* * *

Тем временем на освещенной газетными фонарями улице в Челти¹ человек, закутанный в темный плащ, со страшным оружием в руках крался с целью отомстить уличным женщинам за то, что они преподнесли ему ужасные В. Д.² «Я убью их всех, женщину за женщиной», — цедил он сквозь зубы. Он был похож на черную тень или негра в немую темную ночь, в то время как он искал украдкой свою следующую жертву. Его воспоминания уносились назад к детству, и он вспоминал то одно, то другое, например, мат и отца, и как они били его за то, что он съел сестру. «Я — сумасшедший», — сказал он, сдерживая свой лексикон. «Мне бы следовало сидеть дома в такую нож, как эта». Он свернул в темный пассаж и увидел свет.

Мэри Эткинс прихорашивалась перед зеркалом, проводя рукой через свои пустые светлые волосы. Ее узкое платье имело большой вырез, обнажающий три или четыре новых угря, тщечно вычищенных на ее груди. Последнее время дела шли плохо, что было результатом за хромоту. Она жадно проглотила грыжовник и открыла дверь. «Ничего удивительного в том, что тела идут плочу», — заметила она, поймав отражение своего горба в зеркале в прихожей. — «Мои слова подтверждаются». Осторожно напевая фальцетом, она выскользнула на улицу и поймала кэб, чтобы отправиться на свое счастливое место горбобы. «Этот Сидниз — всего навсего сводник, живущий за мой счет и бездельничающий все дни напролет, — подумала она, — а я здесь должна тянуть свою лямку».

Она вышла как обычно у «Нэс-кафе» и заняла свою позицию. «Меня даже и не увидишь в этом тумане», — проборматала она. Как раз в это время мимо проходил проклятый полицейский. «Проклятый полицейский», — заорала она, но на счастье, он был глухим. «Проклятый глухой полицейский, — орала она. — Почему ты не выполняешь свою работу!»

Она не знала, что отвратительный Джек-Удушитель находился на расстоянии всего нескольких улиц от нее. «Я надеюсь, этот проклятый Джек-Потравитель не находится на расстоянии всего нескольких улиц от меня, — сказала она. — У него ведь не в порядке с головой».

— Сколько, лэди! — поразил ее голос из дверей в «Нэс». На его счастье было как раз время распродажи,

и вскоре они достигли соглашения. «Джентельмен очень высокого класса», — подумала она, когда они быстро зашагали вместе по ныне знаменитой Каррингто-Аверидж.

* * *

— Я говорю вам, она была очень хорошей женщиной, мистер Уомлбс, сэз — сказал Сидниз Аспинел.

— Я вполне верю вам, мистер Астерпол. В конце концов, вы знали ее лучше, чем я и мой верный друг, старина Уоппер. Но мы здесь не для того, чтобы обсуждать ее достоинства — со знаком минус или со знаком плюс. Мы здесь для того, мистер Асронавт, чтобы получить как можно больше информации о несчастной и несвоевременной смерти Мэри Эткинс, — Уомлбс посмотрел человеку в лицо, не прилагая никаких усилий.

— Мое имя Аспинел, начальник, — сказал несчастный человек.

— Я осведомлен о вашем имени, мистер Астрахань, — сказал Уомлбс с таким видом, будто он собирался его ударить.

— Ну, раз вы знаете, — сказал Аспинел, думая в этот момент о том, как хорошо было бы отправиться в «Сейфли Сейфли Санди Трип»⁷.

Уомлбс взял у Аспинела показания так быстро, как только мог, и я видел, что они явно не были настроены на одну волну.

— Над чем я ломаю себе голову, Уомлбс, — сказал я, — как с Оксо Уитни!

Уомлбс посмотрел на меня внимательно, и я мог видеть, как работает великий мозг, потому что его брови пучками нахмурились, сильная челюсть выдавилась вперед, ноздри расширились, морщины на лбу поморщились.

— В этом-то и вопрос, Уоппер, — сказал он, а я восхищался величием этого человека.

На следующее утро Уомлбс встал на рассвете⁸ и даже не посмотрел утренние газеты. Как обычно я накрыл завтрак из йогурта, бутылки пива, имбирманского пряника, трех яиц, двух ломтиков Бэкона, чаши дробленого риса, свежего грейпфлота, шапеньеаров, нескольких жареных помидортов, картины фруктов и чашки чада.

— Завтрак готов, — закричал я. — Он на столе. — Но к моему удивлению, он уже ушел.

— Вы ведь только подшучиваете надо мной, Шэмрок, — сказал я вспоминая о его привычке прятаться в шкафу.

Это был очень беспокойный для меня день, так как я ждал новостей от моего дорогого друга. Я стал очень раздражительным и не мог ничем заняться. Это было не в привычках Шэмрока оставлять меня здесь совсем одного наедине с собой: баз него я был совершенно свободен. Я позвонил наиболее близким друзьям, но они тоже не знали, где Уомлбс. Даже инспектор Бэзил не знал, а если кто-нибудь вообще и должен был знать, так это именно инспектор Бэзил, потому что он — Полиция.

Это было неделей позже, когда я увидел его снова, и я был поражен его внешним видом. Он был взъерошенным, небритым бродягой.

— Боже мой, Уомлбс! — закричал я. — Боже мой, где же вы были!

— Все в свое время, Уоплер, — ответил он. — Подождите, пока я переведу дыхание.

Я пошуровал кочергой в огонь и подогрел ему копченую сельдь. В то время как он делал мимикюр, он рассказал мне историю, которую я по сей день не могу вспомнить.

Перевод с английского
НИКИТЫ КРИВЦОВА

¹ Видимо, обыгрываются имена персонажей рассказов «Человек с рассеченной губой» и «Обряд дома Месгрейвов» Айза Уитни и Реджинальд Месгрейв. Имя Эрик Морли тоже, скорее всего, выбрано не случайно. Кристофер Морли — редактор и автор предисловия самого полного издания рассказов о Шерлоке Холмсе.

² Имеются в виду лондонские достопримечательности: Букингемский дворец, здание парламента, смена караула, статуя Эроса на площади Пикадали-Серкл.

³ Баггер (bugger) по-английски — «гомик».

⁴ Эту фразу можно перевести и как «Я видел досье».

⁵ Имеется в виду лондонский район Челси.

⁶ В. Д. — Валентинин День (14 февраля), когда молодые влюбленные посылают друг другу открытки с признанием в любви. По английски их называют «valentines» или сокращенно «V. D.». Одновременно аббревиатура «V. D.» означает и «Venereal disease» — «венерическая болезнь».

⁷ «Спокойное воскресное путешествие» — типичное название туристических поездов, организуемых автобусными компаниями по выходным дням. Вспомните название телефильма и песни «Битлз». «Волшебное таинственное путешествие», также позаимствованное из рекламного объявления.

⁸ Эту фразу можно перевести и как «Уомлбс проснулся от скрипа двери».

КОЛБАСНЫЙ ВАЛЬС

Свиваются кольца колбасного вальса,
Сливаются унции смальца и масла,
Бельдюга заводит роман с бальком,
И грудь простибомы целует бекон.

В предсмертном соку мое мясо томится,
А в сердце тоскует высокая птица —
Она подрастает, терзая карман,
И перья теряет сквозь сизый туман.

СЕДАЯ ПЕСНЯ

В коридоре ходит крыса
В парусиновых носках
И читает Новалиса
На китайском языке.

В Зазеркальном закутке
Чешет лысину Алиса
И вещает: «Я не крыса,
А товарищ Иванов».

Наступает время снов.
Сквозь дырявые карманы
Стонут жалобные раны...
Крыса, я тебя люблю.

ЦПКО

Стада гетер пасутся в парках,
Теряя гипсовое девство.
Пенсионеры на байдарках
Впадают в парусное детство.

В траве стеклянные осколки.
В песочной яме дети бьются.
И каменные комсомолки
Лесному Пану отдаются.

Жрецы порядка незлобиво
Гуляют парами влюбленных.
В пучину марочного пива
Ныряет вобла утомленно.

Поддатых фурий кавалеры
Ведут от урны до уборной,
И заказные пионеры
Рыдают в гипсовые горны.

Я ЗАСЫПАЮ

День потянулся и потух.
Присел на лавку жирный вечер.
Отряды молчаливых мух
Покрыли ленточками плечи.

Я уплываю в белый скит,
Постели ласковый скиталец.
Спит пищевод, утроба спит,
Зевают безымянный палец.

И так я плавал далеко
В ковчеге легкого ночлега.
За мною Альфа и Омега
Шагали мягким босиком.

ПУШКИН И НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА

Пушкин:

Я Пушкин. Я пишу хорееми
И стройные слагаю плоскостопия.
В часы послеобеденного времени
Мне грезится ночная Эфиопия.

Гончарова:

А я Наталья Гончарова,
Твоя законная жена.
Ты мною дико очарован,
Равно как я тебе верна.

Пушкин:

Да, да, заметила ты верно.
Когда ты ножкой ножку бьешь,
Ты демонстрируешь примеры
Изящества и хорошего тона.
Мое дитя, пойдем из дому,
Туда, на берега Невы,
Пролить прохладную истому
На середину головы.
Потом мы побежим по Невскому проспекту,
Коляску лошадей сжимаю на груди.
Я вкусно накормлю тебе желудок
Конфетами: «А ну-ка, отними!»

Гончарова:

Mon cher ami, мой друг, пойми,
Увы, прошла пора услады,
На сахарных моих устах
Горят парижские помады.
Ты видишь: толстые Амуры,
Крылом шекочат левый глаз,
И на костях клавиатуры
В усатых шпорах ловелас.

Пушкин:

Да, да, я знаю все, не говори мне...
Терновый мне готовится венец.
Крылатая не дремлет камарилья,
И мне в желудок целится подлец.
Мне сводит ноги холод волн Летейских,
Загадочно болят мои суставы,
Печальный хоровод друзей лицейских
Меня вечер встречает у заставы.
Bonjour... Adieu... Прощай, моя Наталья,
Детей моих кудрявых береги.
Разумно регулируй их питание
И выходи замуж

за порядочного человека...

Уж похоронная телега
Стоит под окнами. Где пунш?
Пунш выпит, съедены миноги,
И я в волнах мирской тревоги
Последний принимаю душ.

Я ухожу. Играйте туш!
На чертеже земли Московской
Невы полоска аки уж...
Крадется кошкою Жуковской.

В окошко высунулся щеголь.
Пошел на двор Татьянин муж.
И по бульвару ходит Гоголь
С тяжелой ношей мертвых душ.

ДМИТРИЙ ПРИГОВ

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Предуведомление

Надо сказать, что тема Петербурга (Ленинграда) нашла достаточно полное и адекватное разрешение в русской поэзии. сообразно поэтическим нормам и историческим понятиям своего времени.

Эта книга представляет собой попытку заложить методологические основания для изучения темы Москвы поэтическими средствами в соответствии с историческими понятиями нашего времени. Как всякая первая попытка, она, вполне возможно, почти сразу же станет анахронизмом.

Ну, что же, общим памятником да станет нам просвещенная Москва!

* * *

Стоял мороз и мощные дымы
Входили в небо стройными рядами
И труд был — их от яви отличить
Но и отдать чему-то предпочтенье
И я ему сказал тогда: Орлов!
Вот труд тебе — от яви отличи
Но и отдай чему-то предпочтенье
И это будет мистика Москвы

* * *

Прекрасна моя древняя Москва
Когда стоит стыдливо отражаясь
В воде голубоватого залива
И сны читает Ашурбанипалла
И налетает с юга жаркий ветер
Несет пески соседственной пустыни
По улицам московским завихряясь
И дальше, дальше, выше, выше — ввысь!
К заснеженным вершинам полуголым
Откуда поднимается орел
Могучим взмахом крыл порфиросных
И вниз глядит, и белое движенье
Там замечает, и сложивши крылья
Он падает — навстречу снежный барс
Шестнадцать всех своих когтей и зубы
Свирепые он обнажает разом
И москвичи следят за страшной битвой
И победители приветствуют: Ура!

* * *

Когда размер Наполеона
Превысил европейские масштабы
Подумалось: Москву мы отодвинем вглубь
Представилось: вот здесь поставим флешу
Здесь — батарею, здесь Багратиона
За ним — весь русский сказочный народ
Вот так-то лучше, потому что лучше
Во всех смыслах

* * *

А что Москва — на то она и есть Москва
Что насмерть поражает пришлеца
И так его ужасно поражает
Что у того и выбора уж нет —
До смерти оставаться пораженным
Или переходить к нам — в москвичи

* * *

Так всякий норовит ее обидеть
Француз приходит, немец и китаец
И норовит за горло ухватить
Она же просто говорит им: Вот я!
И они словно цепенеют в удивленьи
И пятаться, и пятаться — уходят
И дома лишь опомнившись стенают:
Назад! В Москву! В Москву! О, драг нах остен!
Бегут, бегут — и снова цепенеют...
Так надо — видно Бог хранит Москву

* * *

Кого в Москве ты только не найдешь —
От древности здесь немцы и поляки
Китайцы и монголы, и грузины
Армяне, ассирийцы, иудеи —
Это потом они уж разошлись
По всему свету основали государства
На море Желтом, на Кавказе, в Иудее
В Европе, в Новом Свете, черт-те где
Но помнят первородину святую
И просятся под руку древнюю Москвы
Москва назад их с лаской принимает
Но некоторых же не принимает
Поскольку не пора еще, не время
Не срок, не поняли, не заслужили
Не досрости

* * *

Когда на этом месте древний Рим
Законы утверждал и государство
То москвичи в сенат ходили в тогах
Увенчанные лавровым венком
Теперь юбочки разные да джинсы
Но тоже ведь — на зависть всему миру
И под одеждой странной современной
Все бьется сердце гордых москвичей

* * *

Прекрасный поздний тихий летний вечер
Когда сходя по мраморным ступеням
Ты говоришь: Прощай! — последнему кумиру
И отпускаешь вдаль на волю волн
И он плывет среди островов московских
Последний молчаливый вертикальный
Горя под наклонившимся лучом
И москвичи навстречу выбегают
И пальмовыми листьями махают
И бронзовую кожу сверкают
О, боги! боги! — грустно-то как!

* * *

Когда здесь поднялось движенье
За самостийную Москву
Они позвали враз монголов
Поляков, немцев и французов
И на корню все дело задушили
Но и теперь еще бывает
В походке девичьей ли, в слове
Мелькнет безумный огонек
Московской гордости национальной

Когда Москва была еще волчицей
И бегала лесами Подмосковья...
Это потом она остепенилась
И стала первоклассною столицей
Тогда-то и пошли у нее дети —
Большое племя белозубых москвичей
Которым и дано единственным увидеть
Как в небесах из еде видной точки
Рывками разрастается вдруг пламя
Растет, растет, клубится, замирает
И всех к себе на небо забирает
Москва стоит — да негу москвичей

* * *

Когда, бывает, москвичи гуляют
И лозунги живые наблюдают
То вслед за этим сразу замечают
На небесах Небесную Москву
Что с видами на Рим, Константинополь
на Польшу, на Пекин, на мирозданье
И с видом на Подземную Москву
Где огонь свирепый бьется колыхаясь
Сквозь трещины живые прорываясь
И москвичи вприпрыжку направляясь
Словно на небо — ходят по Москве

* * *

А вот Москва эпохи моей жизни
Вот Ленинский проспект и Мавзолей
Кремль, Внуково, Большой театр и Малый
И на посту стоит Милицанер
Весной же здесь цветут сады и парки
Акацы, вишни, яблони, сирени
Тюльпаны, розы, мальвы, георгины
Трава, поля, луга, леса и горы
Вверху здесь — небо, а внизу — земля
Вдали — китайцы, негры, мериканцы
Вблизи у сердца — весь бесправный мир
Кругом же — вся Москва растет и дышит
До Польши, до Варшавы дорастает
До Праги, до Парижа, до Нью-Йорка
И всюду, коли глянуть беспристрастно —
Везде Москва! везде ее народы
Где ж нет Москвы — там просто пустота

* * *

Ведь из Москвы уйти — что на тот свет уйти
И за предел уйти, и навсегда уйти
Ее величье душу поражает
И мужество в душе предполагает
Но и обязанности налагает
И вот они не выдержали и ушли
И Гройс, и Косолапов, и Шелковский
Герловины, и Соков, и Рогинский
По слабости понятной человечьей
И недостойны званья москвичей

* * *

А что Москва — не девушка, не птица
Чтобы о ней страшиться каждый день
Не улетит и нас не опозорит
Не выйдет замуж и не убежит
И не жена, и не сестра, не мать
Но песня: коль поется — так и есть
А не поется — так ведь тоже есть
Но в некоем что ль потустороннем смысле

* * *

Вот лебедь белая Москва
А ей навстречу ворон черный
Европским мудростям ученый
Она ж — невинна и чиста
А снизу — витязь, он стрелу
На лук кладет он, но нечаянно
Промаривается случайно
И попадает он в Москву
И начинает он тужить
По улицам пустынным ходит
И никого он не находит
И здесь он остается жить

Когда по миру шли повальные аресты
И раскулачиванье шло и геноцид
То спасшиеся разные евреи
И русские, и немцы, и китайцы
Тайком в леса бежали Подмосковья
И основали город там Москву
О нем впоследствии редко кто и слышал
И москвичей живыми не видали
А может просто люди врут бесстыдно
Да и название странное — Москва

* * *

Представьте: спит огромный великан
То вдруг на Севере там у него нога проснется —
Все с Севера тогда на Юг бежать
Или на Юге там рука проснется —
Все снова с Юга к Северу бежать
А если вдруг проснутся разом
Ум, совесть, скажем, честь и разум —
Что будет здесь! Куда ж тогда бежать?!

* * *

Бывает, невеселые картины
Ум москвичей зачем-то посещают
Бывает, кажется им, что зима
Что снег кругом, что лютые морозы
Но важно слово нужное найти —
И все опять исполнено здесь смысла
И москвичи потомство назидают
Они Москву здесь подменили
И спрятали от бедных москвичей
И под землей Она сидит и плачет
Вся в куполах и башенках стоячих
Вся в портиках прозрачных Парфенона
И в статуях прямых Эрехтайона
И в статуях огромных Эхнатона
И в водах Нила, Ганга и Янцзы

* * *

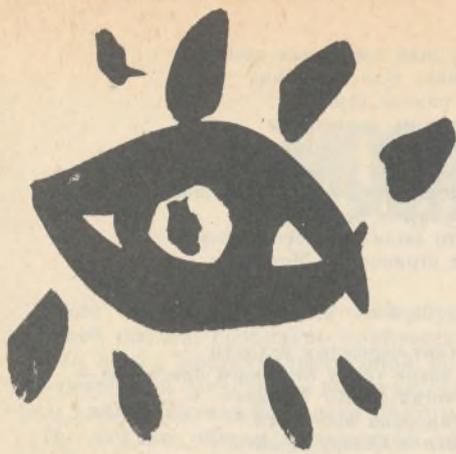
Когда твои сыны, моя Москва
Идут вооруженные прекрасно
Куда ни глянут — то повсюду Демон
Вдали их — Демон! и вблизи их — Демон!
Сосед их — Демон! и отец их — Демон!
И москвичи бросаются и прогоняют призрак
И вновь горит священная Москва

* * *

Когда здесь воссияли две известных бездны
О ты, моя Москва, вперед шагнула и закрыла грудью
Лишь по краям струятся гарь и дым
И горе тем, кто сдвинет тебя с места
Смутившись запахом идушим от тебя
И москвичи все станут на защиту
И станут их разить — спасая их

* * *

Уж лучше и совсем не жить в Москве
Но просто знать, что где-то существует
Окружена высокими стенами
Высокими и дальними мечтами
И взглядами на весь окрестный мир
Которые летят и подтверждают
Наличие свое и утверждают
Наличие свое и порождают
Наличие свое в готовом сердце —
Вот это и значит: жить в Москве
Смотри, Орлов, ведь мы живем нечасто
Весьма обидно было б просчитаться
Что мы живем с тобой на краю света
А где-то там — действительно, Москва
С заливами, лагунами, горами
С событиями всемирного значенья
И с гордыми собою москвичами
Но нет, Москва бывает, где стоим мы
Москва пребывает там, где мы ей укажем
Где мы поставим — там и есть Москва
То-есть — в Москве



СЕРГЕЙ ФОМИН

МИНИАТЮРЫ

ОТЕЦ

Мой отец умер в первой городской больнице в Москве в психосоматическом отделении.

Мама говорила, что он менял места работы очень часто, и что однажды, придя к нему на работу, увидела, как он, столь подтянутый и аккуратный дома, сидел жалкий и тщедушный за столом, как человек, который оказался в совершенно ему несвойственной ситуации. Я помню, как он чинил дома ботинки и исправлял мои ошибки и ошибки бабушки в русском языке.

Тетя Женя, жена дяди Коли, брата отца, говорила, что у отца был легкий характер, а тетя Лида, его сестра, рассказывала, что после того как отец ушел от семьи он приходил к ней, когда жил в Москве без прописки, и говорил, что он ловит нацистских преступников, скрывавшихся от правосудия.

Сам я видел его уже старым и он произвел на меня впечатление, которое может произвести человек, несущий за рубежом благородную миссию охраны родины вдали от ее границ.

— Какое трагическое недоразумение, — говорил лечащий врач, — человек тяжело болен психическим расстройством, а его судят за бродяжничество и за то, что он живет в Москве без прописки.

Это он говорил тете Лиде, а мне он говорил, что отец просил его дать таблетки, от которых можно уснуть вечным сном.

— Боже мой, — якобы говорил отец в присутствии врача, — забыть детей, всю жизнь жить где-то как бродяга, сидеть в тюрьме. И все из-за того, что у меня не хватило какого-то фермента в железах внутренней секреции.

— Ничего, — говорил врач, — мать детей справилась с этой задачей, видите, ваш сын сотрудник Международного геофизического комитета.

... Говорят отцу очень понравилось снотворное и он в больнице хорошо отдохнул от той титанической работы, которая происходила в его душе. Не знаю, дали отцу снотворное или нет, но фактом остается то, что, когда я приехал к нему, специально взяв командировку через две недели, он был уже в морге с посмертным диагнозом «сердечно-легочная недостаточность». Может быть, он допросился таблеток, может быть, он не выдержал бремени, когда стал поправляться, но я все равно люблю своего отца, такого худого и не приспособленного к жизни за то, что он всю жизнь проработал в разведке, ловил и разоблачал нацистских преступников.

ГЛАВНЫЙ ОГУРЕЦ

Когда я был еще маленьким, мы с бабушкой часто отдыхали в деревне. Там у нее было много знакомых и старых друзей, которых она помнила и знала еще с детских пор. Они наполняли наш дом какой-то непривычной для меня и новой жизнью.

Особенно запомнился мне дед Митрич, который в по-доле рубашки как-то принес нам в дом огурцов.

— Ну как, Митрич, вырастил свой главный огурец? — спросила его бабушка.

— Ну, что ты, Мария, разве главный огурец так быстро вырастишь. За ним уход нужен, да и найти его не так уж просто. Был бы я молодым, может, дело и быстрее шло бы. А теперь вот весь на пенсию вышел.

— Расти, расти, — говорила бабушка, — нам, хозяйкам без главного огурца никак нельзя. А то, может, растет он где-то на каком-нибудь темном огороде, а мы про него ничего и не знаем.

Когда я был маленьким, то приставал к бабушке с просьбой рассказать про главный огурец, но бабушка все отнекивалась, мол, она не знает, что это такое и что об этих вещах только деды, вроде Митрича, знают, и что вообще не бабьего ума дело главные огурцы выращивать. Когда вырастешь, сам у Митрича спросишь, — говорила она.

Прошло много лет. Как-то я приехал на каникулы домой уже студентом второго курса. Говорили с бабушкой. Как-то само собой вспомнилась и деревня и ее обитатели.

Вспомнил я и о Митриче. И вот тогда я снова спросил у бабушки о том, что же это все-таки за главный огурец, о котором она с Митричем говорила, и бабушка со всей своей последовательностью сказала мне примерно следующее.

— Видишь ли сынок, — сказала бабушка, — среди всех растений, и среди морковок, и среди капусты, и среди огурцов есть всегда самый главный и от него все зависит. Его поливают — всем растениям хорошо, его сорняки пропалывают — другие лучше растут и урожай получается богаче. Но найти этот самый главный непросто. Его не только что найти, его и вырастить трудно — не на всякой земле он расти станет, — на иной вырастет, а на иной зачахнет. Вот дед Митрич и ищет этот главный огурец. А ищет он его затем, чтобы на своем огороде его вырастить и каждый день за ним ухаживать. Тогда и на всей земле огурцы хорошо расти будут. И люди ему за это спасибо скажут. Только вот старый Митрич очень, и внуков у него нет. Боюсь не найдет он этого огурца. Ты бы ему семян прислал из своего города, у ученых попросил бы. Может, среди этих семян и семя главного отыщется. И ты уж меня извини, если я что в науке не так сказала, — стара я очень, но тоже хотела бы на главный огурец посмотреть.

Я пообещал бабушке послать деду семян и, ложась спать, испытал чувство гордости, что в моем роду есть такие деды, которые до старости лелеют великую цель.



50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА,

ПОЭЗИЯ,

ПУБЛИЦИСТИКА,

КРИТИКА

